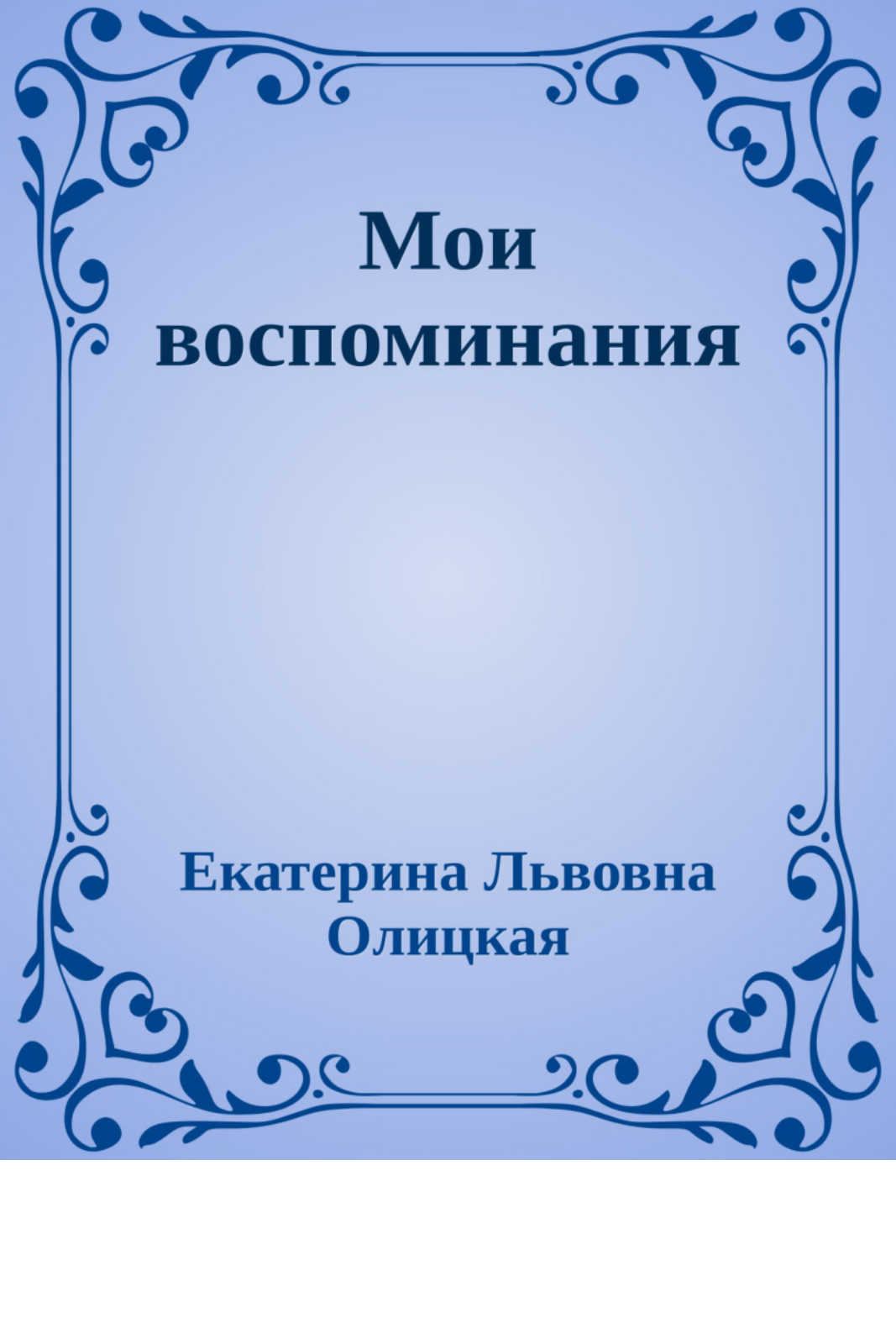


A decorative blue floral border with intricate scrollwork and leaf patterns, framing the central text.

Мои воспоминания

**Екатерина Львовна
Олицкая**

SHOUT
SHARE **IT**



Annotation

В тексте есть многочисленные лакуны.

- Екатерина Олицкая
- 1. ДЕТСТВО И ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
- 2. СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ. РЕВОЛЮЦИЯ
- 3. ГОДЫ ВОЕННОГО КОММУНИЗМА
- 4. ВРЕМЯ НЭПА
- 5. ССЫЛКА НА СОЛОВКИ
- 6. ВЕРХНЕ-УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТИЗОЛЯТОР
- 7. В ССЫЛКЕ В ЧИМКЕНТЕ
- 8. ПО «МИНУСУ» В РЯЗАНИ
- 9. НА НЕЛЕГАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ
- 10. И ОПЯТЬ В ТЮРЬМЕ
- 11. СУЗДАЛЬСКИЙ ПОЛИТИЗОЛЯТОР
- 12. 1937 ГОД
- 13. ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП — НА КОЛЫМУ
- 14. НА КОЛЫМЕ
- 15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Екатерина Олицкая

Мои воспоминания

Как озаглавить мне мои воспоминания? Больше двух третей моей сознательной жизни прошли под страшным ярлыком «враг народа». Я не принимала этот эпитет, но болью в душе он отзывался всегда. Я — враг народа! Возможно, все враги народа считают себя его друзьями, а может быть, и благодетелями. И друзья, и враги не движимы ли они страстным желанием осчастливить свой народ, каждый по своему плану, каждый на свой манер. И те, и другие считают, что они, и только они, владеют истиной, обеспечивающей счастье народное. Во имя этого счастья, во имя прекрасного будущего, требуют они от своего народа неисчислимых и бесконечных жертв.

Враг ли я, друг ли я своему народу? Могу ли я сказать, что я дочь моего народа? Что я верила, боролась, страдала вместе с ним? Что я отражала его чаяния и надежды? Как радостно было бы такое сознание! Но, увы! Полностью слиться с моим народом мне не удалось, в силу внешних, не зависящих от меня, обстоятельств.

* * *

Чтобы жизнь моя стала ясной, понятной, я начну мои воспоминания с детства, и прежде всего упомяну о моих родителях, которых считаю людьми исключительными.

И еще хочу оговориться, мои записки не представляют «объективной истины». Я записала то, что отпечатлелось в моей памяти и так, как оно запечатлелось.

1. ДЕТСТВО И ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Отец и мать

Случилось так, что отец мой, сын богатых евреев-коммерсантов, еще не закончив среднего образования, стал народовольцем. Способный к рисованию, он в совершенстве овладел резьбой и работал в паспортном столе Народной Воли в Киеве, то есть подделывал нелегальные документы, вырезал печати и т. п.

Он был судим по процессу «193-х», но по недостатку улик и по молодости лет отделался легкой ссылкой в Александровск-на-Днепре.

Отец любил вспоминать эти годы. Рассказывала нам и бабушка, мать отца, как ее допрашивал об отце следователь. Мы, детвора, восторженно слушали о том, как отец, предчувствуя возможность обыска, вынес в красном кожаном саквояже все компрометирующие материалы. На следствии он заявил, что в саквояже он выносил украденную у матери картошку. Мы гордились бабушкой, которая сокрушенно твердила следователю: «Ах, ты! Воровал! А я-то удивлялась, что картошки много расходуется».

В восторг нас приводило и то, что наша старенькая бабушка последние, зашитые в подушку, нелегальные документы благополучно переправила отцу в тюремную камеру, где он их и уничтожил. С восторгом слушали мы рассказы отца о том, как мужественно и смело вели себя заключенные по процессу 193 в тюрьме. Как пели они в камерах революционные песни, как на простынях подтягивались к высоким тюремным окнам, заглядывали в тюремный двор и вели разговоры с соседними камерами, несмотря на беснующийся надзор.

Из Александровска отец бежал, нелегально переправился за границу, добрался до Швейцарии, где поступил в Цюрихский университет на агрономический факультет. Там он работал в русском землячестве и был связан по работе с русскими революционерами-эмигрантами.

Моя мать происходила из старой дворянско-помещичьей семьи Халютиных. Многие члены этой семьи гордились своей родословной, записанной в какую-то «12-ю» книгу. Один из родичей мамы, Зеленый, раскопал даже самое происхождение фамилии Халютиных. Сыны небезызвестного палача Ма-люты Скуратова разделились на два лагеря. Одни с гордостью носили

имя своего отца, другие подали на высочайшее имя просьбу об изменении фамилии и по высочайшему указу стали именоваться впредь Халютиными.

Родители моей матери были очень состоятельными людьми и, когда мать, окончив гимназию, выразила желание поехать за границу и поступить на медицинский факультет (в России тогда женского медицинского института не было), не стали возражать и разрешили ей ехать учиться в Швейцарию, в Цюрих.

Там встретились мои родители, там и полюбили друг друга. Мать моя, окончила медицинский факультет, сдала экзамен на доктора медицины. Отец закончил сельскохозяйственный институт, отработал практику и получил звание агронома. Широкое поле деятельности среди русского народа грезилось ему. Тоска по родине томила. Но родители знали точно: на русской границе отца неизбежно арестуют. Для сохранения связи между собой они решили закрепить свои взаимоотношения церковным браком. Отец был еврей, мать русская, православная, бракосочетание осложнялось. Выхода не было — отец принял крещение.

На родине телеграмма молодых вызвала страшный переполох:

— Боже, какой шок! Еврей! Одну тетюшку окончательно потрясло то, что при крещении отец принял имя Лев Степанович:

— Почему Степан? Какое плебейское имя!

До конца жизни тетюшка, очень полюбившая потом отца, упорно называла его Лев Борисович.

Во второй семье драма была не меньше: «Женился на русской! Крестился! Отказался от веры отцов!»

А молодые совершали свое брачное путешествие вплоть до русской границы. На границе, как они и предполагали, отец был арестован и по суду получил год одиночного заключения (который он и отбыл в Петербурге, в Крестах) и десять лет под надзор полиции. Мать тогда же была отправлена на поруки родителей в их поместье Марьевку Воронежской губернии с лишением права въезда в столичные города сроком на 10 лет.

Время шло. Что было делать родителям со своей блудной молодежью. Медицинская работа была моей матери воспрещена, так как заграничного диплома для права практики в России было недостаточно, нужно было сдать государственный экзамен при одном из столичных учебных заведений, куда въезд ей был воспрещен.

Положение отца было не лучше. С политической неблагонадежностью ни на какую работу по специальности в государственных учреждениях он не мог рассчитывать. Какой

помещик взял бы к себе в управляющие агронома с такой блестящей репутацией, как год тюремного заключения с последующей десятилетней поднадзорностью.

На совещании глав семей было решено свить для деток гнездышко. Для них был куплен небольшой участок земли где-то на Кавказе. Непокорных детей и это не устроило. Ни сады, ни виноградники, ни доходность участка не привлекали отца. Ему нужен был простор русских полей, с темным отсталым русским крестьянином, которому он понесет культуру духовную и культуру аграрную, с которым он будет толковать о правилах севооборота, которого он будет снабжать отборными семенами и племенными производителями, с которым, наконец, он будет читать газеты и книги и которого будет просвещать и лечить его жена.

Клочок земли на Кавказе очень быстро был продан. На вырученные деньги приобретено небольшое поместье в 250 десятин земли в самом центре России, в черноземной полосе, в Курской губернии.

Мечты и действительность

От станции Полевая Курско-Харьковской железной дороги, где поезд останавливается на 2–3 минуты, вьется проселочная дорога по слегка холмистой равнине. Узенькие деревянные мосточки через речушку, носящую название Полная. По обеим сторонам необозримые заливные луга. Лесок на болоте. Овражек в бобовниках и поля, поля... Вытянется в одну улочку деревенька — штук 20–30 крытых соломой хатенок с торчащим на окраине журавлем колодца, с парой-другой пчелиных колодок на окаймляющих сельцо деревьях — и опять поля. Русская чересполосица бежит по обе стороны дороги. Чередуясь узкими лентами до самого горизонта, перемежались полосы ржи, гречихи, овса, проса... И опять деревенька. На 1-ой версте столб у дороги, серый, покосившийся от времени. К столбу прибита дощечка, такая же серая, и на ней при желании можно прочесть: «Сорочин Верх», «Любимово тож». Столб стоит на перекрестке. Дорога направо ведет к хутору — всего-то 12 дворов. Маленькие, кособокие, соломой крытые хатенки виднеются на склоне овражка, за выгоном. Дорога налево ведет в усадьбу помещика. Ворота в усадьбу всегда открыты настежь, одна створка соскочила с петель. От ворот, вокруг усадьбы не то вал обвалившийся, не то вал засыпавшийся, а вдоль него старые вековые деревья: тополя, березы, осины. Лихо въезжает таратайка в ворота, огибает

хозяйственные постройки: конюшню, скотный двор, сарай и амбарушки низенькие, все соломой укрытые и, развернувшись у кружка из акаций и шиповника, останавливается перед господским домом, маленьким, низеньким, тоже под соломенной крышей. У крыльца высокий серебристый тополь, а за домом сад.

Почему моя мать, выйдя из таратайки, села на чемодан и заплакала, я никогда не могла понять. Но всегда именно так описывала она свой первый приезд в Сорочин. И, как это ни странно, мне было жаль не ее, а отца. Моя мать, так и не полюбила наш милый старый Сорочин с его покосившимся домом, с его запущенным садом, заросшим крапивой, чернобыльником и полынью. Своих рук, если не считать домашнего хозяйства, она почти и не приложила к нему. То ли после родового имени Марьевки он казался ей убогим, то ли сельское одиночество угнетало ее. Часто, помню, говорила мама о том, что если бы капитал, вложенный в нашу деревушку, был бы просто отдан под проценты в банк, доходы наши не уменьшились бы.

Не меркантильные соображения руководили моей матерью, много, очень много горьких разочарований пришлось пережить родителям в нашем Сорочине. Ведя хозяйство, отец не руководствовался вопросами выгоды и доходности. Он увлекался сельским хозяйством. Он старался по мере материальных возможностей вести его по последнему слову науки. Каждую свободную копейку он вкладывал в хозяйство. Возводились новые конюшни, скотные дворы, только дом наш отец не удосужился перестроить. Зато его племенные жеребцы, бык и свиньи удостаивались первых премий на выставках, а полевое хозяйство не имело себе равных в уезде.

Настойчиво, шаг за шагом сближался отец с крестьянами, читал с ними газеты, толковал о хозяйстве, о погоде, о видах на урожай и о политике. Крестьяне уважали и любили отца, но переступить бездну, разделяющую крестьянина и помещика, не могли ни они, ни он.

Помню, днями, а то и неделями, отец ходил угрюмый и подавленный. Крестьянский скот снова потравил его клеверище. Каждый раз он грозно уверял, что не спустит при повторении потравы, назначал штраф за потраву по рублю с головы, грозил подать в суд, но, так как у стоящего перед ним крестьянина никогда не было этого лишнего рубля, и он молча стоял перед отцом и мял в руках картуз, отец записывал его в какую-то книгу. Бедный папа! Мы часто смеялись над его грозным видом. Мы отлично знали, что он никогда не подаст в суд на крестьянина и никогда не взыщет записанных в книгу рублей,

Во имя папиного хозяйства вся наша семья во многом себе отказывала. Не было отказа в питании, стол у нас всегда был сытный и здоровый, не было отказа в воспитании и обучении детей, если не считать гувернанток немок и француженок, от которых маме пришлось отказаться, когда родился младший брат, а мне исполнилось 5 лет. Не было отказа в книгах и журналах. Живя круглый год в деревне, папа выписывал целый ряд газет и журналов, не говоря о сельскохозяйственной литературе. В доме у нас стояли шкафы, до отказа заставленные научными книгами, беллетристикой и журналами.

Отношение отца к крестьянам, его тяга к крестьянству накладывали на нашу жизнь особый отпечаток. У папы не было знакомства среди соседей-помещиков, он общался только с крестьянами. Своеобразные отношения были у нас дома и с прислугой. К нам, детям, ближе всего стояла, конечно, няня. Я хорошо помню лицо и фигурку нашей, согнутой годами, старушки-няни. Все в доме уважали и любили ее. Она нянчила старшую сестру, брата, вторую сестру и меня. Мама была очень привязана к ней. Одной из радостей нашего детства был большой окованный железом нянин сундук. Чего только не таил он в себе! Сама крышка его была предметом радостей и восторгов. Когда няня поднимала крышку своего сундука, мы облепляли его, как мухи. Вся крышка сундука была изнутри оклеена картинками. Тут были и куклы в нарядных платьях, и изображения разных зверей, и просто красивые конфетные бумажки. Почтительное и уважительное отношение было у нас к единственной няниной фотографии. Няня была снята на ней в кругу своей семьи. Уже не молодая, сидела она в своем вечном синем чепчике в центре большой семейной группы. Няню окружали 22 ее сына. Что понимала я, девочка? Но 22 сына внушали мне восторженное почтение к няне. Няня рассказывала нам чудесные сказки, но самой любимой, самой диковинной сказкой няни была сказка о ее жизни. Няня в юности была крепостной, и крепостной у очень злой барыни. Кочергой, в припадке злости, перебила барыня няне нос, он так и остался у няни кривой. Всегда, когда рассказ нянин доходил до того места, как барыня за какой-то тайком съеденный няней соленый огурец взялась за кочергу, я с ужасом вглядывалась в лицо няни, и казалась она мне сказочной героиней.

Когда няня умирала, мы уже жили в городе. По ее желанию проститься с нами, папа поехал за нами в город. Увы! Зимняя дорога была очень плоха и, приехав в деревню, мы не застали няню в живых.

Вопрос о переезде в город встал, когда сестра и брат достигли школьного возраста. Мне тогда было около 5 лет. Я не помню сама. Но по рассказам знаю, что вопрос о воспитании детей решался в нашей семье трудно. Папа настаивал на том, чтобы детей воспитывать самим, дома — учить и приобщать к сельскому труду. «Пусть растут, как растут крестьянские дети, с той разницей, что мы сами сможем влиять на них и учить», — говорил папа. Мама решительно настаивала, чтобы детей отдать в гимназию, не предопределяя их судьбу. «Как будто такое решение не предопределяет», — возмущался отец. Но в этом вопросе мать не пошла на уступки, и переезд в город состоялся.

Семья наша разбилась на две части: отец со стариками родителями, разорившимися к тому времени (дед проиграл все состояние на скачках), остался в деревне. Каждую субботу приезжал он к нам в город, проводил с нами воскресенье, а в понедельник уезжал обратно. Мы с мамой жили в городе весь учебный год, а каникулы — рождественские, пасхальные, летние — проводили в деревне.

Хотя я была уже большой девочкой, воспоминания у меня сохранились отрывками. Я помню, какой большой казалась мне при переезде наша городская квартира и каким маленьким деревенский домик.

Деревню я любила больше, чем город: жилось мне в ней вольготней и привольней.

Японская война прошла для меня мало замеченной. Единственное, что врезалось в память — это огромные плакаты, очень нравившиеся нашему конюху Тихону. На плакатах были нарисованы карликовые, уродливые фигурки япошек и богатырские фигуры русских удалцов. На каждом из плакатов под картинкой были напечатаны стихи, воспевающие подвиги наших богатырей и унижающие японцев. Многие из них мы, дети, знали тогда наизусть и громко распевали к ужасу матери. С дедушкой мы играли в войну, в разведчиков и шпионов, и без конца побеждали японцев. Позже, когда я узнала об исходе войны, я совершенно недоумевала вместе с Тихоном, как же могло случиться, что маленькие японцы, живущие на таких же маленьких, как они сами, островах, смогли победить такого колосса как Россия. И с самых детских лет во мне появилась недоверчивость, враждебное отношение ко всяким и всяческим плакатам, и кажутся они мне грубой и обязательно таящей в себе ложь агиткой.

Из революции 1905 года ясно стоит в моей памяти только один день. Утром, напившись чаю, старшие брат и сестра ушли в школу на занятия. Вторая моя сестра Аня и жившая тогда у нас гувернантка вышли гулять на улицу. Не успели мы пройти и квартала по главной улице города, как навстречу нам стали попадаться бегущие люди, сначала одиночки, затем все большие группы. Фройлейн, явно чем-то встревоженная, велела нам вернуться домой. Схватив нас за руки и все ускоряя шаг, она почти волокла нас. У порога нашего дома нас догнала старшая сестра. Она сказала, что гимназия закрыта и учащихся распустили по домам.

Мама нас встретила встревоженная и, расцеловав нас, повторяла без конца:

— Ну, где же Ася? где Ася? (Так звали мы старшего брата.)

Сестра Аня и я чувствовали, что происходит нечто необычное. Мы залезли на окно и, усевшись на подоконник, стали смотреть на улицу.

Улица была полна народу, все новые и новые группы людей подходили к зданию крестьянского банка, расположенного против нашего дома. Там и сям над головами людей взвивались красные флаги. Внезапно Аня закричала:

— Смотри! Вон папа!

И я увидела отца: он стоял в толпе, размахивая снятой шляпой над головой. Вслед за отцом и другие стали размахивать шляпами. Мы звали маму, но пока она подошла, толпа людей вместе с отцом куда-то удалилась. Улица опустела.

Не успели мы слезть с подоконника, как мимо окон промчался брат. Запыхавшийся, без фуражки влетел он в комнату. И мама кинулась к нему. Брат стал рассказывать, как он с товарищами бежал переулками домой, спасаясь от каких-то громил, которые идут по главной улице пьяные, бросают камни, бьют окна.

Мы не успели как следует расспросить брата, как в комнату вбежала Акулина:

— Барыня! — говорила она, — народ к нам в коридор набился, запереть парадное, что ли!

— Не запирай, — ответила мама.

— Да куда же, барыня, их и так полным-полно, поглядите сами!

Вместо мамы я стремительно бросилась к двери. Действительно, весь наш коридор, вся лестница на второй этаж были полны людьми. Мама тут же настигла меня и забрала

обратно в комнату.

В квартиру нашу из коридора тоже заходили какие-то люди, приглашенные матерью. Нам, детям, мама запретила выходить в коридор, запретила залезать на подоконники.

Акулина ходила за мамой по пятам. «Барыня, — молила она, — закройте ставни. Барыня, родимая, хоть иконы на окна поставьте, все соседи повывставляли». Мать, взволнованная отсутствием отца, обрывала ее: «Я иконами ни от кого закрываться не буду, да и икон у нас нет». — «Барыня, я свои с кухни принесу. Ведь булыжники с мостовой рвут и в окна мечут. Евреев бьют, а где иконы, не трогают».

Что Акулина трусиха, мы знали давно. А мама была храбрая! Мама не велела ставить иконы, она говорила о чем-то с людьми, заходившими из коридора, и сама заходила в коридор.

С улицы, действительно, неся какой-то непонятный, нарастающий шум. Видя, что мать занята разговорами, мы снова забрались на подоконник. Опять по улице проходила толпа, но как непохожа она была на первую. Мне бросились в глаза и запечатлелись в памяти мужские фигуры в фартуках, с взъерошенными волосами и возбужденными лицами. И тут один из толпы, действительно державший булыжник в руках, запустил его в нашу сторону. Дзынь! Зазвенело оконное стекло. Булыжник упал на пол, а мы скатились с подоконника под возмущенный окрик матери.

Булыжник был небольшой, серый, но мама не дала нам его рассмотреть, она загнала нас в задние комнаты, окна которых выходили во двор.

Потом шум на улице затих. Люди из нашего дома ушли. Еще несколько позже вернулся отец, и долго они говорили с матерью о том, что громил организовала черная сотня, что она подпоила мясников и вывела их на улицу, что в еврейских кварталах они буйствовали, что казачьи отряды появлялись лишь в тех кварталах, из которых громилы уже ушли. И разгоняли они манифестантов, а не громил, что даже отца один из казаков слегка задел нагайкой. Может быть, именно тогда я впервые услышала имена Маркова и Пуришкевича.

Уже значительно позже, когда я стала осмысливать революционное движение и интересоваться им, я все пыталась, какое же участие принимали мои родители в революции 1905 года, мне почему-то было стыдно спросить их об этом. Мне казалось, что они не принимали в ней достаточно активного участия и что им будет стыдно в этом признаться мне. Так я и не спросила. А самой мне все думалось, что есть какая-то неувязка между их революционной молодостью и поведением во

время революции 1905 года. А может быть, меня, подростка, они не хотели посвящать в конспиративные дела тех лет.

Я знала из разговоров о каких-то собраниях, какие-то собрания проводились у нас на квартире, у отца в деревне были спрятаны какие-то ящики с нелегальной литературой, какой-то ящик со шрифтом был зарыт там под березой. Но всего этого было мне недостаточно. Конечно, мысли эти возникли у меня позже, но зарождались, складывались они, также как взгляды и убеждения, с самых детских лет под влиянием окружавшей меня жизни, прежде всего отца и семьи, царивших в ней убеждений, слышимых мной разговоров.

Поступление в гимназию

В период революционного подъема в нашу гимназию прибыла целая плеяда молодых, только что окончивших высшие курсы учительниц. Они внесли освежающую струю в жизнь всей гимназии. Поселились они все вместе, сняв общую квартиру, где у каждой была своя комната. Свою квартиру они называли «коммуна». На них косилось начальство гимназии, косились черносотенно настроенные священники, преподаватели Закона Божьего.

Моя мать была членом родительского комитета. Она познакомилась с учительницами. Старшая сестра восторженно отзывалась о них. Порой, когда учительницы заходили в гости к маме и в столовой за чаем велись какие-то таинственные, так мне по крайней мере казалось, разговоры, я подсматривала в щелку двери и настороженно ловила отдельные фразы.

Говорилось ли там о совместном обучении девочек и мальчиков, о вредности ли экзаменов и бальной системы, о черносотенных ли выходах учителя закона Божьего Чиканова, о муштре и обязательной форме, о шпионской деятельности синявок, что я понимала в этих разговорах! Что отпечатлялось в моей душе, детской памяти! Первым вопросом, осознанным мной сквозь мою детскую призму, был вопрос о равноправии женщин.

В нашей семье не было различия в воспитании нас, трех девочек и брата. Вместе вышивали мы какие-то салфеточки, вместе играли в куклы, разбойников, катались с горы на салазках, играли в снежки.

Друзьями нашими во всех играх были деревенские ребяташки, девчонки и мальчишки наравне. Разницы между нами не существовало. При переезде в город, с появлением городских детей, мне привелось услышать новые замечания: «Мальчику —

можно, а девочке — нельзя». «Ведете себя, как мальчишки» и т. д.

Сразу же девочки «цирлих-манирлих», как мы их называли, нам не понравились. Куда пленительней был образ мальчишки сорви-голова. Вырастая в деревне, в широком мире полей и лугов, среди деревенских друзей, я и не умела даже приноровить свой голос, свои движения к комнатным размерам. Дома мама нас не стесняла, мы озорничали вовсю. Первые уроки благопристойного поведения я получила, поступив в гимназию. Начались мои столкновения с благопристойностью не очень удачно для меня.

В 1907 году я держала экзамены в старший подготовительный класс курской Марлинской женской гимназии. В том же классном помещении Аня держала переходный экзамен из старшего подготовительного в первый. Мама ожидала нас обеих в коридоре. Шел экзамен Закона Божьего. Вызвав меня к столу, батюшка велел мне прочитать молитву «Отче наш». Я затараторила ее уверенно и так громко, что эхо звенело по всему классу. Законоучитель засмеялся, погладил меня по голове и отпустил на парту.

Счастливая выскочила я к маме в коридор. И каково же было мое удивление, когда сестра, вышедшая следом, шепнула маме: «Катя-то провалилась, всю молитву переврала». Мама встревожилась. Я недоумевала: «Врешь, батюшка меня по голове погладил и молодцом назвал».

Вскоре объявили результаты экзаменов. Выдержали все. Законоучитель подошел к маме и благодушно сказал ей, что я действительно переврала всю молитву: «Ну уж так громко, да так уверенно, что как не пропустить». К сожалению, первая удача оказалась последней. Дальше пошли тернии на моем пути.

Мои коротенькие косенки, как мама ни затягивала их, заплетая, как ни завязывала, упорно расплетались, и я всегда сидела лохматая. По три раза в день мне их переплетала классная дама, твердя: «Благовоспитанная барышня не должна ходить растрепанная». Я вовсе не хотела быть благовоспитанной барышней, да и плести мои косы она не умела. Мама и Акулина затягивали мои упрямые вихри так, что голова у меня трещала, и то они рассыпались. Синявка же легонько переплетала пряди и завязывала ленту красивым бантом. Но стоило мне разок-другой тряхнуть головой, как все ее труды рассыпались по плечам. Это было не худшее. Худшее начиналось на переменах.

Я и сейчас помню, какой восторг я испытывала, скользя на животе по перилам лестницы вниз. Устраивались у нас в классе и гонки, которые носили название «кругосветных». Надо было выбежать по окончании урока из класса, скатиться по лестницам к раздевалкам, перебежать коридор на другой конец здания,

взлететь по лестницам наверх, пересечь снова все коридоры, большой зал и добежать до своего класса. Сколько раз во время этих гонок влетала я головой в живот или колени синякам и даже начальнице!

А игра в «кошки-мышки» или в каменную стену! Уж эти-то игры я знала хорошо. В них мы играли с деревенскими ребятами на выгуле. Я твердо знала, что играть надо честно, с полным напряжением сил, не поддаваясь никому. И что же! Когда я пнула коленкой кошку, противозаконно пытавшуюся поймать мышь, меня вывели из круга, заявив, что я вовсе не умею играть прилично, что благовоспитанные девочки не лягаются как лошади. Когда я, играя в «каменную стену», ударом наотмашь, разрывая стену, ушибла руку одной из девочек, меня вывели из круга, потому что я — сорванец. Наконец, когда меня поставили петь в хоре и я, вольно вздохнув, дала полную силу всем своим голосовым связкам, меня выставили из хора.

Нельзя было в разговоре со старшими, пожимать плечами, выражая недоумение, нельзя было сказать «черт его дери», нельзя от души расхохотаться, нельзя ходить, топая ногами, размахивать руками. Надо быть благовоспитанной, а не сорванцом. О, Боже мой! Конечно, я была за равноправие, и с каким восторгом я приезжала в мой родной Сорочин. Вот мы вылезаем из поезда, вот усадились на линейку, выехавшую за нами на станцию. Безбрежная ширь полей, ширь неба. Ветерок свежий треплет волосы, пой полным голосом, чтобы грудь разрывалась, что хочешь и как хочешь, без мелодий, без мотива, во что горазд. И пели же мы! Пели так, что теперь мне трудно представить, как это пение выдерживали и конюх, и лошади, и линейка.

Акулина

Встал передо мной вопрос о равноправии и с другой стороны. В городе с нами жила всегда наша прислуга Акулина. Она убирала комнаты, варила обед, стирала белье и жила на кухне. В то же время она являлась непременным членом нашей семьи. Всего она прожила у нас 22 года, и поступила к нам еще с моего рождения. Жила она у нас со своим сыном Колей, товарищем наших детских игр.

История Акулины была такова: черноглазую, полногрудую, напропалую веселую шестнадцатилетнюю девушку выдали замуж за пропойцу, и чуть ли не с первых дней он начал бить ее «смертным боем».

Старалась она к нему всячески приспособиться, но не смогла:

то бил он ее под пьяную руку за то, что много зубы скалит, то за то, что больно грустна и тиха.

Выдержала Акулина эту замужнюю жизнь ровно два года, а на третий, когда муж чуть не зарезал ее ножом, убежала, вырвав из мужниных рук нож. Нож она вырвала, схватив его за лезвие и перерезав себе сухожилия так, что всю жизнь пальцы ее на правой руке не сгибались и не разгибались до конца. Выкрыв потом у заснувшего мужа сынишку, Акулина ушла жить в люди.

Тяжелая жизнь выпала на долю этой молодой женщины. Откуда черпала она неисчерпаемый запас бодрости и веселья! Где была Акулина, там были шутки и смех. Нашими детскими сердцами она владела полностью, да и как могло быть иначе, такой затейнице в плясках, шутках, песнях, гаданьях и прибаутках — да не овладеть детскими сердцами! Но она овладевала и сердцами взрослых. До нас Акулина сменила ряд хозяев. В одном доме жена приревновала ее к мужу, в другом — надоели требования ее мужа, чтобы ему ее выдали, в третьем... Это ее приключение я расскажу подробнее:

— Поступила я на работу к начальнику станции, — рассказывала она нам. — Немолодой он был, одинокий, холостой. Хозяйство небольшое, работы немного — ни кур не держал, ни коровы, ни свиней. А жил хорошо, богато жил, и Колю моего любил, ласкал. И веселый был, шутник тоже, но баловства ни-ни, этого себе не позволял. Живи да и только.

— Так чего же ты от него ушла? — торопили мы много раз слышанный рассказ.

— Как-то забывчива я была. То то забуду, то это не сделаю — все сходило. Одно он требовал, чтобы к обеду всегда была рюмка водки. А я забывала вовремя купить. Хвать к обеду за бутылку, а она пустая. Как-то тоже так случилось, он и говорит:

«Научу я тебя, Акулина, не забывать, раз слов не слушаешь — всю жизнь помнить будешь». Я спрашиваю: «А как же вы меня научите, если у меня память такая?» — «Тогда сама увидишь». Я не поняла даже, шутит он или всерьез страшает, только ко вниманию приняла. Как обед собирать, так проверяю, есть ли водка. Нет — бегом на станцию. Там лавчонка была и приказчики веселые ребята были, по правде сказать, бегать-то туда я любила. Дома все одна да одна, а на станцию сбегашь, все развлечение. Долго я после этого разговора продержалась, месяц, наверно, а то и больше, а тут — забыла, что хочешь, забыла поглядеть. Пустую-то бутылку на стол поставила, а сама на кровать на кухне прилегла, да и заснула. Просыпаюсь — кто-то меня за плечо трясет. Подскакиваю — барин! В руках пустая бутылка из-под водки. Сует он мне ее в руки. «Ты что же это, опять пустой

бутылкой угощать хочешь! А ну, марш на станцию. Слетай мигом, а то мы спешим». Я за бутылку и — бегом, только платочек на голову набросила. Бегу, думаю, хорошо, что с гостем да веселый, а не то попало бы мне. Бегу, разгорячилась, день жаркий был, только пот рукой вытираю. Народу в лавке, как на грех, много. Протиснулась к прилавку, прошу — Афанасий Иванович, дайте, за ради Бога, поскорее бутылочку водки, а он как-то странно мне в глаза глянул. Подает бутылку и говорит приказчику: «Дай-ка мне, Семен, зеркальце, я красотке подарить хочу». Не успела я опомниться, как под самый нос мне зеркальце подводят. Глянула я, Господь мой Спаситель, лицо мое все как есть сажей измазано, где кружки, где подтеки, живого места нет. Не помню, как я из магазина выскочила, и зеркальце в руке, и бутылку к груди прижимаю, а за собой только слышу смех да хохот. Прибежала домой сама не своя. И бутылку, и зеркальце в кухне на столе бросила, и у себя в горнице заперлась. Бросилась на кровать и реву, разливаюсь. Уж как они там отобедали, не знаю. Три раза ко мне стучали, только я не отперла. Так они и на работу ушли. Сынок Коля жметя ко мне:

«Мамка, мамка, чего ты?» А я только сажу по лицу руками растираю. Ну уж, думаю, погоди ты. Три дня терпела. И он ничего, молчит, только ухмыляется, черт, охальник. Три дня вытерпела, но думаю — вовек не забуду и ты, начальник, попомнишь. На третий день, только он, пообедавши, прилег отдохнуть, да как следует расхрапелся, взяла я уголек из печи поаккуратнее да всю его морду и расписала. Сама дрожу, а не отступаюсь. Фуражку его начальническую захватила и бужу. У самой от страха зуб на зуб не попадает. Все равно бужу:

«Барин, а барин, на станции что-то стряслось — срочно вызывают». Вскочил он, глянул на меня, а на мне, видать, лица нет. Схватил фуражку и за дверь. Только выговорил: «Пассажирскому время».

Тут Акулина смолкала, а мы настойчиво требовали продолжения. Мы так ясно представляли себе, как начальник станции появился на перроне с размалеванным Акулиной лицом. Мы требовали продолжения, мы гордились поступком Акулины. Но Акулина заключала ворчливо:

— Чего-чего, выгнал он меня с Колей в один момент, вот чего.

Живя у нас, Акулина не прекращала шутить и озорничать. Романов у нее было не счесть числа. Стражники, ломовые, извозчики сменяли один другого. Увлечения были и легкие и серьезные. Поплакать она тоже любила. Слез, как и смеха, у нее было море разлитое, причем она очень легко переходила от

одного к другому. Раз или два в год к нам являлся ее законный муж и требовал ее к себе. В этих случаях ее отчаяние и страх были так глубоки, что мы, дети, ходили потерянными целыми днями. Жила Акулина у нас без паспорта. Муж имел право затребовать ее к себе. Отец и мать всегда как-то улаживали этот вопрос, но до самой революции Акулина жила под страхом бесправия русской женщины, дрожала за свою судьбу и за судьбу своего сына.

Отношение к религии

Еврейское происхождение отца, жизнь с нами бабушки и дедушки наложили свой отпечаток на нашу семью. Религии для отца в обычном понятии этого слова не существовало. Мать как-то по-своему верила в Бога, но детьми мы этого не ощущали. На Рождество, на Пасху, в какие-то двенадцатые праздники к нам в деревню заезжали поп с дьяконом. Приезды эти вызывали некоторую суматоху. Бабушка и дедушка уходили в свою комнату: мы, вся детвора, стремились сбежать, но отец с матерью ловили нас и требовали нашего присутствия. Войдя в дом, поп здоровался, а потом сразу, облачившись, становился перед иконой, висевшей в углу в столовой, и быстро и протяжно произносил какие-то молитвы, дьячок вторил ему, подтягивая. Понять слова произносимой молитвы я не могла. По окончании молитвы начиналось крестоцелование. Руки у священника были жирные, потные, крест почти утопал в них и все мы, дети, с отвращением прикладывались к кресту плотно сжатыми губами. После исполнения всех формальностей поп снимал облачение, появлялись дедушка и бабушка, и все садились к столу. Попу и дьякону подносили по рюмке водки, подавался обед или закуска. Посидев полчаса, поп уезжал. Кажется, отец давал ему еще какие-то деньги. С родителями мы мало говорили, но крестьянство попов не любило. Акулина, да и другие крестьяне рассказывали нам много комических рассказов об их алчности и скупости. Вот стишок, который был очень популярен среди наших крестьян:

Неизвестного прихода Был такой сердитый поп, Что дьячка четыре года Бил подряд кадилом в лоб. Но дьячок раз рассердился, Ленту взял, Чтобы поп, листая книгу, Той страницы не сыскал. Книжку поп берет под мышку, На амвон идет И, развертывая книжку, Говорит: — Господь речет. По листам пальцы скакали, Поп страницы не сыскал, Но при каждой он странице Возглашал: — Господь речет. Тут дьякон к нему идет. —

Батя, что ж Господь речет? «Господь речет, что ты скотина, Распроклятый сущий вор, Всех нечистых образа И всех демонов собор. Зачем ленту эту спрятал, Чтобы черт тебя упрятал! Я святого потерял.» Тем обедню и скончал.

А мужики и бабы стоят да крестятся, добавляя от себя: каждый рассказчик.

Часто слышали мы от крестьян о скаредности попов, о том, как попы отказываются крестить, хоронить, причащать, если им не принесут подношения: яиц, масла и т. п. Под влиянием таких рассказов складывалось мое отношение к духовенству. Говела я первый раз в жизни, когда мне исполнилось 8 лет. При поступлении в школу к заявлению о принятии в гимназию должна была быть приложена справка о говении, и мама повела меня с Аней в церковь на исповедь к священнику. Я явно трусила, я приставала к маме с вопросами, что мне говорить священнику, в каких грехах каяться. У нас дома не постились никогда, не постились и перед исповедью. Никакой торжественностью не был обставлен дома и наш обряд говения. Справка для школы нужна, хочешь в школу — надо говеть. Все же мама надела на нас новенькие платья, завязала в косы новые ленты. В кулачок мне мама сунула полтинник и строго велела отдать его после исповеди батюшке.

Храм Божий, с его тишиной и полусветом, с высокими сводами, с коленопреклонными молящимися не мог не произвести воздействия на душу ребенка. С зажатым полтинником в руке, вслед за сестрой, я подошла робким шагом к священнику. Сам он рукой наклонил мою голову и покрыл ее епитрахилью. Сперва он ждал от меня исповеди, задавал мне какие-то вопросы, но я онемела. Тогда он сам произнес в поучение какие-то молитвенные слова, закрестил меня и разрешил идти. Стремительно вырвалась я из-под покрова и опрометью бросилась к маме. Я уткнулась лицом в ее юбку, прижалась к ее коленям и вдруг почувствовала, что полтинник по-прежнему крепко зажат в моем кулаке. Никакие уговоры отнести полтинник батюшке не помогли. Отнесла его Аня. На другой же день, во время причастия, мне было стыдно приблизиться к священнику, и вино и просфору я проглотила со страхом. Второй и последний раз в жизни я говела, тоже ради справки, при переходе из третьего класса в четвертый. На этот раз мы говели в деревне. Ближайшая церковь находилась в селе, лежащем в пяти верстах от нашего Сорочина, и служил в ней тот самый поп, который приезжал к нам по праздникам славить Христа. Чтобы вовремя попасть в церковь, нам надо было выехать из дома очень рано, до рассвета. Обычно мы вставали поздно, и

вся прелесть весеннего утра была нам незнакома.

Все началось необычно. Мама нас разбудила в 2 часа ночи, когда еще весь дом спал. При мерцании ночника мы тихонько оделись и вышли на крыльцо. Лошадка, запряженная в пролетку, уже ждала нас. На дворе едва серело и было прохладно. Мама в этот раз не ехала с нами. В пролетку уселись я с сестрой и Акулина. Тихон, кучер, шевельнул вожжами, и лошади тронули. Было зябко. Мы с сестрой прижались друг к другу и еще сонными глазами озирались вокруг. Все было ново, таинственно, причудливо. Давно знакомые предметы казались неведомыми привидениями, неожиданно выплывающими из тьмы и тумана. Как необыкновенно хорош наш русский простор в эти предрассветные часы! Гладь полей, необъятный купол неба над нами. Глаз скользит, ничто не задерживает его, ни во что он не упирается, ни обо что не спотыкается. Только рассвет, только тени и краски, неуловимые и изменчивые, да шорохи, да дуновение ветра и шелест трав. Такая тишина до первого солнечного луча, до первого птичьего голоса. А когда лучи солнца осветят восток, когда, наконец, над линией горизонта начнет выплывать кругло-огненный шар, какой гаммой красок вспыхнет эта ширь! Как меняется весь этот мир вокруг тебя, как сейчас же находит отклик в тебе самой! Тайна природы, тайна мироздания, его богатство, сила, могущество захватывают тебя, и в ком есть хоть капля поэзии, не может не слиться с просыпающимся к жизни миром, не ощутить своего единства с ним, с его тайной, великой тайной природы!

Очарованная, оглушенная этим сельским утром подъезжала я к сельской церквушке. Зашла в нее, а таинство продолжалось. Высокие своды церкви тонули в полумраке. Скупое горели свечи, в их мерцании царские врата искрились золотой резьбой, а почерневшие лики на старых иконах, казалось, хранили какую-то тайну. Неведомо как — царские врата открылись, поток яркого света хлынул из алтаря, и вышел на амвон жирный поп, и в руках его было Евангелие с лентой-закладкой, а ко мне подходил наш дяк с тарелочкой, на которой лежали медяки. Я положила свой пятак в общую кучу и ни во что уже не верила. Хотелось мне поскорее уйти из этого храма, и я думала о том, что можно заразиться, принимая причастие из общей ложечки.

В гимназии, в классе на задней парте сразу за моей спиной сидела рослая и тупая девочка. Однажды, во время урока я услышала презрительный шепот: «Выкрестка, у, выкрестка». Я сразу поняла, что это слово относится ко мне. Первым порывом моим было обернуться к ней и со всего размаха хлопнуть ее книгой по голове. Я, вероятно, так бы и сделала, но меня

удержала Рая, моя лучшая подруга, еврейка, сидевшая рядом со мною на парте. Она сжала мою руку и шепнула: «Дура она — и все!» С Раей мы об этом больше не говорили, дома я тоже не рассказала никому о переживании моем, неясном, смутном, но тягостном. Года через три, а то и четыре, я много спорила с Раей о том, имел ли право мой отец креститься. Рая доказывала, что он не имел права отречься от своего гонимого народа. Я возражала, что принадлежность к народу не является фактом рождения, что папин народ не чуждое ему еврейство, а русский народ, в частности, русское крестьянство. Но уверена в своей правоте я в то время не была. В споре с Раей мне хотелось видеть отца безупречным.

В семье нашей мне часто приходилось слышать разговоры о деле Бейлиса, о волне погромов, прокатившейся по югу России. Себя я считала русской, но, зная о юдофобстве, на вопрос о моей национальности всегда подчеркивала — папа еврей, мама русская. Анка Большая

У моего отца была сестра, тетя Ида. Жизнь ее сложилась неудачно. Муж бросил ее с двумя маленькими дочерьми — Фаней и Аней. Девочки изредка гостили у нас в деревне. Были они значительно старше нас и, по существу, я их мало знала. Выросши, Фаня удачно вышла замуж за директора Бельгийской трамвайной компании и жила в Курске. Мы изредка ходили с мамой к ней в гости. Я смущалась у них и не любила туда ходить. Младшую сестру Фани, в отличие от моей сестры Ани, мы называли Анкой Большой. Жила она в Киеве, где училась и куда мама с папой высылали ей деньги, кажется по 25 рублей в месяц. И вот, я и Аня уловили из разговоров старших, что с Анкой что-то произошло, что от нас что-то скрывают. И когда мы узнали, что Анка приезжает к нам в Курск, наше любопытство было разожжено.

Анка приехала, молодая, красивая, ласковая, веселая. Но все шло не так, как обычно, когда родные приезжают в гости. Во-первых, мы установили, что Анка приехала не в гости, а «насовсем». Во-вторых, она вовсе не хотела жить в Курске. И, наконец, она сразу же заявила, что свою сестру Фани она знать не хочет и к ним не поедет.

Нас с сестрой Анка очаровала. Красивая, нарядная, она имела массу безделушек, которые любила показывать нам и которые мы очень любили рассматривать. В присутствии взрослых Анка была замкнута и холодна, но стоило им оставить нас одних, как она становилась мила и приветлива. Мы с сестрой терялись в догадках: одевалась Анка, по-нашему, замечательно. У нее были блестящие шелковые платья, обнажавшие шею и холеные руки в

кольцах и браслетах. В чудных темных волосах ее были воткнуты резные гребешки, шпильки и пряжки, какие мы видели только в витринах магазинов. Ее туалетный столик был уставлен массой безделушек, пудрениц и флаконов с духами. Нам с сестрой она казалась королевой и мы никак не могли понять, почему она бедная, почему папа и мама должны помогать ей жить.

У нас в доме Анка прожила недолго. Почему-то для нее была снята отдельная комната.

— Ты взрослая, — говорила ей мама, — никто не хочет осуществлять над тобой надзор. Живи, как хочешь, как знаешь, но проживи этот год здесь. Одумайся, разберись во всем, этого я и Лева от тебя требуем.

— Вы видите, — отвечала Анка покорно, но строптиво, — я приехала.

Анка ежедневно приходила к нам обедать и очень часто после обеда забирала нас к себе.

Месяца через два или три Анка внезапно уехала. Мама отказалась проститься с ней, отказала ей в материальной помощи. С нами, детворой, Анка простилась очень нежно. Мне она подарила на память маленькую мраморную статуэтку Венеры. Статуэтку эту я очень берегла, до самого ареста она всегда стояла на моем столике. Я не могу установить, эмблемой чего была для меня эта маленькая статуэтка, но я твердо знаю, что она была эмблемой чего-то вольнолюбивого, дерзновенного. Мне неясно, как воспринимали наши головы романтическую историю Анки. Решающими были, конечно, Анины фантазии и наблюдения. В наших беседах с сестрой Анка была героиней романа. Юноша, карточку которого мы у нее видели, был сыном очень богатых родителей. Он страстно влюбился в Анку, но родители не разрешали ему жениться на ней. Денег они ему давали много, и он все тратил на подарки Анке. Все взрослые не хотели понять, что Анка его тоже любит, — ни мама, ни папа, ни Фани. Все требовали, чтобы она рассталась с ним и уехала к нам в Курск. Он же просил ее не уезжать, а когда она уехала — вернуться. Мы с сестрой были на стороне влюбленных, нас возмущали преграды, которые ставили взрослые на их пути. Отъезд Анки мы рассматривали как мужественный и дерзновенный. Противоречия жизни

Город рождал во мне массу противоречий, и я мечтала о деревне. В школе меня тяготил рутинный режим, начальница, классные дамы, законоучитель, неожиданно для меня оказавшийся перекрещенным из попа в батюшку, уроки чистописания и рукоделия, казавшиеся мне совершенно непереносимыми. Только группу молодых учительниц мы

обожали и превозносили до небес. Моей любимицей была Анна Васильевна Холявкина, преподававшая у нас географию. На ее уроках я сидела, как зачарованная, с ней мы путешествовали по разным концам света. Благодаря ей, я знала и любила предмет. Никогда никому в классе не приходило в голову шуметь на ее уроке или намочить мел, чтобы он не писал, или насыпать тертый мел в чернильницу, чтобы чернила шипели. Молодых учительниц мы любили и знали, что им трудно дышится в школе, что они на подозрении у начальства.

В деревне жилось легко и бездумно. Моими друзьями были деревенские ребята. Мы уходили с ними на выгон, бегали купаться на речку, качались на качелях, ездили верхом или уезжали с папой на дрожках в поле.

В детские годы ничто не мешало моей дружбе с Аксютой, Марфушей и Ганей. С годами отношения стали осложняться. Мы становились учеными, у нас появились другие интересы: к книгам, рассказам, стихам более сложным, чем деревенские частушки и прибаутки; в то же время обнаружилось, что мы не умеем сделать свирель, метко стрелнуть из рогатки. Друзья наши вдруг начали стесняться нас, называть барышнями.

Первое огорчение, глубоко поразившее меня, произошло на Пасху. Религиозной, как я уже говорила, наша семья не была, но праздники Рождества и Пасхи у нас праздновались всегда. Самые приготовления доставляли нам уйму радостей. Начинались они за неделю. Пеклись куличи, в огромных макитрах стиралась сырная пасха. Заготавлилось все в больших количествах. Готовилось не только для семьи, но и для рабочих, прислуги. Каждый рабочий, кроме подарка в виде отреза на платье, или рубахи, шарфа, платка, пояса и т. п., получал свой отдельный кулич, кусок пасхи и пяток крашенных яиц. Яиц окрашивались корзины. Все мы усаживались за столом, где стояли стаканы с разведенной краской. Вареные яички опускались в стаканы и вынимались красные, синие, желтые, зеленые. Когда нам надоедали одноцветные, мы начинали красить половину одной краской, половину другой, или выписывать на яичках узоры, буквы «Х» и «В». Иногда к нам присоединялся папа, он разрисовывал их масляной краской. Только его яички удостаивались названия «писанок». Самые красивые из папиных писанок мама брала и прятала в кивот, где они, высыхая, сохранялись долгие годы.

Весеннее пасхальное утро такое радостное! Мы, нарядно одетые, являемся в столовую, стол уже накрыт. Расставлены куличи, пасха, на большом блюде лежит копченый окорок с узорными бумажками вокруг кости. Крашенные яички разложены

по зелени овса, специально выращенного на блюде. Мы получаем подарки, христосуемся, завтракаем, и начинается веселье. Мы катаем яички, бьемся ими друг с другом, выбирая крепкие битки. Единственное условие, которое ставит нам мама, каждый, у кого разобьется яичко, должен его съест. Бросать разбитое яичко нельзя ни в коем случае.

Увы! Яички бьются ежеминутно, а мы сыты по самое горло, и нам уже надоели подарки, на улице такое солнце! Выбрав из корзины самые лучшие битки, проверив их на зуб и набив ими полные карманы, мы спешим на выгон к ребятам.

И мы и они празднично одеты, и мы и они веселы и горды своими битками. Но при первой же схватке выясняется, что правило игры у них другое. Хозяин разбитого яйца должен отдать его победителю, тому, чей биток оказался крепче. Что возразить против такого правила? Нам оно казалось справедливым. Мой биток при первом столкновении разбит, я очень огорчена, но с радостью отдаю его Петьке. Вытаскиваю из кармана следующий и бьюсь с Сенькой. У него всего одно яйцо, но он гордится и хвалится своим битком. Ура! Мой оказался крепче, Сенькино яйцо разбито. Но что это? Сенькино лицо вытянулось, он сует мне свой разбитый биток, ему больше биться нечем. Я не беру разбитое яйцо, мы все, барики, окружаем Сеньку и уговариваем, и просим его оставить разбитое яйцо у себя. Но он тверд в соблюдении правил игры, и все деревенские ребята поддерживают его. Тогда я дарю Сене свой биток, а разбитое яйцо сую его двухлетней сестренке. Игра возобновляется, но я уже не решаюсь вступить в бой. Победа отравлена, мне жаль моего битка, я с завистью смотрю на разгоряченные, возбужденные лица ребят, опоражниваю свои карманы, раздаю ребятишкам такие, я верю, хорошие битки и стремительно ухожу домой.

Лето. Милое свободное лето. Яблони гнутся под сочными плодами. Мы подбираем паданки и трясем деревья, чтобы паданок было больше. Мы набиваем карманы сливами, садимся на завалинку у дома и поедаем их. У нас идет игра, кто плюнет дальше косточкой. Мама с завтраками, обедами только докучает нам, мы сыты. Но что это? Мы слышим душераздирающий крик из сада. Опрометью мы кидаемся туда.

Под яблоней лежит, корчится и благим матом орет Гриша Бармаков, а над ним вопит наша Акулина. Мы ничего не понимаем, но мама уже опережает нас. Вдвоем с Акулиной они поднимают Гришу и несут его в комнаты. Нас гонят прочь. Мы топчемся у входа затихшие, потрясенные. Спешно посылают конюха за родителями Гриши. Приходит его отец, со снятой шапкой он проходит мимо нас в дом, лицо его нахмурено. Что

делается там, за дверями? Обратно Бармаков выходит с сыном на руках. Гриша уткнул голову в плечо отца, слышно, как он всхлипывает.

— Благослови вас Бог, барыня, поправится, анафема, я его, окаянного взгрею.

— Утром я зайду его перевязать, — говорит мама, — пусть спокойно лежит и рану не развязывает. Бармаков уходит, мы налетаем на маму:

— Что случилось?

Оказывается, Акулина застала в саду гурьбу наших деревенских друзей. Гриша залез на дерево и трусил яблоки, остальные внизу подбирали. Все они при виде Акулины шарахнулись в кусты и мигом исчезли. Гриша же, заторопившись, сорвался с ветки, напоролся на сук и вместе с ним свалился на землю. Нам было ужасно жаль Гришу. Мы возмущались Акулиной. Кто просил ее подкарауливать ребят, яблок жалко, что ли? Вот теперь, если Гриша умрет, она будет виновата. Акулина уверяла, что так ему и надо:

— Все яблоки пошибали, ветки переломали. Вечером за ужином родители обсуждали происшествие. Оба они были хмуры и недовольны. На мой вопрос, будут ли родители Гриши бить его, будут ли крестьяне бить ребят, даже больного Гришу, отец сердито ответил:

— Тех, кто убежал, вряд ли, а вот Гриша лупцовку получит, — воруй, мол, да не попадайся, — и прибавил, — не сегодня, так завтра вся ватага будет в саду.

Несколько дней мы или вовсе не заходили в сад, или, прежде чем зайти, поднимали дикий крик, чтоб ребята, если они там, успели удрать. *

В разговорах взрослых я часто слышала «наша земля», «крестьянская земля», «земля ничья», «земля Божья». Мне очень хотелось осмыслить эти слова, но они никак не укладывались у меня в голове. До меня не доходило, что речь шла не о земле, как таковой, а о форме землепользования. Не раз во время прогулок я останавливалась, набирала в пригоршни горсть земли, рассматривала ее и недоуменно пожимала плечами: «Наша земля!» Я ничего не могла себе уяснить, но как-то не по себе мне было.

Бедный мой папа! Как тяжело было ему переживать все то, что не доходило до нас, или скользило, чуть задевая наши души. В лесу порубка. Отец ходит злой. Лесок у нас был маленький, на болоте, заросший кустарником. Печи наши всегда топились хворостом, в хворосте отец никогда не отказывал крестьянам, но годные для стройки дерева он берег.

Крестьяне рассуждали иначе. Не охота с хворостом возиться, да и на оглоблю, на постройку лесина нужна, а рядом лесок господский. Господский, но он же и Божий. Сумей украсть — Бог простит. *

Четвертым классом заканчивалось низшее образование. В 5 классе нужно было держать переходные экзамены. Они будоражили, утомляли, поэтому особенно радостно, счастливо, свободно, весело чувствовала я себя, подъезжая летом 1913 года к нашей деревне. Возбужденная, вошла я в наш домик. Теперь сбросить с себя городские платья, умыться и в сад.

Весело болтая, переодевались мы с сестрой у себя в комнате. Неожиданно вошла Аксютя. Сперва я даже не узнала ее. Она стала такая большая. В длинной цветастой юбке, такой же рябой кофточке с короткими рукавами, в платочке, уголком повязанном на голове. Свежая, здоровая, улыбающаяся. Ее синие глаза так и лучились нам навстречу, а из-под улыбающихся губ сверкали крепкие, белые, ровные зубы. Какая прелесть! Обе мы бросились к ней навстречу. Аксютя!

— Здравствуйте, барышни, а я вам воды умыться принесла. Здесь вот все приготовлено: и мыло, и полотенце.

Нам было не до умыванья. Мы усадили Аксютю, и началась болтовня о всех деревенских новостях. Я с восторгом смотрела на Аксютю и не скрывала своего восторга перед ее крепким, пышущим здоровьем. Она и сама была довольна собой. Она с удовольствием показывала нам свои полные загорелые руки.

— А вы, барышни, такие худые да бледные, руки-то как палочки тоненькие.

Аксютя была ровесница моей сестры, ей исполнилось пятнадцать лет, цветущая деревенская девушка, отец ей уже и жениха подобрал, кто-то сватался за нее. Аксютя была горда этим:

— Тят сказал, молода, погоди маленько! О, Боже, мы считали себя еще девочками, а Аксютю уже сватали! Внезапно Аксютя вскочила, спохватилась: — Умывайтесь, барышни, а я побегу самовар ставить. Вы уж сами себе сольете.

— Конечно, сами, но ты куда, какой самовар?

— Да я, барышни, теперь у вас в услужении, с самой весны барин меня в дом взял.

Аксютя — у нас в услужении! Аксютя — наш друг и товарищ всех наших игр!

Кто-то раньше убирал нашу комнату, мыл полы, выносил помои, случалось стелил наши постели — ничего этого мы не замечали. Делала ли это мама или Акулина, или другая женщина... Все шло само собой, по раз заведенному порядку. Теперь в услужении у нас Аксютя, наша ровесница, наша

подруга... *

Раз в неделю от нас в Сорочин папа посылал лошадь на станцию за почтой. Мы еще не получали писем, но ожидание писем взрослыми настораживало и нас. И мы тоже ожидали возвращения с почты. В один из таких почтовых дней папа, получив с почты письмо, протянул его мне. Недоуменно вертела я в руках конверт. Все интересовались, от кого письмо, но я усакала с ним в нашу комнату.

Маленький листок бумаги с голубенькой незабудкой в уголке. Прекрасным ровным почерком писала мне Нина Демидова. Я запрыгала от восторга. Мы учились вместе в приготовительном классе, она была одной из первых учениц. Мы дружили. Когда отца Нины перевели куда-то в другой город, мы, расставаясь, поклялись, что будем писать друг другу. Прошли годы, и вот Нина сообщала мне, что она прекрасно учится, что дома у них все благополучно. Не помню, что еще стояло в письме, но заканчивалось оно предложением нам вместе помолиться за наш народ и за великого императора нашего.

Я была оскорблена, задета в лучших своих чувствах. Нина стала черносотенкой! Как смела она писать мне такое!

Совершенно не помню ни моего отношения к Николаю II, ни к черной сотне до этого письма. Но эту вспышку помню хорошо.

Сейчас мне захотелось вспомнить о второй моей подруге, и втором, уже вполне сознательном соприкосновении с Николаем II.

Так же как с Ниной, мама советовала мне дружить с Раей. Рая поступила в первый класс, я перешла из старшего приготовительного в первый. Раина мать была яркой социал-демократкой, она часто бывала у моих родителей и часами спорила с отцом. Муж ее, врач-гинеколог, мало интересовался политикой. Жили они вблизи нас. Еще до школы родители сводили нас, детей, пару раз вместе, но дружбы не получилось. В классе отношения наши тоже не налаживались. Может быть, именно поэтому мы сторонились друг друга, что родители твердили нам о дружбе.

Я была старая гимназистка, лентяйка и шалунья, и чувствовала себя в классе, как рыба в воде, участвовала во всех играх и проказах. Рая была новенькая, любила читать, много читала и сразу по развитию и успехам заняла первое место в классе. Ничто не объединяло нас.

Однажды на большой перемене, во дворе во время игры, между нами произошло столкновение. Не помню точно, в чем оно состояло, но обвинили мы друг друга в нарушении правил игры. Спор перешел в драку. Наверное ее начала я, и наверное Рае

попало бы, так как я была сильнее, но нас рас тащили подруги. Я со своими сторонниками ушла в другой конец двора, Рая осталась в окружении своих друзей. В общем, класс раскололся на две части. Во враждебной нам группе были все лучшие ученицы, и они поклялись нам не подсказывать. Мы действовали хуже, мы выбрасывали из парт их ранцы, прятали их одежду в раздевалках, бросали им вслед презрительные замечания.

Вся гимназия узнала о расколе в первом классе. На уроках класс был возбужден, занятия не шли. Классная дама тщетно старалась примирить нас. Около недели длилась ссора. Не помню, что примирило нас, но за примирением началась дружба, крепкая, горячая, на долгие годы. Мы были разные, но мир осваивали вместе, может быть, наша разность помогла нам.

Мы часто спорили, но в конце концов приходили к общему решению. Спорили, как я уже упоминала, о крещении моего отца, спорили во время войны о варварстве немцев. Я вместе со всеми возмущалась тем, что немцы разрушают памятники старины. Рая утверждала, что смешно говорить о зданиях, когда человек убивает человека. Но в основном, в нашей ненависти к насилию, в нашей любви к свободе мы были едины.

Вместе преклонялись мы перед революционерами, были полны презрения и ненависти к царскому правительству. К этому времени мы уже прочли Степняка-Кравчинского — «Домик на Волге», «Андрей Кожухов», «Подпольная Россия», «Штундист Павел Руденко». С захватывающим интересом читали мы «То, чего не было» Репшина-Савинкова.

Каково же было наше возмущение, когда мы узнали, что в Курск приезжает Николай II и мы, учащиеся, должны встретить его! В школах началась подготовка. Мужские учебные заведения тренировались ежедневно. Мальчиков заставляли строем маршировать по улицам. Их готовили к параду. Нам, девочкам, большие начитывали всякие проповеди. Кроме того мы должны были уметь строиться по росту и стройно кричать «Ура». Ни на одной репетиции мы с Раей не были. Но когда нам объявили, что мы, гимназистки, будем цепью окаймлять площадь, по которой проедет царь, и будем приветствовать его криками «Ура!», мы приняли другое решение. Да, мы пойдем на площадь, мы станем в цепь, но кричать мы будем «Долой Николая Романова!», чего бы это нам ни стоило! В решение свое мы посвятили двух-трех самых близких подруг.

Я хорошо помню этот тревожный день. К восьми часам утра нам велели явиться в гимназию. Родители пытались удержать нас дома, но мы пошли. Улицы, по которым должен был проехать царь, были оцеплены строем городских, жандармов и солдат.

Штатские стояли шпалерами вдоль улицы по тротуарам. Охрана пропускала только учащихся в форме. В гимназии царило волнение. Передавали, как государь посетил госпиталь с ранеными, как он благословил детей воспитательного дома, встречавших его на вокзале. Мы только крепче сжимали друг другу руки. Наконец, нас вывели на площадь. Царь находился в дворянском собрании и должен был через площадь ехать к дому губернатора. Вся площадь была оцеплена учащимися, стоявшими в два ряда. Вдоль рядов бегали начальники, синявки, инспекторы, то и дело ровняя строй. Время шло, мы устали, нам уже надоело ждать, настроение спало, начались разговоры и болтовня. Наконец откуда-то долетел слух «едет, едет». Все головы повернулись в ту сторону, откуда должен был ехать царь. Мы еще ничего не видели, но уже слышали пока отдаленный и все нарастающий гул, приближающийся к нам. «Ура» затихало вдали и нарастало, приближаясь. Вот, наконец, показалась машина. Медленно, медленно она шла мимо рядов учащихся. В машине во весь рост стоял царь. В серой солдатской шинели, с обнаженной головой. Фуражку он держал в руке и поводил ею, приветствуя учащихся. Какое знакомое лицо, но гораздо проще, серее и человечнее.

Чем ближе подъезжала машина, тем ближе перекатывалось «ура», как бы сопровождая ее, сливаясь с нею в одно. Вот она уже вплотную подъехала к нам, от нас до машины каких-нибудь два шага, все мы, не отрываясь, смотрим на царя, «ура» катится уже по нашим рядам, вслед машине поворачиваются наши головы. Нам видна уже только спина человека в серой шинели.

Как это могло случиться, как это случилось? Я кричала «ура» вместе со всей толпой, я кричала «ура» Николаю II. Понурия голову, ушла я с площади. Последние годы гимназии

К тому времени, как я перешла в старшие классы, одна за другой оканчивали гимназию сестры, братья мои и моих подруг. Все они ехали учиться в университетские города. Приезжая домой на каникулы, они привозили с собой новые интересы, запросы и настроения, тогда наши школьные дела отступали на второй план.

Старшая моя сестра училась в Москве на Высших женских курсах. Она была очень способной девушкой, но первый год на курсах для научных занятий у нее почти пропал. Ее захватила волна общественных событий.

В годовщину смерти Л. Н. Толстого московское студенчество организовало демонстрацию под лозунгом «Долой смертную казнь». Демонстрации разгонялись. Часть юношей и девушек была окружена полицией, загнана в какой-то двор, арестована и

препровождена в дом предварительного заключения. Многие из них были избиты нагайками, многие помяты лошадьми. В числе задержанных оказалась и моя сестра. Узнав об ее аресте, мама, бросив нас на Акулину, поспешила в Москву. Папа был вызван из деревни телеграммой. Но переполох был напрасен. Никаких серьезных последствий для большинства молодежи не было. Через месяц почти все они были освобождены и вернулись в университет. Приехав на каникулы, сестра со смехом рассказывала, как в группе задержанных оказались курсистки и студенты, никогда не интересовавшиеся политикой. Девушки в бальных платьях и туфельках, завитые и напомаженные, шедшие с бала со своими кавалерами, захваченные демонстрацией, силой течения толпы, они были занесены в переулок, где их окружили казаки. Они отчаянно плакали в тюрьме, а их родители, люди с положением, подняли шум, и совершенно сбитые с толку следователи притушили все дело, так как разобрать, кто шел с бала, а кто с демонстрации, не было никакой возможности. Все уверяли, что просто возвращались с бала.

В последующие годы сестра вся отдалась своим курсовым занятиям, хотя по настроению, безусловно, принадлежала к передовому студенчеству.

Жизнь моего старшего брата сложилась несколько иначе. Окончив гимназию, он поехал учиться в Петербург, в Военно-медицинскую академию. Он попал на первый курс как раз в тот год, когда там проходили студенческие волнения. Среди года учащиеся академии узнали, что ряд лучших профессоров удаляется из академии из-за их политической неблагонадежности. Студенты объявили забастовку и выставили требование о возвращении старых профессоров. Все лекции вновь назначенных профессоров срывались. Шли митинги протеста, устраивались обструкции. Правительство ответило арестом отдельных студентов и закрытием академии. Студенчество других учебных заведений поддержало медиков сходками и демонстрациями. Но все же студенчество академии было распущено. Все программы пересмотрены. Учебное заведение передано в военное ведомство, военизировано. Всем студентам было предложено вновь подать прошения о приеме. Студенчество объявило новой академии бойкот. Время шло, правительство не уступало. Постепенно в канцелярию стали поступать заявления студентов о приеме их обратно. В числе подавших заявление был и мой брат Ася. Отец и мать молчали, мне казалось, что они огорчены поступком Аси. Я же была в полном отчаянии. Я боготворила брата и примириться с таким его поступком не могла. Я не хотела его видеть, о нем слышать. На лето брат не

приехал домой — по новому статуту академии лето студенты проводили в лагерях. Когда через два года он приехал домой на две недели, в военной форме, красивый и убежденный в своей правоте, я сдалась. Моя любовь к нему победила, но какой-то червячок сомнения грыз сердце.

Аня вовсе не интересовалась политикой. С курсов на каникулы домой она вернулась веселая, нарядная. Ее обласкала мамина сестра Маруся. На Ане был чуть ли не котиковый жакет и лисий горжет. Рассказы ее вертелись вокруг театров, вечеринок, шума столичного города. Во мне они не вызвали большого интереса. Зато брат моей подруги Оли своими рассказами о студенческой жизни, о сходках, землячествах, демонстрациях совершенно вскружил наши головы.

На следующий год мы собирались ехать на курсы. Вольная жизнь высшей школы со светлыми идеалами, свободолюбивыми порывами, протестом против пошлости и подлости повседневной жизни манила нас. Гимназия нам опостылела. Мы рвались из нее. Еще один последний год. Но куда же мы пойдем, куда направим свои стопы. Пора было определить свои стремления и симпатии.

Я училась неважно, склонности к чему-то определенному не имела, разбрасывалась в чтении. Теперь мне приходилось призадуматься. Я знала, что без медали в высшие школы Москвы и Петрограда не попасть. Приходилось приналечь на науки. К отцу я приставала с вопросами о том, куда мне идти учиться дальше. Я не знала еще, кем хочу стать. Пусть отец мне укажет, в каком из университетов самая широкая, всеохватывающая программа. Отец, конечно, расхваливал сельскохозяйственный факультет, там самая широкая программа, там читают и естественные, и экономические, и юридические дисциплины.

Мы рвались из гимназии, мы охотно перескочили бы через этот последний год. А какой он был хороший! За долгие школьные годы нас подобралась дружная компания из четырех девочек. Она так и называлась «квартетик». К ней примыкала группа мальчиков, тоже из четырех человек, и наши сестры. Все вместе мы организовали клуб «бездельников». Заседания клуба происходили по субботам и воскресеньям на квартире одного из членов по очереди. Чего только ни происходило на этих собраниях! Как дети, мы играли в фанты, в шарады, воробья, и тут же обсуждали прочитанные книги, устраивали литературные суды, вели споры о материализме, о равноправии женщин, о революции и эволюции. Мы без конца пели и танцевали.

Помню одно заседание клуба «бездельников», закончившееся большим конфузом. Было решено, что каждый из нас напишет стихотворение и опустит его в ящик, подписаны листки не будут.

Лучшее стихотворение получит премию. Не помню, чье стихотворение было премировано, но когда выбор был совершен, Леночка заявила:

— Эх, вы, я переписала стих Шекспира, а вы его забаллотировали!

Когда начинался съезд студентов на каникулы, деятельность клуба приостанавливалась. Мы ходили совсем смятенные, ведь возвращались герои нашей первой любви, к тому же они привозили с собой самые новые, самые дерзновенные мысли и планы. Они уезжали — снова функционировал клуб, на заседаниях его подводились итоги святкам. И спорам, и толкам опять не было конца.

Ребенком я очень мало читала в противоположность Ане, которая просто глотала книги. Для Ани мамой был установлен подбор книг, разрешенных ей для чтения, мне было разрешено читать все, лишь бы я читала. Поэтому дома все были удивлены и рады, когда я вдруг потребовала у отца книгу по политэкономии. Жили мы в деревне. Подходящей книги у отца не было. Он перерыл весь свой шкаф и принес мне «Политэкономия в связи с финансами» Ходского. Папа был уверен, что я заброшу книгу из-за сухости изложения. Я прочитала ее запоем и не один раз. Так же увлекла меня книга с изложением философии Ницше. Ее я читала зимой в учебное время, и я читала ее, не отрываясь, пока не прочла всю. Три дня я не ходила на уроки в гимназию — я читала. Мама не протестовала: «Катя читает».

Конечно, преувеличением было бы сказать, что я ничего не читала. Всех русских классиков за время учения в гимназии я перечла, я прочла кое-что из переводной литературы, но из всей массы книг, имевшейся у нас дома и прочитанных сестрой, целый ряд так и выпал из моего поля зрения: не были мною прочитаны Герцен, Чернышевский и Бокль «История цивилизации в Англии», книга, которую упорно советовала нам прочитать мама. Только в самые последние годы набросилась я на чтение, но тут уже у меня не хватало времени. Решив во что бы то ни стало получить медаль, открывающую мне дорогу на курсы, я вынуждена была налечь на занятия.

Газеты мы, молодежь, почти не читали. Мы знали, что выходят газеты разных направлений: от самых черносотенных, вроде «Курской...» (пропуск. — Ред.), органа Маркова-второго, до либеральных «Русское слово», «Русские ведомости» и т. д.

Отец выписывал целый ряд газет. Вечерами в деревне или во время своего приезда в город он часто за вечерним чаем читал их маме вслух, обсуждая и комментируя. В нашей семье и в Раиной, когда собирались взрослые, мы слушали их разговоры о

происходящих событиях, мы были в курсе общественной жизни, не читая газет. Не влекли нас буржуазные газеты — нам хотелось нелегальщины. Достать ее в Курске мы не могли, но мы знали о ней из рассказов наших друзей-студентов и тянулись к студенческой жизни.

За гимназическим порогом начиналось вступление в жизнь. Нам мечталось это очень абстрактно в виде борьбы за счастье и справедливость — «Иди к униженным, иди к обиженным, по их стопам...» Мы читали «Буревестник» — Горького, декламировали «Каменщик, каменщик в фартуке белом...», «Лес рубят, молодой, нежнозеленый лес...» Мы пели студенческие песни — «Гаудеамус», «Варшавянку», «Смело, друзья, не теряйте...» и другие.

Мы рвались из гимназии. Зато и отпраздновали же мы наш выпуск! Получив аттестаты, прямо из гимназии почти всем классом отправились мы в ресторан-кафе, куда был закрыт вход учащимся. Мы заняли все до единого столика, но этого оказалось мало нашему стремлению нарушить все каноны жизни и оповестить всех, что мы начинаем жить, что мы вырвались из гимназических цепей!

В Курске по двум главным улицам из конца в конец города проходила трамвайная линия. Двигался курский трамвай очень медленно, насчитывал всего пять или шесть вагончиков и курсировал от Московских ворот до Херсонских. Ворота эти были когда-то поставлены курским дворянством в честь приезда государя. Увлекая по дороге всех окончивших с нами гимназию, дошли мы до Московских ворот и стали толпой. Все подходившие вагоны заполняли мы, учащиеся. Раз пять прокатились мы от ворот до ворот, не вылезая и лишая возможности остальную публику сесть в вагон. Мы прощались с гимназией, подругами, учителями, с которыми хорошо ли, плохо ли прожили восемь лет.

2. СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ. РЕВОЛЮЦИЯ

В Петрограде

Мечты наши осуществились осенью 1916 года. Мы были приняты на курсы, Оля и я — в Сельскохозяйственный институт им. Пр. Стебута в Петрограде, Лена — на математическое отделение Бестужевских курсов. Огорчило нас то, что Рая, из-за процентной нормы для евреев в столичных городах, поступила в Харьков на медицинский факультет. Впервые разлучились мы, впервые должны были начать самостоятельную жизнь, вырвавшись из-под родительского крова. Аня ехала с нами в Петроград на 2 курс исторического факультета. Оля и я решили поселиться вместе. Немного огорчало нас то, что вслед за Олей собиралась ехать Олина мать с младшей дочерью Соней. Нам было поручено снять квартиру из двух комнат: одну комнату для нас троих, вторую — для Олиной мамы и ее сестры. Огорчило нас и то, что Олин брат Жорж, студент Петроградского университета, не жил в Петрограде — он был на фронте, и все мечты о том, как он покажет нам город, не сбывались. Мы, правда, везли с собой его инструкцию о том, что мы должны смотреть в первую очередь. Сам он обещал приехать в отпуск в октябре и побродить тогда с нами по городу. Он дал нам адрес своей квартирной хозяйки, где мы могли остановиться на первое время.

Материальная сторона жизни не тревожила нас. Мама с папой обещали высылать нам с Аней по 25 рублей в месяц каждой. Олины родители были люди хорошо обеспеченные, Леночка ехала в семью своей матери.

Сутки, проведенные в вагоне, были преддверием новой жизни. Питер ошеломил нас с первых шагов, с вокзала. Мы не выезжали из Курска, не видели ни одного большого города. Пока извозчик вез нас с Московского вокзала до Васильевского острова, мы жадно смотрели на стройные серые здания, на одетые в гранит берега Невы, на изумительные мосты, нависшие над нею.

Хозяйка квартиры встретила нас приветливо, но комнату она могла предоставить нам только на две недели и нам сразу же нужно было приступать к поиску квартиры. Целыми днями бродили мы по улицам Петрограда, высматривая на подъездах розовые билетики, извещающие прохожих о том, что в доме сдается квартира. Ничего подходящего мы не находили.

Приближалось время начала занятий, оканчивался срок квартиры, предоставленный нам хозяйкой, близился приезд Олиной мамы, — но мы не унывали. Однажды нам подвернулась чудесная квартира, владельцы сдавали ее по сходной цене. Мы с Олей сняли бы ее, но Аня встала на дыбы:

— Вы сумасшедшие! Это не жилье, а магазин! Дверь в помещение прямо с улицы, не окна, а настоящие витрины, посередине перегородка, не доходящая до потолка и до противоположных стен, перед ней нечто, напоминающее прилавок. Ни кроватей, ни стола, ни стульев. За перегородкой — темнота.

С шутками и смехом хотели мы взять эту квартиру, с шутками и смехом отказались от нее. В тот же день мы нашли, наконец, подходящую квартиру. В двух небольших комнатах стояли три кровати, два стола, один табурет и пианино. Оля играла на рояле и очень любила музыку. Вопрос был решен.

Нам пора было посетить курсы. С трепетом, с захватывающим интересом шли мы с Олей 1 сентября на Выборгскую сторону. Мы долго блуждали по улицам, не находя нужного переуллка. Наконец, нам показали большое серое здание. Обычные входные двери. Широкая площадка, широкая лестница на второй этаж. Ни души. Оглядываясь по сторонам, мы подошли к одной из дверей. На ней белая бумага, приколотая кнопками — «Лавочка закрыта». Недоуменно переглянулись мы. Какая лавочка? Почему лавочка? Куда нам теперь деваться? За нашими плечами хлопнула входная дверь. Две девушки переступили порог ее. Я крикнула навстречу им злым голосом:

— Не ходите, лавочка закрыта.

— Нет, это вы не уходите, товарищи, — ответили приветливые звонкие голоса, — мы ее сейчас откроем.

Какой музыкой прозвучало мне это обращение «товарищи». Мы с Олей товарищи этих замечательных девушек!

Все оказалось очень просто. Мы стояли у дверей студенческой лавочки. Эти девушки работали в ней. Они пришли открывать ее, но, так как кроме нас никого не было, они принялись посвящать нас во все подробности студенческой жизни. Лекции начнутся с 5 числа. Канцелярия открыта, вход в нее со двора. Студенческая столовая — выше по ступенькам. Расписание лекций вывешено в канцелярии. Там же объявление о том, что общее собрание слушательниц I курса состоится послезавтра в 7 часов вечера, а старостат своего курса мы будем выбирать через месяц, когда познакомимся друг с другом. Одна из девушек была членом студенческого старостата. Она расспросила, когда мы приехали, откуда, где остановились. Тут я

поняла, что мы потеряли массу времени, болтаясь одни по Петрограду. Приехав, нам нужно было тут же идти на курсы. Там дежурные по старостату встречали приезжих, помогали с приисканием жилья, обеспечивали ночевками. В студенческой столовой курсистки знакомились друг с другом, закреплялись по своим землячествам, экскурсиями ходили по Петрограду, с ночи становились в очередь за билетами в театры. Варясь в собственном соку, мы многое упустили, надо было наверстывать.

В студенческой столовой народу немного. Обслуживалась она курсистками, нуждавшимися в работе. Спустившись в столовую, мы сперва попали в раздевалку. При входе во второе помещение было расположено окошечко кассы. Рядом доска, на которой мелом написано меню:

Суп картофельный — 3 коп. Котлеты картофельные — 5 коп.
Щи мясные — 7 коп. Котлеты мясные — 8 коп.

От кассы надо было идти к противоположной стене, в которой было прорезано окошко в кухню. Здесь курсистки получали заказанные блюда. Вдоль всего помещения стояли длинные столы и скамьи. Столы были покрыты клеенками, на них стояли тарелки с нарезанным хлебом, солонки с солью, баночки с горчицей. В углу, ближе к раздевалке, стоял умывальник, висело полотенце. В другом углу, на скамье стояли два бака — один с холодной кипяченой водой, другой с горячим заваренным чаем. Мы с Олей были поражены дешевизной обедов и величиной порций. В вегетарианской столовой, где мы обычно обедали, обед стоил 25 коп. Так разве наешься! Наш первый студенческий обед показался нам и вкусным и сытным. В столовой мы встретились с первокурсницами, нашими будущими товарищами.

Студенческая жизнь началась. С утра мы шли на курсы и проводили там целый день. Утром лекции: зоология, ботаника, физика, химия, государственное право, политэкономия и другие. Вечером проводились практические занятия. Наряду с учебой шла курсовая жизнь. Студенчество объединялось в землячества, в различных кружках. Руководил всем старостат, состоявший из представителей, избранных каждым курсом. Он руководил и столовой, и библиотекой, и лавочкой. Он устраивал вечера и вечеринки в пользу неимущих студентов, организовывал приватные лекции, диспуты. Через какой-нибудь месяц, в числе еще пяти девушек, я была выбрана от своего курса в старостат. Жизнь закружила нас так, что мы не успевали ни в чем — ни в занятиях, ни в серьезном освоении возникавших перед нами вопросов. Времени нам не хватало. А тут еще Аня трубила мне в уши:

— Надо пойти к родным. Ведь ты обещала маме пойти к тете

Марусе.

Родных в Петрограде у нас было очень много. У маминого брата, дяди Феди, мы с Аней бывали изредка. Дядю Федю и тетю Веру я знала с детских лет и очень любила. У них было просто и хорошо, они были свои. Но я обещала маме пойти к ее сестре, тете Марусе, жене Николая Сергеевича Крашенникова. Крашенниковых было два. Илья Сергеевич — дядя Илья и Николай Сергеевич — дядя Коля. Это были мамыны двоюродные братья. Мамино детство прошло с ними. Потом Николай Сергеевич женился на маминой сестре, тете Марусе. Дядю Илью я знала, он изредка бывал у нас в Сорочине. Его я любила, да его любили все, — за доброту, за справедливость, за сердечное отношение к людям. Все, начиная от сотрудников по работе, до наших сорочинских крестьян. Высокий, представительный, красивый, благородный, он так же, как и дядя Коля, был сенатором, но кроме этого ничего общего между ними не было.

Николай Сергеевич Крашенников, маленький, тщедушный, некрасивый, злой и ехидный, не был любим никем, кроме ближайших родственников. Да и те в его защиту выдвигали глубокую принципиальность, последовательность, честность, идейность. Был он председателем судебной палаты, глубоко верующим, преданным царствующему дому человеком, был последовательным и убежденным монархистом. Все крупнейшие политические процессы проводил он. Проводимые им процессы отличались суровостью и жестокостью приговора. В свое время было совершено покушение на его жизнь. Ему было нанесено ранение кинжалом в область гортани. Тогда он выжил. Мама умоляла меня: «Ты пойдешь не к нему, ты пойдешь к моей сестре. Кроме того, Николай Сергеевич человек убежденный. Это идейный противник, идейных противников знать не мешает». Что ж, я обещала маме, и я пошла. Я шла в черной косоворотке, со студенческими пуговицами, с запасом революционных настроений в душе. Аня, очень полюбившая тетю Марусю, всячески хотела подкупить меня. Она говорила, что тетя очень хочет меня видеть, что Петя, сын тети, сказал, что у меня красивая и благородная внешность. Ничто не помогло, я шла с плотно стиснутыми зубами.

Дверь нам отворил лакей. Это был первый и последний лакей, которого я видела в своей жизни. Здороваясь, я подала ему руку, но он не принял моей руки, а ловким движением принял Анино пальто.

— Свое я уж как-нибудь повешу сама, — сказала я.

Не знаю, понравилась ли бы мне при других условиях квартира тети Маруси, но тогда я нашла ее ужасной. Первая

комната, в которую нас провел лакей, была завешена, заставлена, загорожена. Роскошные портьеры, роскошные занавеси, картины, диваны и диванчики, кресла, стульчики, столики, пуфики, этажерочки, черт знает, что там еще было, но через все это надо было не идти, а пробираться.

О нашем приходе было доложено тете, и нас попросили пройти в столовую. Тетя сидела уже за столом. Очень тепло и сердечно встретила она нас, спрашивая о маме, о Курске, об устройстве здесь. Она усадила нас с собой за стол. Почти сейчас же вышел и дядя Коля. Маленький, щупленький, с козлиной бородкой. Таким я его себе и представляла.

Лакей обносил нас блюдами. Разговор не клеился. Я демонстративно говорила резкости. Дядя иронизировал. Сменялись яства. Уйма тарелочек, вилочек, ножичков. Что чем есть? На последнем подносе, принесенном бесстрастным лакеем, стояли четыре чашечки с водой. Одну он поставил передо мной. Что надо с ней делать? Выпить? Я выпила. Аня к своей не притронулась. Тетя и дядя пополоскали концы пальцев и вытерли их о салфетки. С меня было достаточно... На обратном пути домой сестра объявила мне, что я — дура, что если пришла в дом, то должна держать себя прилично. Я ответила, что ноги моей больше там не будет.

* * *

На нашем первом студенческом вечере в пользу несостоятельных студентов мы с Олей веселились до упаду. Познакомились мы с двумя студентами-путейцами. Оля весь вечер танцевала с одним, я — с другим. Домой они провожали нас почти через весь Петроград. С Выборгской стороны на Петроградскую шли мы ночью, дурачась, играя в снежки, залезая на ограды мостов и прыгая с них. Было отчаянно весело. Про моего нового знакомого я знала только, что он студент-путеец, и что зовут его Нил. На той же неделе Нил явился к нам в гости. Он был одет не в студенческую форму, а в шикарный штатский костюм. Ногти на его руках были отточены и отполированы. На одном пальце сверкало кольцо. За нашим пианино, аккомпанируя себе, он мелодекламировал, преимущественно Вертинского.

Нил стал встречать меня на улице, часто заходил к нам домой. Олина мама встречала его приветливо. Аня скулила надо мной, что у меня поклонник — белоподкладочник. Я злилась, но не умела отшить Нила.

Протестуя против Вертинского, против отточенных ногтей и

перстней, мы с друзьями брели в извозищи чайные, в пивнушки, в Народный дом, на народные гулянья. Все спутывалось в один клубок — споры, занятия, толки о газетных сообщениях, сходки и собрания, «Общество бесплатной езды на трамваях». Нам с Олей до курсов было идти часа полтора, не меньше. На трамвай уходила уйма денег. Как-то раз, дурачась, мы решили не брать билетов. Но не могли же мы присваивать себе деньги, не заплаченные за билет, и было решено: деньги, сэкономленные на трамвайных поездках, поступают в общую кассу, в фонд «Лоби-Тоби» — любимых нами, очень дорогих конфет. Общество насчитывало восемь членов. Увы, все это была студенческая молодежь. Когда в нашей кассе набралась достаточная сумма, мы отправились за конфетами. Олина мама просила принять и ее в наше общество, обещаясь вносить каждый раз половину накопленной нами суммы, не брать билетов в трамваях она не рисковала. Но мы твердо стояли на соблюдении правил общества. В лучшей кондитерской на Невском покупателям предоставлялось право при покупке конфет пробовать различные сорта. Мы шли в эту кондитерскую и покупали «Лоби-Тоби», лишь напробоваввшись всласть других конфет. Таков был закон общества.

Лекции мы посещали аккуратно, мы посещали все практические занятия. Профессор Аверинцев прекрасно читал зоологию, мы любили лекции по физике, но излюбленными моими лекциями были лекции по государственному праву, лекции же по математике и геодезии я не любила. Сильно запустила я практические занятия по черчению. Я была захвачена общественной жизнью курсов. Собрания старостата сменялись собраниями кружков и землячества. Студенчество в те годы не было едино. Резко выкристаллизовывались две группы: левое студенчество, с одной стороны, правое — реакционное, с другой. Между нами шаталась более или менее инертная масса. Правонастроенное студенчество, состоявшее из сынков и дочек привилегированных родителей, носившее название «белоподкладочников», за изысканность туалетов, было в меньшинстве. В общественной жизни курсов оно участия не принимало, не участвовало в кружках, кроме увеселительных, не посещало сходок и собраний, если на них не ставился какой-нибудь существенный вопрос. Левое студенчество, напротив, было самой активной группой. Оно руководило общественной жизнью курса. Старостат наш сплошь состоял из левонастроенных студентов. И в столовой, и в землячествах, и в кружках господствовали левые настроения.

Мы, первокурсницы, конечно, только знакомились с курсовой

жизнью, с ее организацией, мы не имели представления о том, что студенческие организации через отдельных своих членов связаны с нелегальными организациями. Нас просвещали, и мы глотали сведения: о расколе во II Интернационале, о съезде в Циммервальде, о конференции в Кинтале и Кинтальском манифесте. К 1916 году, собственно, почти вся русская интеллигенция, до кадетов включительно, относилась резко отрицательно к царскому правительству. Неудачно проводимая война, хищения, разруха в снабжении армии, разруха в производстве, слухи о предательстве, об изменах обсуждались повсюду. История с Распутиным вскрыла раскол в самых высших кругах. Номер «Биржевки» с фельетоном, невинным по содержанию, но говорящем об истинном положении в стране, если читать акростихом первую букву каждого слова, ходил по рукам и читался нарасхват.

События захватили нас, собственно, я должна говорить, меня. Сестра не интересовалась политикой. Оля больше была моей спутницей. Очаровательно веселая, она легко шагала по жизни, а ко мне была очень привязана. В своей семье она очень любила и ценила своего брата Жоржа, а тот, увлеченный в то время мной, натрубил ей о всяких моих достоинствах. Жорж был странный и незаурядный человек. Оторвавшись от своей, в общем, купеческой семьи, он не нашел твердой дороги. Был он года на три старше нас. Учась на юридическом факультете, был он одним из одаренных студентов. Он был горячим поклонником профессора Петражицкого и без конца излагал мне его учение о праве, о нормах морали. Жорж был страстный почитатель искусства, мог часами говорить об архитектуре, живописи, литературе различных исторических эпох. Он увлекался мистицизмом. В 1915 году, поддавшись одному из своих нравственных велений, отнюдь не увлекаясь войной и не пылая патриотизмом, он ушел на фронт добровольцем. Комично было его прощание со мной. Он относился ко мне очень бережно. Уезжая на фронт, он осенил меня крестным знамением и поцеловал в лоб. Это наше прощание подсмотрела Акулина. Она истолковала его по-своему и долго хранила в тайне. Но когда я стала получать с фронта бесконечные письма, она не выдержала и рассказала о моем прощании с Жоржем отцу, советуя ему не отдавать мне письма или посмотреть, что непутевый барчук мне пишет. Папа позвал меня к себе. Я совершенно опешила, когда серьезно вглядываясь в мое лицо, отец спросил:

— Катя, подумай и скажи серьезно — ты любишь этого Жоржа?

— Папа, что ты, я — Жоржа!

— Я не хочу вмешиваться в твою жизнь... Я не дала отцу договорить. Мне было смешно. О каких чувствах мог говорить папа. Мне льстило немного отношение Жоржа, увлечение мною взрослого студента. Папу все это не устраивало. Серьезно и спокойно он сказал мне:

— Дай мне слово, что ты не выйдешь за него замуж.

Папа говорил так серьезно, что я перестала смеяться и так серьезно ответила:

— Папа, даю тебе слово, я никогда не выйду за него замуж. В конце ноября к нам в Петроград приехал Жорж.

Это был первый человек, который воочию видел войну и который не жалел слов, не жалел красок. Он ненавидел войну, ненавидел командование и терпимо относился к врагам. Был он вольноопределяющимся — рядовым. Вся картина ужаса войны, развала, разрухи, предательства встала перед нами. Одно в рассказах Жоржа не убеждало, а пугало меня. Нет, он не стал антисемитом, но он говорил о трусости евреев, о их подхалимстве перед начальством и даже предательстве. Этому я не хотела верить. Но мы еще крепче возненавидели войну, а предателями считали верховное командование и промышленников, наживавшихся на войне, и, в первую голову, — царствующий дом Романовых.

Рождественские каникулы промелькнули мгновенно. Дома после самостоятельной жизни мы чувствовали себя повзрослевшими. Все надо было рассказать маме, отцу, но главным была моя встреча с Раей. Ее харьковские и мои петроградские впечатления в общем совпадали, но к стыду своему я должна сказать, что Рая гораздо больше успела в смысле учебы.

В эти студенческие каникулы мы уже не встречали студентов, не глядели на них подобострастно. Мы сами были студентами. Мы сами должны были принимать участие в традиционном студенческом вечере, устраиваемом ежегодно в пользу неимущих студентов. В этом, 1916 году, студенчество решило посвятить вечер не только сбору средств, не ограничиваться любой пьесой и танцами, а придать ему идейный характер. Не помню, какую бичующую буржуазный быт пьесу мы ставили, но наш студенческий хор должен был петь направленные студенческие песни. Декламаторы должны были читать «Песню о соколе» и «Буревестник». Конечно, мы были связаны определенными цензурными рамками. На организацию вечера испрашивалось разрешение губернатора, должно было быть выдвинуто лицо, отвечающее за программу и проведение вечера. В этом нам помог отец Оли Коротков. Купец, городской голова, он представлял достаточно уважаемую в городе фигуру.

Странный это был человек. По большей части мы видели его или пьяным, или подвыпившим. Был он плохой семьянин, неудачный муж, но честный и добрый человек. Жизнью семьи ведала в основном его жена, очень энергичная, умная и предприимчивая женщина. В их доме мы особенно любили собираться. Отсутствие семейного уклада, какая-то свобода прельщала нас. В этот дом мы могли прийти, когда хотели, и делать, что хотели; огромная квартира была всегда в нашем распоряжении. Мать изредка заходила к нам, отец почти никогда не был дома, а если был и выходил к нам, то молча подсаживался, иногда подтягивал за нами студенческие песни, вместе с нами подшучивал над городской думой, главой которой был, и над правыми города, и над властями, и над нами. Он-то и согласился помочь нам, взяв на себя ответственность за организацию вечера перед губернатором.

Вечер прошел, с нашей точки зрения, прекрасно. Сбор был, как всегда, хороший, нам было торжественно и очень весело. Неприятность пришла неожиданно. Почему-то внимание губернатора сосредоточилось на песенке, которую наш хор спел на «бис» — «У попа была собака». Мы эту песенку часто напевали. Дружными аплодисментами она была встречена и на вечере. «Это кощунство, — кричал губернатор, — публичное издевательство над священнослужителями!» Если бы не находчивость Короткова, могла бы быть неприятность, но он заверил губернатора, что песенку он понял неправильно, что по-французски «папа» — отец, песенка сложена про него — отца города. У него действительно была такая история с собакой, но он не в претензии на молодежь — «пусть себе веселится, лишь бы политикой не занималась». Губернатор покачал головой, посомневался, сказал, что хоронить собаку как-то неудобно, но на этом дело и кончилось. Я вспоминаю этот маленький эпизод потому, что буду вспоминать в дальнейшем о Короткове и его судьбе в совсем иных обстоятельствах.

Я уже говорила, что в беседах с Раей я остро ощутила, что слишком много жила студенческой жизнью и слишком мало училась. Обрато в Петроград я ехала с твердым намерением взяться за учебу — грызть гранит науки! Решение было благое, но действительность была против него. В Петрограде жизнь захлестнула нас.

Терпение народа иссякло. Война была ненавистна. Разруха и голод надвигались на город. Одно за другим закрывались предприятия, урезывалась зарплата рабочих, в магазинах не хватало продуктов. Не хватало и хлеба. На 9 января подготовлялась забастовка рабочих. Студенчество активно их

поддерживало. Во всех высших учебных заведениях по аудиториям проходили собрания и сходки. Я, как и другие старосты, не только не училась сама, но срывала занятия и лекции других. Профессура наша в большинстве своем поддерживала студентов. Только откроешь дверь и скажешь, что лекция прекращается по такому-то мотиву, что студенты приглашаются на сходку в такую-то аудиторию, как профессор первый складывал свой портфель и спускался с кафедры. Были, конечно, и такие профессора, которые читали лекции и при пустых аудиториях, так же, как были студенты, демонстративно желавшие слушать лекции. И тех, и других мы игнорировали, ненавидя первых и презирая последних.

Через свои организации студенчество было связано с рабочими и партийными организациями. Наши курсы помещались на Выборгской стороне. По студенческой линии мы теснее всего были связаны с военно-медицинской академией, по рабочей — с путиловцами.

Тот кружок, к которому примыкала я, был связан какими-то путями с партией социалистов-революционеров. Возглавляла наш кружок курсистка последнего курса, высокая, стройная, огненно-рыжая грузинка. Страстные речи говорила она, обращаясь к нам. Она горела вся, и мы горели вместе с ней от ненависти к самодержавию, эксплуататорам-капиталистам.

Как птицы разлетались тогда вести о каждом новом событии. В числе военнопленных, шедших этапом через один из сибирских городов, оказался Отто Бауэр. Его узнали тут же на улице, ему устроили овацию. Как мы горевали, что нас не было там, что мы не могли приветствовать вождя австрийских социал-демократов. Лена, приезжая к нам, рассказала, что происходит у них на Бестужевских. Бестужевские курсы были значительно больше наших, и мы с Олей бежали туда на их сходки и собрания. Мы чувствовали, что назревают события. Нас готовили к большой женской демонстрации, назначенной на 23 февраля — «международный женский день». С неясными для нас самих поручениями бегали мы по фабрикам и заводам. Труднее всего было вести работу среди студентов-путейцев. Там, в основном, студенчество было реакционное. Февральская революция

18 февраля забастовали рабочие Путиловского завода, и забастовка ширилась. 22 февраля забастовали почти все крупные заводы Петрограда. На 23 была назначена забастовка наших женских курсов, забастовка и демонстрация. Революционные события обогнали наши ожидания. Утром 22 февраля, когда мы еще лежали в постелях, Олина мать, ушедшая из дому достать хлеба, вернулась взволнованная. Магазины закрыты, трамваи не

ходят. На улицах — толпы народа. Кто-то стреляет. Я и Оля кубарем скатились с постелей, быстро оделись и под отчаянные уговоры ее матери помчались на курсы. Город кишел людьми. Народ толпился под какими-то воззваниями, расклеенными на стенах домов и заборах. Полицейские пытались разогнать толпы, срывали воззвания. Чем дальше мы шли, тем больше становились толпы людей. До курсов мы не дошли. Мосты были оцеплены полицией. Перед их густой цепью теснились толпы. Относимые движением людей то в одну, то в другую сторону, мы пытались пробраться к другому мосту. И он был оцеплен. По Кронверкскому проспекту навстречу нам двигалась толпа демонстрантов. Над толпой на шесте колыхалось красное знамя. Вдруг, рядом с нами из переулка вынырнул отряд казаков. Рысью, в черных папахах и развевающихся черных бурках, с высоко поднятыми нагайками неслись они прямо на толпу демонстрантов. Кроме глаз, прикованных к казачьему отряду, во мне не осталось ничего. «Сейчас, вот сейчас это случится! На моих глазах опустят они свои нагайки на людей, будут топтать их копытами коней...» И отряд казаков врзался в толпу. Толпа прижалась к домам. «Ура!» Такого «Ура» я никогда не слышала ни раньше, ни позже. Сдерживая коней, с поднятыми нагайками пронеслись казаки сквозь толпу. Демонстранты приветствовали их криками, срываемыми с голов шапками. Проскакав сквозь толпу, казаки скрылись. Демонстранты вновь сомкнутыми рядами двигались нам навстречу. Толпа, в которой находилась я, застывшая и замершая в одном порыве страха, не сразу поняла, что произошло на наших глазах. Но когда до нашего сознания дошло, что казаки не опустили нагайки, что казаки отказались разгонять народ, люди ошалели. Одни плакали, другие целовались с соседями. «Ура» — кричали мы навстречу демонстрантам. Наша толпа присоединилась к демонстрантам. Демонстрация росла и ширилась. Революция! Что бы это могло быть еще! Революция! И она победит! Даже казаки с народом!

В первый день восстания мы с Олей так и не добрались до наших курсов. Весь день мы ходили с толпами народа по улицам, не зная, куда мы идем и зачем мы идем. Громкими криками приветствовали мы солдат, примкнувших к народу. Мы кричали «Долой!» перед горящими домами полицейских участков. Где-то в отдалении слышалась пальба. Кое-где стреляли по народу засевшие на чердаках охранники. Я была счастлива. Мне везло. За все дни Февральской революции я не видела ни одного убитого, ни одной зверской расправы. В моих глазах Февральская революция была бескровной.

Вечером в нашей комнате шли нескончаемые споры о борьбе

и революции.

— А если ты узнаешь, что переодетый жандарм прячется в нашей квартире, ты донесешь? — наступала на меня Аня.

Не задумываясь, я отвечала:

— Сейчас же донесу, но это не донос, это борьба, защита народных прав, защита побеждающей революции.

В том, что революция побеждает, я не сомневалась. Когда мы смотрели на пылающие архивы охренок и суда, подавленная величием картины пожара, я все же сокрушалась, что жгут архивы. Мне объяснили, что жгут их не только из ненависти, но и во имя революции, на случай поражения. Я отрицательно качала головой и смеялась над маловеерами.

На следующий день мы с Олей решили во что бы то ни стало пробиться на курсы. Мы не хотели глазеть на революцию, мы хотели ее делать. Как делать, что делать? Указания я могла получить у себя на курсах. Пробираясь с Петроградской стороны к Финляндскому вокзалу, мы видели те же толпы восставшего народа, кое-где уже брошенные, уже ненужные баррикады, застывшие, а то и заваленные вагоны трамваев. Новыми казались грузовики, груженные хлебом, их везли солдаты из своих казарменных пекарен. Они останавливались у хлебных очередей и раздавали хлеб женщинам.

Ожидания не обманули меня. На Стебутовских курсах жизнь кипела. Люди валились с ног от усталости. Грузинка, очаровавшая меня в первые дни курсовой жизни, сказала:

— Работы сейчас у нас две: в медпункт — санитарками или в столовую — кормить людей. Заведующая столовой не дала нам выбирать:

— Ко мне. Девчата с ног сбились. Нужны сменщицы.

Вслед за ней, мы с Олей пошли в нашу столовую. Столовая в это время была пуста. Столы стояли без скатертей, голые. Пол был затоптан, забросан окурками, недокуренными сигарками. Мы хотели было заняться уборкой, но Валя крикнула:

— Некогда, товарищи, печи гаснут!

Пока мы таскали дрова и подкладывали их в печь, столовая наполнилась солдатами и рабочими. Прямо к стенкам прислоняли они ружья, растирали замерзшие руки, возбужденно говорили, смеялись, а мы забегали с мисками и тарелками, полными манной кашей. С утра до вечера разносили мы ее голодным и замерзшим мужчинам. Других продуктов в столовой уже не было. Чай, каша, горчица в неограниченном количестве.

Часто к нашей столовой подкатывали грузовики, полные людей. Каждым из них вместо командира руководил студент Военно-медицинской академии. В эти первые дни медики

заменяли и офицеров, и врачей.

— Кормите людей, товарищи, — говорили они нам, — главное, горячее. Что ни есть, только горячее!

Над Петроградом стояли ясные и очень морозные дни и ночи. Фабрики и заводы не работали. Вечная пелена дыма, окутывающая обычно город, рассеялась, Днями небо было такое синее, ночами без электричества такое темное, звездное. Пять дней бессменно разносили мы манную кашу, таскали дрова, топили печи. О том, что творится в городе, мы узнавали от бойцов, питавшихся у нас. Первые дни число людей, обслуживавших нашу столовую, было ничтожно. Ото дня ко дню оно росло, и я решила, что здесь обойдутся без меня, и обратилась в курсовой революционный комитет с просьбо

3. ГОДЫ ВОЕННОГО КОММУНИЗМА

Развал и разруха

В 1918 году была социализирована вся промышленность, все фабрики, заводы, банки, дома, торговля. Это было тяжелое время развала и разрухи, сплошной расхлябанности как на производстве, так и в армии. Разрушать было значительно легче, чем созидать новое. Одни бойкотировали новую власть, другим не доверяла она сама, третьи хотели строить новую жизнь, но не умели. Миллионы мелких хозяйчиков, ремесленников в городе и в деревне наживались на отсутствии товаров, порождали бешеную спекуляцию.

Методы насилия периода военного коммунизма разлагали руководящих работников и возмущали население.

Расшатанность моральных устоев, происходившая из-за грубых форм антирелигиозной пропаганды, сводившаяся к конфискации церковного имущества и надругательству над святыней народа

— все это я видела в Курске, все это так или иначе входило в мою жизнь.

О крестьянских волнениях летом 1918 года я только слышала. Я слышала о так называемой борьбе бедноты с кулачеством, об организации комбедов

— основной власти на селе, о походе рабочих отрядов по селам для конфискации хлебных излишков, необходимых голодающим городам.

Крестьянство раскулачивалось. В кулаки зачислялись все недовольные на селе. К кулакам причислялись крестьянские семьи, никогда не прибегавшие к наемному труду. Если в хозяйстве было две коровы, корова и телка, или пара лошадей, хозяйство считалось кулацким. В села, где крестьянство отказывалось сдавать излишки хлеба и не выявляло кулаков, отправлялись карательные отряды. И крестьянство на своих сходках выбирало, кому ходить в «кулаках». Меня тогда потрясло это, но крестьяне объяснили: «Приказано, чтобы кулаков выявили, податься некуда».

Кулаков выбирали на мирских сходках, как прежде выбирали старосту. Обычно выбор падал на бездетных бобылей, чтобы не пострадали детишки.

Рабочие в России в большинстве своем были связаны с деревней. Когда разруха охватила фабрики и заводы, рабочие,

чтобы просуществовать, занялись производством всяких мелочей, вроде зажигалок, продаваемых на рынке, или возвращались в деревню, где рассказами о разрухе еще больше тревожили крестьян.

Крестьянин ничего не мог купить для своего хозяйства — ни мешка, ни веревки, ни топора, ни спичек. Мыла в магазинах тоже не было. Мыло продавалось в подворотнях и на базарах из-под полы. Шли дурацкие слухи, что мыло варят из человеческого мяса, что воруют и убивают на мыло детей.

Все ценности, которые отбирались у богачей городских и кулаков деревенских, а также по церквям, свозили и сваливали где-то с учетом и без учета. Кое-что прилипало к рукам изымавших ценности, уплывало со складов. Кто не брал в те годы! Даже Дутя принесла Акулине пару икон в ризах. Конечно, она уверяла, что иконы никому не нужны, но все же — так было. Книги, картины, альбомы из частных библиотек свозили в библиотеки общественные, там их горами сваливали на пол в каком-нибудь чулане. Никто их не собирал, не сортировал.

В библиотеках с полок изымали книги нежелательного направления по присылаемым спискам или по собственному разумению вновь назначенных библиотекарей. В штрафной список попала тогда вся история России... Ключевский, Платонов, конечно, Елпатьевский, Карамзин. Один Покровский в первые годы революции был в чести. Лев Толстой подвергся гонению за его религиозно-философские работы, но заодно с полок смахивались «Анна Каренина», «Война и мир», «Воскресение».

Со всеми своими тревогами и возмущениями я была очень одинока в Курске. Я могла говорить с папой, спорить до одури с Дутей — и только. Базарные сплетни, слухи, шушуканья по углам, бесконечные анекдоты, язвительные толки делали жизнь непереносимой.

Все некоммунистические организации были в глубоком подполье. Связи с ними у меня не было. И левые эсеры после заключения Брестского мира ушли с исторической сцены. На работе в Райкоже

Я мечтала об осени, о Ново-Александрійском институте. Материально нам жилось трудно. Чтобы за лето подработать денег, я хотела устроиться на работу. Было это нелегко. Наконец, один знакомый моих родителей, приезжавший из Москвы по организации кожевенного дела, устроил меня на работу в контору курского районного кожевенного комитета. Все курские кожевенные заводы были национализированы и поступили в ведение рабочих кожевенной промышленности. Им же были переданы обувные мастерские и фабрики Курской области.

Возглавлял райком совсем молодой рабочий Мухин. Конечно, он был большевиком, энергичным, но увы!.. малограмотным. Меня наш знакомый устроил на работу в статистический отдел.

Я очень волновалась, боялась, что не справлюсь с работой. Так оно и вышло. В статистическом отделе мне сразу дали счеты, на которых я никогда не считала, и листы бумаги с длинными колонками цифр. В конторе я никого не знала. Усевшись за свой столик, с трепетом подвинула я к себе счеты и принялась за подбивку. Кругом меня двигались люди, трещали машинки, велись разговоры. Я не разгибала спины. Я отказалась от стакана чаю, который принесла уборщица. Несчитанное количество раз пересчитывала я столбцы цифр и каждый раз получала новый итог. Цифры были ясно, четко напечатаны на машинке, но итога столбцам я так и не смогла подвести. В полном отчаянии я вернулась домой после рабочего дня. И назавтра вовсе не хотела идти на работу. Отец и мать уговорили меня.

В конторе меня ждала неожиданность. Мухин взял меня из статистического отдела к себе в кабинет в качестве помощника секретаря.

— Вы будете моим личным секретарем, — сказал он.

В маленьком кабинете директора поставили мне небольшой столик. Напротив за большим столом сидел секретарь Логвинов. Большую часть дня мы были с ним одни. Мухин почти весь день отсутствовал. Логвинов дал мне конторскую книгу приказов и большую пачку листов с приказами, напечатанными на машинке.

— Вы будете вести книгу приказов, — сказал он. Приказов накопилось порядочно. Дня три я просидела над перепиской, потом мне стало нечего делать. Ну, приказ, ну, два приказа я переписывала в день, а рабочих-то часов было восемь! На мой вопрос, что мне делать, Логвинов отвечал:

— Ну, посидите так, мне тоже делать нечего.

— Зачем же вам помощник? — спросила я.

— Таково распоряжение директора, — хитро улыбнулся он. — Да вам-то что, зарплата идет.

Все же видя, что я мучаюсь от ничегонеделания, изредка он подсовывал мне какую-нибудь бумагу для переписывания.

На работе в Райкоже я обнаружила, что не одна я работаю два-три часа в день. У других сотрудников конторы день был только немного более загруженным. (Вероятно, пропущена страница — прим. перепечатающего.)

...вала приказы Мухина о том, что сотрудник, опоздавший больше чем на пять минут, или ушедший с работы раньше времени, подлежит взысканию. О том, что служащие бездельничают большую часть рабочего дня, в приказе не

говорилося ни слова. Так же было в мастерских заводов и фабрик. Люди простаивали из-за отсутствия материалов и нелепой организации труда. Такая работа бесила меня, но скоро я поняла и подоплеку моей работы, возмущившую меня еще больше.

Молодой рабочий, большевик, пролетарий, только что выдвинутый профсоюзом в начальники, повел себя со мной точно так же, как вели себя некоторые директора капиталистических предприятий. В нашем учреждении я поняла это последней. У Мухина была милая, совсем молоденькая жена. Простая работница обувной мастерской. Была у них маленькая дочка. Изредка жена его заходила в наш кабинет, я с ней обычно болтала. Мне она очень нравилась. Простая, милая, но малограмотная женщина. На любезность Мухина я не обратила никакого внимания. Иногда мне казалось, что он хочет меня распропагандировать, потому и рисуется передо мной.

Однажды в кабинет к Мухину явилась жена председателя горисполкома. Мухин забежал, засуетился. «Так большевики принимают жен начальников», — мелькнуло у меня в голове. Из ящика своего стола Мухин достал очень красивую шкурку шевровой кожи. В кабинет был вызван сапожный мастер и тут же в кабинете снял мерку с ее ноги.

— Это лучший сапожник, — рекомендовал Мухин мастера. Мухин задержал мастера:

— Из этой кожи выйдет еще пара туфель. Вы не хотите заказать себе такие же?

Конечно, я захотела. Мастер снял мерку и с моей ноги. Через неделю ее и мои туфли были готовы, Это были не туфли, а мечта. Когда я похвасталась своими туфлями перед сотрудниками Райкожи, выяснилось, что никому из сотрудников кожа не отпускается. Разве по особому ордеру и то простой черный хром. Шевро вовсе не идет на изготовление обуви для населения — на него наложен запрет.

Я начала кое-что подозревать. Мухина не было. Он был в командировке в Москве. До его приезда вопрос оставался открытым. В первый же день по приезде Мухин положил на мой столик маленький пакет: — Это вам из Москвы к новым туфлям.

В пакетике были шелковые чулки, роскошь по тем временам недоступная.

— Сколько я должна заплатить за чулки и туфли? — спросила я с сомнением. Я думала, — хватит ли моего месячного заработка. Получала я тогда триста или четыреста тысяч в месяц.

— Ну что вы! — ответил он. — Для меня это — пустяк. И цены туфлям нет, ведь такое шевро в продажу не идет.

Краска хлынула мне в лицо.

— Так это подарок директора его секретарше?! Кто вам сказал, что я приму от директора такой подарок?! Нет уж, за туфли я вам заплачу.

Чулки я бросила на директорский стол.

Красный, как рак, растерянный, с опущенными глазами, Мухин сказал:

— Я прикажу сделать калькуляцию.

Красная, как кумач, и злая вышла я из кабинета. Я была уверена, что работа моя в Райкоже окончена. Но назавтра, когда я пришла на работу, мой столик оказался только вынесенным в комнату общей канцелярии и поставлен у загородки. Приказом я была переведена в регистратуру. Новой своей работой я была очень довольна, довольна тем, что неожиданно для себя завоевала симпатии служащих. Дома я размахивала перед носом у сестры туфлями и орала:

— Вот ваши пролетарские директора, жены председателей! Взятки, хищения, разврат — все как у капиталистов!

* * *

Неожиданно для всей нашей семьи папе предложили работу агронома при земельном отделе. Ему поручили наладить работу в организуемых совхозах. Нам это предложение показалось невероятным, но папа ухватился за него. От нашего дома до конторы Земотдела было каких-нибудь полкилометра. Первые дни за папой приезжала лошадь, но взобраться на пролетку отцу было труднее, чем пройти пешком. И он стал ходить на своих дощечках на коленках с костылями. Кто-нибудь из нас сопровождал отца.

Очень сведущий агроном, страшно любивший свое дело, отец с увлечением отдался своей новой работе. Скоро выяснилось, что по работе ему необходимы поездки в район. Он не мог руководить работой из канцелярии. Ехать один папа, конечно, не мог. В помощь себе он взял Диму, младшего брата, которому едва исполнилось 12 лет. Он с кучером усаживал и высаживал отца из экипажа, помогал ему в пути. За свою работу отец получил благодарность. Руководимые им совхозы оказались лучшими в Курской области. Но, то ли от злоупотребления врачей при лечении мышьяком, то ли от давления костылей, мышцы рук отца отказали. У него развился полиневрит, и он снова слег. Конец ученью. Тиф

Осенью 1918 года я с товарками поехала в Харьков. Уезжая, мы не были уверены, доберемся ли до Харькова. Поэтому я не

увалилась из Райкожи, а взяла отпуск. Пассажирские не ходили в то время, или на них невозможно было попасть, в общем, мы ехали в простом товарном вагоне на поезде, носившем тогда название «Максим Горький». Шел этот поезд очень медленно, часами стоял на станциях и полустанках. Товарные вагоны были забиты людьми до отказа, люди ехали на площадках, на крышах, на буферах. Ехали солдаты, спекулянты с мешками, дезертиры и мы, студенты.

Такой способ передвижения нас не смущал. Компанией человек в пять или шесть залезли мы в теплушку и устроились на ящиках, мешках, кошелках. Скоро ли, долго ли, мы ехали в Харьков.

С квартирой в Харькове нам на этот раз повезло. Мы сразу нашли комнату на троих, правда, на окраине. Не повезло мне в другом. Очевидно, в вагоне какая-то тифозная вошь тяпнула меня. Не прошло и двух недель, как я заболела. Свалилась со страшной головной болью и высокой температурой. Товарищи привезли сперва Раю, как медика. Она пробовала говорить со мной, читать мне что-то, но я бредила. Товарки перепугались, и Рая кинулась за настоящим врачом. Врач определил сыпной тиф.

Эпидемия тифа, охватившая потом чуть ли не весь Союз, вспыхнула как-то сразу. Форма болезни была очень тяжелая. Квартирная хозяйка требовала немедленного удаления меня из дома. Товарки не хотели везти меня в больницу. Про больницы рассказывали ужасы. Эпидемия вспыхнула так бурно, что к ней не успели подготовиться. Больницы были переполнены.

Как сквозь сон помню я, как на извозчике везли меня в больницу. Подолгу стоял извозчик перед зданиями больниц. Меня не хотели принимать.

— Нет мест, идите в другую, — твердили моим друзьям.

Но они знали уже, что в других больницах — тоже нет мест. В конце концов, сопротивление одной из больниц было сломлено. Под руки провели меня друзья в приемную. Меня остригли, раздели и уже на носилках понесли куда-то по длинному большому коридору. На полу, на тюфяках лежали больные, на пол положили и меня. Не помню, сутки или двое пролежала я в этом коридоре. Потом меня и мою соседку, молоденькую девушку, подняли и отнесли в палату. Нас положили на койки, наша палата была для очень тяжелых больных. Люди все время умирали. В первые дни меня это не тревожило. Я была в бессознательном или полусознательном состоянии. Помню, что мои друзья приходили проводить меня. Сквозь застекленное окно двери я видела их лица, но меня ничто не интересовало. Бесстрастно поворачивала я к ним голову и снова опускала ее на

подушку.

Я не помню, лечили ли нас, принимала ли я какие-нибудь лекарства. Около двух недель лежала я, чужая жизни и самой себе. Потом началось выздоровление, и тогда я почувствовала весь ужас больницы. Вокруг нас сновали санитарки, сестры, врачи. Они появлялись, потом исчезали надолго. Вольных в больницу везли и везли. Заболевал и сам медицинский персонал. К нам в палату положили трех сестер и двух врачей. Особое сочувствие вызывала молоденькая женщина-врач. Всегда она была такой приветливой, такой ласковой с больными. Заболевание у нее было очень тяжелое. Она бредила, вскакивала с койки, порывалась куда-то бежать. Даже ей, врачу, не могли создать в больнице хороших условий. Когда она металась в бреду, никто не подходил к ней. Самое страшное в этой палате наступило для меня тогда, когда вторая моя соседка по койке стала умирать. То была крупная, немолодая еврейская женщина. Она металась на своей постели, отделенной от меня узким проходом, в котором стояла наша общая тумбочка. К дверям палаты ежедневно подходил ее муж, он приносил ей передачи, но она ничем не была довольна. Всегда ей хотелось чего-то другого. Есть она не могла и санитарка каждый день отдавала мужу вчерашнюю передачу. Меня она приняла за свою соплеменницу и пыталась говорить со мной по-еврейски. Она проклинала меня за то, что я отказываюсь говорить с ней на ее родном языке. Умирала она тяжело, к ней одной в нашей палате применяли лечение. Ее заворачивали всю, с ног до головы, в мокрые простыни. Это не помогало. Три дня билась она в предсмертных судорогах. В нашей палате, на койке рядом со мной, она и умерла. Так случилось, что в день ее смерти я увидела за стеклом лицо моей матери. Радость и страх охватили меня. Мама здесь, маму вызвали из Курска, мама проделала ту же трудную дорогу до Харькова. Она оставила папу и семью. Мама здесь... Я уткнулась в подушку и плакала.

Мама решила взять меня из больницы как можно скорее. Условия больницы ей показались страшными. Она нашла в Харькове комнату, где хозяева решились принять меня. Сперва врач ни за что не соглашался выписать меня. Выйти из больницы оказалось так же трудно, как попасть в нее. Но мама все же настояла на своем. Я была очень слаба, друзья рвались проводить меня, но мама никого не пускала. Мы с мамой мечтали о скорейшем возвращении в Курск. Но через несколько дней температура у меня снова полезла вверх. Приглашенный матерью врач сказал:

— Один случай на тысячу... повторный сыпной тиф.

В больницу меня не отвозили. Дома я переболела, дома я и поправилась. Мама спешила домой, но оставить меня одну в Харькове она не решалась и ждала, пока я смогу ехать. С огромным трудом преодолела я дорогу до Курска. Поезд то шел, то останавливался. Дорогу пересекал какой-то фронт. На одной из станций нам предложили выйти, пройти некоторое расстояние пешком и пересест в другой поезд. Мест в вагонах не было. Мы едва протиснулись на какую-то вагонную площадку. Мама беспокоилась за меня, ослабевшую после болезни, я боялась за маму, уже старенькую и слабую. Уезжая из Харькова, я чувствовала, что учению моему пришел конец. Так оно и случилось.

Непомерно тяжелая зима 1918–1919 годов еще как-то щадила Курск. К нам везли голодающих детей с Поволжья, к нам ехали мешочники из Москвы и Петрограда. Курск не был хлебным и сытным краем, и у нас выдавали по карточкам хлеб из необрушенной гречневой муки, рот от этого хлеба оказывался полным лузги, или просяной, горький и рассыпавшийся во рту, как опилки, или овсяный с осотьями. Но мы не ели картофельные очистки, как ели в ту пору москвичи.

Сыпной тиф свирепствовал в Курске. Теснота, голод, грязь, отсутствие мыла — все это сказывалось на развитии эпидемии. В больницах, в больничных бараках не хватало мест. Люди болели дома. Медицинских работников тоже не хватало. Часто болезнь сваливала целые семьи. Оправившись немного сама, я стала проводить время у изголовья больных, мне ведь уже не грозила опасность заразиться. То я сидела возле больных товарищей, то у совсем чужих людей, оказавшихся в безвыходном положении, когда впалку лежали все обитатели дома. Лечение, собственно, не шло ни в больнице, ни на дому. Лекарств не было, все сводилось к уходу. Смерть косила людей. Тяжелее других мы пережили смерть совсем юного 18-летнего мальчика Чайкина. Особенно потому, что считали до некоторой степени себя виновными в этой смерти. Чайкин-старший, Чайкин-отец был одним из виднейших левых социал-революционеров Курска. Не помню, то ли он скрывался, то ли был арестован, говорили, что ему грозит смертная казнь. Сын его пошел по стопам отца.

Это был очень талантливый и очень убежденный мальчик. Вокруг него группировалась целая группа школьников. Вслед за отцом и он скрывался. Молодежь, его товарищи, девочки и мальчики, ни словом не проговорились перед нами о том, где Чайкин и что с Чайкиным, пока он не свалился в тифу. И тогда они не открыли нам его место пребывания. И только, когда его положение стало угрожающим, они привезли его в дом к моей

товарке, младший брат которой был его другом. Но и тогда они поставили условие — сохранение полной тайны. Они уверяли, что Чайкину грозит арест. Мы дали слово юнцам не вызывать врача. Но когда мы увидели Чайкина, мы пришли в ужас. Тиф он уже перенес, но, валяясь Бог знает где, в каком-то шалаше под городом, без нормального ухода и питания, он был истощен до предела. Все тело его было покрыто пролежнями. Долго спорили мы с ним и с его друзьями, настаивая на приглашении врача. Мы нашли врача, которому можно было доверить нашего больного. Врач признал положение почти безнадежным и требовал больничного режима. С большим трудом мы уговорили этих полудетей положить Чайкина в больницу под чужой фамилией. Они твердили о том, что Чайкину грозит арест, допросы, пытки. Про зверские расправы в ЧК ходили жуткие слухи. В больнице Чайкин умер, хоронили его под чужой фамилией. Мы упрекали детей, упрекали себя, но понимали, что виной всему были те репрессии, то беззаконие, которое творилось вокруг. Мы не знали, справедливы ли слухи о застенках в ЧК, но они ползли упорно. Разруха и репрессии

Я снова работала в Райкоже и с молчаливым возмущением смотрела на жизнь вокруг себя. Вместо светлого мира равенства и свободы я видела мир насилия и ожесточенной борьбы. Люди, недавно смело высказывавшие свои надежды и мысли, замыкались в себе. Материальное положение не улучшалось, а приходило все в больший упадок. У меня еще до сих пор хранится открыточка, изданная ВЦК помощи голодающим. Стоила она 1250 рублей. Несправедливость одних сменилась несправедливостью других. На усмирение крестьянских движений власть двинула полки китайских и латышских отрядов, о зверствах которых ходили страшные рассказы. Кому верить? Чему верить?

Брюзжание и шепотки обывателей были мне отвратительны, свободной, вольной критики не существовало, даже газета «Новая жизнь», издаваемая Горьким, была закрыта. Кроме тенденциозной коммунистической прессы никакой информации не было. О жизни России мы ничего не знали. Россия была разобщена фронтами, транспортной разрухой. Шли слухи о Ярославском восстании, о мятеже в Кронштадте, о борьбе чехословаков в Поволжье, о Колчаке в Сибири, о бесконечных анархистских бандах. Коммунистической информации я не верила, слухам — тоже. В Германии произошла революция, но надежды большевиков не оправдались. Революция в Германии оказалась мелкобуржуазной. Мы по-прежнему оставались в изоляции. Кольцо Антанты смыкалось вокруг России, внутри ее раздирали противоречия.

В крестьянском вопросе как будто бы наступили некоторые облегчения. Продналог был заменен продразверсткой, но вера крестьян в большевиков была поколеблена. Революционный пыл крестьянства был убит. Росли хозяйственно-экономические настроения, село стало наживаться за счет города.

И внутри коммунистической партии не стало былого монолитного единства. Ставка на мировую революцию потерпела крушение. Ведь именно марксисты утверждали, что социализм победит в наиболее передовых капиталистических странах.

Слухи о наступлении Колчака и Юденича сменились слухами о наступлении генерала Деникина. Эти были упорнее, настойчивей, очевидней. Армия Деникина двигалась на нас и двигалась с поразительной быстротой.

В коммунистической информации говорилось о зверствах белых, о связи их с иностранной интервенцией, о толпах помещиков и фабрикантов, сопровождающих деникинскую армию, о возвращении земель и фабрик капиталистам, о зверствах, порках, виселицах, еврейских погромах. Этому я могла верить, но рядом с этим говорилось, что эсеры и с. — д. поддерживают генерала Деникина, армию, состоявшую из белогвардейцев и старых царских генералов. Этому я не могла никогда и ни за что поверить.

Не могли ни эсеры, ни с. — д. идти вместе с царскими генералами.

Дома у нас приближение деникинской армии осложнялось тем, что сестра моя была коммунисткой. Что деникинцы убивают коммунистов, преследуют их семьи, мы верили. Конечно, в случае занятия Курска сестре грозит арест и, может быть, виселица, кто знает... Упорные слухи о еврейских погромах, чинимых приближающейся белой армией, грозили семьям моих ближайших подруг — Раи и Шуры. Ни я, ни мои друзья не могли ждать прихода Деникина, ждать прихода белых, но возмущение коммунистами росло. Чем ближе подходили отряды генерала Деникина, тем ужаснее становились репрессии. Обыски, аресты просто терроризировали город. Порой казалось, что это делается нарочно. В одну из последних ночей в Курске было арестовано 24 человека, представителей курской буржуазии. Их арестовали без предъявления каких-либо обвинений, их арестовали как заложников. В числе 24-х был арестован и Коротков, тот самый, который, будучи городским головой, помог нам в организации студенческого вечера. Всех арестованных вывезли из Курска в Орел. В Орле все 24 были расстреляны.

Институт заложничества — чем-то варварским веяло на меня от самих этих слов. В те годы очень часто проводились аналогии

между нашей революцией и революцией французской. Великая Французская революция знала институт заложничества. Сначала я не хотела этому верить, я перерыла ряд книг и нашла, что это ужасная, жестокая правда. Но это меня ни в чем не убедило, — тем хуже для Французской революции.

Незадолго до прихода к нам белых, ночью в наше парадное застучали. Я открыла дверь, у порога стояли чекисты. Войдя, они предъявили ордер на обыск в квартире Олицких и на арест Дмитрия и Анны. Мы все были поражены. Мать потрясена. Аня никогда не интересовалась политикой. Теперь она работала в детском доме, была очень увлечена своей работой, дружила с заведующей-коммунисткой и, пожалуй, сочувственно относилась к большевикам. Диме было всего 12 лет. При обыске в нашей квартире, конечно, ничего не нашли, но Аню и Диму увели. Мама была в отчаянии, она металась по квартире до утра. Папа и я старались ее успокоить. Говорили о недоразумении, о какой-то ошибке.

— Ну, хотя бы меня арестовали, — твердила я, — а то вдруг Аню.

Дутя была угрюма, каково ей было смотреть на нас. Мама всячески сдерживалась, хотела казаться спокойной, но сдержатъ сердце она не могла. При врожденном пороке сердца впервые нарушалась компенсация, мама задыхалась. Наутро выяснилось, что за ночь были произведены обыски во многих домах и арестованы, среди прочих, 30 человек учащихся средней школы, Диминых товарищей и товаров, а вместе с ними почему-то и наша Аня. Свидания с детьми матерям, обивавшим пороги ЧК, не дали; их успокоило немного то, что дети не были отправлены в тюрьму. Они содержались все вместе в одной из комнат здания ЧК. К вечеру того же дня Аня и Дима вернулись домой. Димочка чувствовал себя героем — как же, он был под арестом! Аня смеялась. Дело оказалось просто. При обыске квартиры одного из старшекласников был найден список фамилий, среди них стояла и фамилия умершего уже Чайкина. Всех, чьи фамилии были в списке, арестовали. При разборе дела выяснилось, что список был составлен учащимися, бравшими в складчину билеты в театр. Аня, как страстная театралка, вошла в складчину с ребятами.

Насколько было терроризировано население, показывает такой случай. Как-то вечером я шла с ведрами за водой, водопроводы в городе не работали. Артезианский колодец был расположен под горой, в конце нашей улицы, там, где начинались пустыри. Прохожих на улице не было. Подходя к колодцу, я увидела одну девушку. Закутанная в платок тихо-тихо шла она, беспрерывно оглядываясь. Набрав воды, я хотела уже повернуть

обратно, но невольно задержалась, глядя на девушку. С ней явно творилось что-то неладное. То ля она шла, то ли топталась на месте. Я подошла к ней, чтобы выяснить, что случилось, не могла ли я помочь. Девушка молчала, глядя в землю. Потом неожиданно всунула мне в руки выдернутый из-под платка чудесный финский ножик. Костяная ручка ножа была из оленьего рога.

— Бросьте его куда-нибудь. За хранение оружия — расстрел. Я боюсь! — прошептала она.

— Да разве это оружие? — удивилась я, но девушка уже бежала прочь.

Чудесный нож остался у меня в руке. Я опустила его в ведро с водой и принесла домой. Совершенно открыто лежал он много лет подряд на моем письменном столе, как красивая безделушка, как нож для разрезания книг. Деникинцы в Курске

К защите от Деникина Курск готовился упорно. Под Курском должны были состояться решающие бои. С наступлением темноты населению было запрещено выходить на улицу. В самые последние часы выяснилось, что в центре обороны была измена: все пушки были выведены из строя. Город попал в окружение. Стремительно отходили войска, бежали большевики. А население города ничего не знало. В 3 часа дня у нашего парадного остановилась пролетка. С нее сошла заведующая детдомом, открытом в бывшем дворянском собрании. С помощью мужа, ехавшего с ней, она сняла с пролетки три больших плетеных корзины. Она просила маму сохранить эти корзины, пока за ними придут, но не сказала, что хранится в этих корзинах, не сказала, что большевики покидают город, без боя отдавая его белым.

Сестра вторую ночь не ночевала дома, она была зачислена в боевую дружину по охране города. Вечером мы с Аней были приглашены на свадьбу к подруге. Все было скромно, просто и весело. Так как ночью выходить на улицу было запрещено, мы праздновали свадьбу до рассвета. Утром мы шумной ватагой вышли из дома молодых. Домик их стоял на окраине города, улицы были пусты и тихи. В этой тишине четко и резко раздалось цоканье копыт. Из переулка вывернул разъезд верховых и помчался к центру. Деникинский разъезд. На плечах всадников на серых офицерских шинелях сверкали давно не виденные нами офицерские погоны. Торжественным маршем входили войска генерала Деникина в Курск. Они знали, что боя не будет, в Курске их ждали свои. За войсками двигались обозы с продовольствием — белый хлеб, мука, сахар. Все эти блага белая армия раздавала населению.

В городе было тревожно. Тревога была и в нашем доме. Мы

пережили большевиков, мы знали, что несли они с собой. Что несут с собой деникинские войска, — никто не знал. Армия проходила через город, минуя город, занимая прежде всего вокзал, линию железной дороги. Семья подруги, мать и дети, опасаясь еврейских погромов, при первых слухах о занятии города белыми перебрались к нам. Дома у них остался один отец. Лучший врач-гинеколог Курска, беспартийный, либерально настроенный человек. Жена его принадлежала к самому левому крылу с.-д. Многие считали ее даже большевичкой. Но к партии большевиков она никогда не принадлежала. С политической точки зрения наш дом был из-за сестры-коммунистки менее надежен, но страх еврейского погрома привел их к нам.

Внешне в городе было спокойно. Гражданская власть белыми еще не была сформирована. Агитация сопровождала белую армию. С подвод раздавались населению давно невиданные продукты, разбрасывались по городу советские тысячерублевки, пробитые штампом, изображавшим кукиш. Служащие устремились в учреждения, начальствующего состава не было, он скрылся. Что будет с предприятиями, никто не знал. Служащие Райкожи решили сохранить все имущество конторы. Боясь разгрома, они пришли к решению, по которому сотрудники должны были взять домой все оборудование — кто машинку, кто бумаги. Мне досталось хранить арифмометр. Мы обязались сохранить все до нормальных условий жизни. Город затих в ожидании. На стенах появились широковещательные объявления новых хозяев. Все читали их с затаенным сомнением. Люди недоверчиво смотрели на все посулы.

Мирную жизнь нашей семьи нарушили два события. Кто-то сказал моей матери, что Дутю ви- й направить меня на другую работу.

— Таврический дворец просит помочь людьми, — сказали мне там, берите пропуск и идите в распоряжение комендатуры Таврического дворца.

Петроград жил тревожной, как котел кипящей жизнью. Одним из мест сосредоточения чаяний, надежд, требований и демонстраций был Таврический дворец. Возбужденные и радостные шли мы с Олей по улицам Петрограда. Я не удосужилась побывать еще на Таврической площади. Думы последних созывов нас мало привлекали, но теперь мы проникли в его исторические залы. Площадь была полна народа. У самого входа с грузовика, как было тогда принято, оратор произносил речь. Мы с Олей, совершенно зачехившись в столовой над манными кашами, слушали его, затаив дыхание. Одного оратора сменял другой. В другом углу площади, с другого грузовика, держал речь

еще кто-то. Протиснувшись через толпу, мы по выданным нам пропускам прошли к коменданту Таврического дворца. Меня он усадил за столик у дверей, ведущих в кабинет Керенского. Я должна была проверять пропуска, что

4. ВРЕМЯ НЭПА

Чтобы вывести страну из тупика, коммунистической партии пришлось отказаться от прежней политики. «Военный коммунизм» уступил место «НЭПу». Пришлось допустить частника, пришлось допустить концессии иностранного капитала. Оказалось возможным договариваться со своей и международной буржуазией. Но пойти на компромисс со своим и западно-социалистическим движением и договориться с ним коммунисты не могли. Идейная нетерпимость росла и крепла.

Нарастающие разногласия внутри самой коммунистической партии душили страну. От свободы человеческой мысли не осталось и следа. Я задыхалась в Курске. В его обывательской, затхлой атмосфере вся изнанка жизни выпирала и лезла в глаза, мешала жить. Все лучшие люди покидали Курск. А те, кто оставался, молчали и раболепствовали. Мне казалось, что в больших центрах еще идет живая жизнь. Может быть, так плоско, так уродливо, так вульгарно преломляется жизнь только у нас в провинции.

Трудно писать о глухом времени. Когда мы подрастали, мы сталкивались с противоречивыми мнениями, кипели страсти. Нарастали новые веяния во всем — в философии, социологии, идеологии. Издавалось бесконечное количество журналов, газет, книг различных направлений. Сейчас ничего этого не было. Марксизм, материализм... да и то в одной интерпретации Ленина, а нравственность и мораль объявлялись пережитками капиталистического общества, надстройкой над производственными отношениями.

Мне хотелось увидеть хотя бы настоящих, идейных большевиков, людей новой морали. Ведь были же такие! Переезд а Москву

Весной 1922 года Дима окончил рабфак при Курском пединституте. Институты в это время открывались повсюду. Курский институт был ужасным или показался он мне таким после петербургского университета. Где было взять преподавателей для вуза в Курске! Профессорами были назначены люди, сами не получившие высшего образования. Интересы ради я пошла послушать лекцию. Я попала на лекцию по зоологии. Читал ее толстый и розовощекий ветеринарный врач. Лекция шла о ракообразных. Впрочем, всей темы лектор коснулся вскользь. Он детально остановился на всем известном, как он выразился, речном раке. Последнего он смаковал и в вареном виде и в виде ракового супа. Он объяснял слушателям,

что самая вкусная часть рака, именуемая «раковой шейкой», вовсе не шейка, которой у рака нет, а хвост и что клешни — хватательные инструменты — при высасывании тоже отличаются приятным вкусом. В общем, мне показалось, что я сижу на лекции по кулинарии. Бумажку, свидетельствующую об окончании, вуз мог дать, — но только не знания.

И я, и Дима стали убеждать папу переехать в Москву, где Дима смог бы поступить в университет. Папа колебался. Конечно, ему хотелось дать Диме возможность получить образование. Дима мечтал о вузе. Окончание рабфака давало ему возможность поступить в вуз. Папа, Дима и я жили очень дружно, и переезд к сестре страшил нас. Но Дутя обещала нам помочь в нахождении своей, отдельной квартиры. Обещала она мне помочь устроиться на работу — это было в те годы нелегко. На первых порах мы должны были все же жить у нее. Папу это особенно тяготило. Отец и Дутя, очень сходные характерами, всегда плохо уживались. Отец боялся зависимого положения. Мы же с братом верили в свои силы, верили, что сумеем устроиться независимо. Отец поступился всем во имя Диминой учебы, и переезд был решен.

Сперва должны были ехать отец с братом. Я задержалась для окончательной ликвидации квартиры и отправки вещей. Переезд для отца был очень тяжел. С минимумом багажа проводила я их на вокзал, усадила в вагон. В Москве их должна была встретить сестра. Я же стала стремительно ликвидировать курское жилье. Мне не было жаль ни Курска, ни нашей квартиры. Не задумываясь о ценах, распродала я все, что можно было продать, раздавала остающееся друзьям. Жаль мне было только картины и книги. Картины все были написаны отцом в долгие зимние деревенские вечера. Мама украшала ими нашу квартиру. Все это были пейзажи — копии с картин Левитана, Шишкина, но были и зарисовки с натуры — виды нашего Сорочина и его окрестностей. Особенно дорога мне была последняя написанная отцом картина. У нас дома она называлась «Революция». Изображен на ней был восход солнца. Небо в разорванных клочьях туч, пылающее от первых лучей восходящего солнца. Тревожно горит небо, и красные отблески ложатся на мятущиеся, гнущиеся от ветра деревья и кустарники, на всклоченную траву. Несколько картин, в том числе и эту, я взяла с собой.

Книг у нас было очень много. Накапливались они десятилетиями. Всевозможные журналы, полные собрания сочинений классиков. Все лучшее, что было в русской литературе, имелось в нашей библиотеке. Книги представляли огромную ценность сами по себе, не говоря уже о том, что в наши дни их

нельзя было достать ни за какие деньги. Они не переиздавались и частично были изъяты из библиотек. Два больших сундука набилась книгами. Перевезти книги завещали мне, уезжая, отец и брат.

Последняя вечерка с друзьями. С цветами и пожеланиями проводили меня друзья на вокзал, не много их осталось в Курске, жизнь всех раскидала по свету.

В Москве на вокзале меня встретил Дима. Веселый, радостный, он показался мне как бы выросшим, в первом штатском костюме, подаренном ему сестрой. Тысячей новостей, рассказов засыпал он меня. Каждая оканчивалась фразой — «Сама увидишь!» Все это были обрывки его впечатлений от новой жизни. Больше других сообщений меня обрадовало то, что у сестры живет тетя Аня с сыном.

В Москве с квартирами было очень трудно, нам сестрой была выделена изолированная комната с отдельным ходом, с окнами, выходящими на застекленную веранду. Сестра моя заведовала научной частью Московского зоологического сада. Муж ее, Степан Васильевич, заведовал его хозяйственной частью. Их казенная квартира находилась в самом центре зоосада, в чудесном домике рядом с конторой. Состояла она из трех комнат с верандой. В коридоре, светлом и широком, помещалась наша общая столовая. Дверь из нее вела в отданную нам комнату, вторая наша дверь выходила на террасу. Лучших условий для отца нельзя было представить. Прикованный к креслу, он летом целые дни проводил на террасе.

Все ждали меня, все радостно встречали меня. Папе меня очень не хватало. Дутя просила:

— Катя, не спеши с устройством на работу, помоги мне. Ведь семья у нас теперь большая, ты нужна отцу, будешь помогать по хозяйству. Я сейчас очень занята и жду ребенка.

Тетя Аня говорила:

— Катюша, я помогала Дуте, пока не было тебя, теперь я с сыном буду столоваться отдельно, ты должна взять на себя хозяйственные заботы.

Пьерик и Дима тащили меня к озеру — смотреть зверей.

Очень приветливо встретил меня муж сестры. Был он рабочим-печатником. В Курске при первом знакомстве он возбудил во мне интерес. Это был первый, очень одаренный и развитой рабочий, с которым мне пришлось близко познакомиться. Урывками, еще там, мне пришлось с ним спорить на политические темы. Большевиком он был страстным и жил революцией. Теперь мы зажили под одной крышей. Мне показалось, что Степан Васильевич хочет переубедить меня, оторвать от моих социалистических настроений, привести к

признанию правоты коммунистов.

Идеи!.. Конечно, я ничего не могла возразить против прекрасных идей, проповедуемых коммунистами. Но претворение их в жизнь!.. Жизнь, живая жизнь сегодняшнего дня разубеждала меня на каждом шагу. Разубеждал и Степан Васильевич своим поведением, своими моральными установками. Власть многим вскружила голову. Вскружила она ее и Степану. Желая продемонстрировать мне, что власть теперь принадлежит рабочим, он в первый же день, слегка подвыпивший, вместе со своим приятелем, тоже коммунистом, занимавшим крупный хозяйственный пост, повез меня на казенной машине осматривать Москву. Машин тогда было очень мало. Бензина не хватало. Мне казалось неудобным разъезжать на начальнической машине прогулки ради. Но отказаться я не сумела. Мне неловко было отвергнуть явную любезность. Результат этой поездки был невероятный и страстно желаемый мной. Процесс 1922 года над эсерами

В Москве 1922 года шел процесс над эсерами. Все газеты были полны сообщений — обвиняли эсеров во всех смертных грехах, обливали всеми помоями, какие только могли измыслить. Вандервельде, приехавшего, чтобы защищать обвиняемых, встретили такими демонстрациями протеста, что он уехал, отказавшись от защиты. Я конечно, не верила ни одному газетному слову. Для меня было достаточно таких имен, как Гоц и Веденяпин, окруженных ореолом борьбы с царизмом за дело народа, чтобы благоговеть перед подсудимыми.

Процесс над эсерами шел в Колонном зале. Процесс был открытый, но публика пропускалась только по билетам, распространяемым профсоюзами. Достать билет не было никакой возможности. И что же... мои спутники, агитируя меня, обещали достать билет на одно из заседаний суда. Они были уверены, что судебное заседание убедит меня в виновности подсудимых. Я не знала последних в лицо. Делились они на две группы. Одна защищалась, другая, перейдя на сторону судей, давала обвиняющие подсудимых показания. Я знала, что на скамье подсудимых сидят почти все члены ЦК с.-р. Возглавлял суд Пятаков. Я не слышала речей, но я видела, что подсудимым не давали возможности говорить, защищать себя. Держали они себя достойно и уверенно. Грозила им смертная казнь. Это знали все. Знала и я. Что речи их смелы, правдивы и искренни, в это я верила, и им не давали говорить, потому что боялись их смелых и правдивых слов. Я ненавидела судей, отвратительным казалось мне худое, с острой бородкой лицо председателя суда. Его рука, звонящая колокольчиком, рука, не дающая говорить к смерти

присуждаемым людям. Торжествующе взглянул на меня Степан Васильевич, когда я вернулась домой. Только о моем преклонении перед подсудимыми, перед их мужеством и смелостью говорила я. Конечно, билета на следующее заседание я не получила.

Подсудимые были приговорены к смертной казни. Москва ликовала. Тысячные митинги одобряли приговор суда, поносили людей, отдающих жизнь за убеждения. Правительство заменило смертную казнь десятью годами тюремного заключения. Погибли они потом. Хищники и прихлебатели

НЭП процветал. Появилась новая категория людей — нэпманы. Они оказались необходимыми для подъема экономической жизни страны. Процветали магазины, в которых все можно было купить за золото, за денежную валюту, проводилась денежная реформа. На фоне развивающейся жизни ошеломляла ужасающая безработица.

Степан Васильевич, как хозяйственник, должен был вращаться среди нэпманов, чтобы добывать товары для снабжения зоосада. С ними он пил, с ними, во имя уловления их нечистых сделок, развратничал. Раз в семь лет ложился он в больницу с циклическим психическим заболеванием. Сестра, горячо любившая его, страдала в личной жизни, неся последствия жизни общественной. Положение и впрямь было ужасным. По хозяйственной линии Степан Васильевич должен был вести дела с нэпманами, по заданию ЧК выявлять их неблагоприятные сделки. Лицо и изнанка жизни. Роскошь и нужда. Сменились, может быть, персонажи, сущность была старая, давно знакомая — хищники, спекулятивные сделки, грабежи, скрытые и откровенные до наглости. Недаром расшифровывалось название «Высший совет народного хозяйства» — ВСНХ — «Воруй Смело Нет Хозяина». Реквизированные при обысках вещи нередко прилипали к рукам реквизиторов. Из уст в уста передавался анекдот о том, как инкогнито едущий представитель Советского Союза был сразу опознан в Англии, так как на трости его была монограмма «ЕД», на портсигаре «СК», на золотых часах «КБ». Нелегко было слушать такие анекдоты, потому что они не были анекдотичны.

А рядом с нэпом жила проституция. По Москве распевалась песенка:

Прямо в окно от фонарика
Падают света пучки.
Жду я свою комиссарику
Из спецотдела Чеки.

Вышел на обыск он ночью
К очень богатым людям.
Пара миллиончиков нонче
Верно отчислится нам.

Все спекулянты окрестные
Очень ко мне хороши,
Носят подарочки лестные,
Просят принять от души.

Пишут записочки «Милая,
Что-то не сплю по ночам,
Мне Рабинович фамилия,
Нет ли ордера там».

Не для меня трудовинности,
Мне ли работать... Пардон...
Тот, кто лишает невинности,
Тот содержать и должен.

Степан Васильевич и другие хозяйственники вынуждены были вести дела с нэпманами. Спекулятивные, далеко идущие сделки приводили при разоблачении их к высшим инстанциям государства. И тогда... тогда дела закладывались под сукно.

Через подругу я много слышала о жизни поэтов и писателей, о препровождении ими времени в кабачках «литераторов». Вслед за ними подруга увлекалась их жизнью и ходила с раскрашенными ногтями на руках и ногах. Уход за телом. О крашенных волосах, бровях, губах и говорить нечего. Кажется, я одна не понимала, почему социально мыслящие люди, поклонники и последователи коммунистического движения идут в модах на выучку западноевропейской буржуазии. Я не подтасовываю факты, так виделась мне Москва.

В эту пору Анка Большая, узнав о нашем приезде, зашла к нам. Я сразу ее узнала и потянулась к ней. Она не была так свежа и хороша, как в пору моего детства, но была все еще в расцвете женских чар и прелести. Она была подкрашена как большинство московских женщин, одета элегантно и изящно. Она была непринужденно весела, мила со мной, с отцом и с Димой. Без конца рассказывала она о своем муже. Нет, это был не герой ее юности! Он был человек хорошего происхождения, бывший барон Менгенштеерна, а сейчас занимал важную, ответственную должность. У них сын, годовалый очаровательный мальчик.

Недалеко от нас, на Поварской, маленькая, но очаровательная квартирка, и няня у мальчика очень удачная. Анка сама не работает, но одна справиться с сыном и домом не может.

Анка расспрашивала нас обо всем. Она очень просила нас с Димой зайти к ней в гости. Она обещала поговорить со своим мужем о моем устройстве на работу. Может быть, с приисканием квартиры она тоже может помочь.

Дути во время Анкиного посещения дома не было. Вернувшись и узнав о посещении, она иронически улыбнулась. Да, Анка жена какого-то крупного чиновника, живут они богато. Муж ее бывший эсер, давший письмо с отказом от партии.

Первым моим желанием было забыть поскорее об Анке, ни в коем случае не просить ни о чем ее мужа, не видеть его. Дима был согласен со мной, но папа возражал.

— Она ваша двоюродная сестра, она разыскала нас не потому, что мы ей нужны. Вам надо пойти и присмотреться к ней, к ее жизни. Может быть, не все так, как говорит Дутя. Вы даже можете объяснить, почему не находите нужным бывать у них. Мы согласились с папой. Мы пошли к Анке, выбрав такие часы, когда муж ее должен был быть на работе. Анку мы застали одну. Очаровательная женщина в изящном халатике встретила нас в комнате — бонбоньерке. Кроме Анки, в комнате была няня ее прелестного сына, кокетливая, с нарядной белой наколкой на голове, в кружевном накрахмаленном передничке. Дитя спало в кровати под кисейным пологом. Анка радостно встретила нас. Она говорила обо всем, больше всего о своем сыне. О чем мы с Димой могли говорить с ней, да еще в присутствии няни. Вскоре явился и муж Анки, самый обычный и самый типичный представитель буржуазии и аристократии. Воспитанный, предупредительный... Все было понятно нам в этом мире. И изящно сервированный стол, и вкусная закуска, и тонкое вино в хрустальных бокальчиках. Непонятным осталось, почему и зачем вступил когда-то Анкин муж в социалистическую партию, Что общего мог он иметь с социалистическим движением? Да и Анка Большая не подходила в жены революционеру. Нам было понятно, что он отказался от партии эсеров. Зачем ему было быть в стане гонимых? С иронией думали мы о ценном приобретении коммунистов. На Пречистенских курсах

Осенью Дима был принят в институт. Я жила впустую, найти работу мне не удавалось. Безработица была очень велика. На бирже труда толпились массы людей. Случайно я узнала, что на Пречистенских Курсах открывается филиал Сельскохозяйственного института и туда принимают без командировок от рабочих и советских организаций. Я подала

заявление, запросила свои документы из Харькова, а пока приложила свою зачетную книжку. Было мне уже 23 года. Институт организовался заново, открывался всего один курс. И все же я была счастлива, попав опять хотя бы на I курс. Уйти в учебу, войти опять в студенческую среду...

Высшая школа за эти годы изменилась. Студенческий состав был другой, изменилась и профессура. Многие профессора были удалены. Программы были насыщены политэкономическими науками. Как отдельная дисциплина вводился исторический материализм. Советская Конституция заменила учение о праве и государстве, политэкономия сводилась к изучению «Капитала» Маркса. Изменились и учебные пособия. Штудировались «Азбука коммунизма» Бухарина, «Государство и революция» Ленина. Жизнь вуза заправляла партийная организация профессоров, коммунистическая организация студентов.

Институт, в котором училась я, был еще каким-то исключением из общего правила. Открыт он был по инициативе профессоров Пречистенского института, существовавшего еще в царские времена. Тогда он считался одним из либеральных институтов России. Теперь наш вновь открытый сельскохозяйственный факультет как-то выпал из сферы коммунистического влияния. Среди профессуры и студентов коммунистов почти не было. Студенческая ячейка нашего факультета насчитывала всего семь человек, да и те не отличались активностью. Остальное студенчество вовсе не интересовалось общественной жизнью. Профессора у нас были очень хорошие, особенно Егоров, читавший историю.

Студенчество старательно штудировало указанные пособия, не внося никаких общественных мыслей, не затрагивая острых вопросов.

Помню три реферата, прочитанных у нас на курсе. Один из них принадлежал мне. Темы точно я не помню, что-то из истории развития арабского мира. Но помню, что я с увлечением готовилась к своему реферату. Тема была разбита на две части между мной и еще одним студентом. Мне досталась первая часть — истоки развития арабского мира. Часами работала я в Румянцевской библиотеке, собирая материал. Больше всего стимулировало меня в моей работе над рефератом желание утвердить равное значение влияния различных факторов на историю развития народов: географического, экономического, религиозного, политического.

Когда я прочитала свой реферат перед студентами, наступила тишина. Неоднократно предлагал профессор аудитории выступить по реферату, никто не произнес ни слова. Тогда

профессор предложил заслушать вторую часть реферата. По ней открылись прения. В ней все было на месте. Диалектический ход развития общественной жизни... развитием производительных сил объясняются все этапы развития страны... На материальном базисе вырастали надстройки... Все было подтверждено цитатами из Маркса, Ленина. Прения по докладу развернулись уверенно, хотя слушался он с меньшим интересом, чем мой.

После доклада профессор задержал меня. — С литературной стороны ваш реферат написан хорошо, и видно, что вы проработали большой материал, но вы, наверно, сами понимаете, что это не то, что нужно. Вы видите, никто из студентов не захотел выступить по вашему реферату. Нас интересует стержень экономического развития, развития производительных сил, а вы утопили его в общем ходе развития. Реферат ваш я принимаю, заострять на нем внимание не буду, но посоветую вам впредь не писать таких рефератов. Они не подходят для нашей высшей школы. Читал ваш реферат не я один, его слушал целый курс, и как к нему, а следовательно, к вам, отнесутся, мне трудно судить. Помимо всего я бы советовал вам идти на литературный факультет. Стилистически ваш реферат написан очень хорошо.

От того, как разнес мой доклад профессор, я была на седьмом небе от счастья. В течение последующих дней мне пришлось выслушать аналогичные мнения товарищей по курсу. Одна милая курсистка по секрету сообщила мне:

— Ваш доклад обсуждался на ячейке, нас призвали к бдительности, вас взяли на заметку.

Второй реферат не созвучный эпохе был прочитан студентом нашего курса на занятиях по экономической географии, третий — на занятиях по политэкономии.

Профессора морщились, но рефераты пропускали, и никто организационных выводов, казалось, не делал. Многие профессора наши не были строго выдержанными марксистами. Это, очевидно, и решило судьбу наших курсов.

Всего один учебный сезон просуществовали они. Перед началом весенних экзаменов нам было объявлено о закрытии института. Так был расформирован не только наш институт. С высшей школой велась борьба упорная и систематическая. Школа должна была стать послушным рупором советской власти.

Судьбы студентов закрываемых учебных заведений решались совершенно неожиданно. Студенты распределялись по другим вузам соответственно количеству свободных мест. Одни направлялись на медицинский, другие на юридический, третьи на строительный. В шутку студенты говорили о том, что кого-то перевели на 2-й курс консерватории. Меня направили на 2-й курс

промышленно-экономического института имени Бабушкина. Программы институтов не совпадали. Целый ряд предметов оказался у меня не проработанным, как, например, наука о финансах. За нее я и взялась в первую очередь. Два толстых тома профессора Озерова лежали передо мной. Без всякой охоты взялась я за них и, к удивлению своему, увлеклась. Но учиться в этом институте мне не хотелось. Он был сформирован из прежнего торгового училища. Он должен был готовить товароведов. Меня эта специальность не влекла, но выбора не было. Одновременно со мной с нашего курса было переведено еще несколько человек.

Большинство слушателей курса состояло из сельских жителей, и их влекла агрономия. Вместе мы роптали на решение наших судеб.

В институте руководящей была профессорско-студенческая партийная организация. Она являлась правой рукой дирекции, выдвинутой коммунистической партией. Всего месяц проучилась я в этом институте. Этот месяц, собственно, не был месяцем занятий — шла полоса осенних зачетов. На дому, группой, готовились мы к ним. Исключение

В один из дней, войдя в институт, я увидела группу студентов, толпившихся перед вновь вывешенным объявлением: на доске был вывешен список тех студентов, которым предлагалось зайти в канцелярию по вопросу о пребывании в институте. В списке значилась и моя фамилия. Некоторые из указанных в списке уже побывали в канцелярии. Одним из них было объявлено об исключении, другим предложено было представить в канцелярию института дополнительные документы: командировку в институт от какого-нибудь учреждения, партии, профсоюза, сельсовета, или же рекомендацию от трех членов коммунистической партии.

Заранее зная, что никаких документов я представить не смогу, направилась я в канцелярию с ясным сознанием обреченности на исключение. Но мне не предложили доставать дополнительные документы, мне сообщили об исключении меня из рядов слушателей. Я попыталась выяснить причины исключения, но никаких объяснений мне не дали. Из канцелярии меня направили к секретарю комсомольской организации.

Молодой парень с суровым лицом принял меня и просто напросто отказался разговаривать со мной. Не знаю, была ли я огорчена, возмущена я была очень и самым фактом исключения и тем, как реагировало студенчество на чистку в вузе. Не внесенные в список старались не задерживаться перед объявлением, скорее проходили к аудитории. Занесенные в список принялись обивать

пороги сильных мира сего. Товарищи, поджидавшие меня, услышав мой рассказ, с перепуганными лицами, пробормотавши нечленораздельно слова сочувствия, поспешили куда-то смыться.

Без сожаления захлопнула я за собой дверь вуза. Я понимала — с учебой покончено навсегда. Меня интересовало, чем же, в конце концов, мотивировано исключение. Какими материалами против меня располагал институт? Социальное происхождение? Известна им моя принадлежность к партии с.-р. в 1917 году? Проведали о моих настроениях сейчас?

Теперь предо мною стал вопрос о моем трудоустройстве. С работой в Москве было очень трудно. Мне удалось все же узнать, что при бирже труда созданы экспертные комиссии, выдающие свидетельства на право получения работы по специальности. Библиотечная работа

Получить какую-либо конторскую работу не было никакой возможности, ее добивались тысячи людей, часто опытных, с большим стажем. Легче обстояло с работой библиотечной. Достав программы и ряд руководств, я стала готовиться к экзаменам. Экзамены сдавались при экспертных комиссиях биржи труда. Сдавалось библиотечное и, конечно, политграмота. Последнее меня не смущало, так как все необходимые знания были приобретены при подготовке в вузе к зачетам, но над библиотечным я прокорпела месяц. Сдала экзамен, получила свидетельство, стала на учет в секции библиотечного дела. Тогда начались бесконечные хождения на биржу труда в ожидании направления на работу. В конце концов, я получила нечто напоминающее посылку на работу. С биржи труда меня направили в качестве практикантки в библиотеку им. Гоголя. Библиотека помещалась в Кудринском районе Москвы, совсем недалеко от зоосада, где мы жили.

В библиотеке заведующая — маленькая, сухонькая, хроменькая женщина — встретила меня неприветливо. Прежде всего она осведомилась, принадлежу ли я к партии, и, получив отрицательный ответ, вовсе нахмурилась, но до работы практиканткой допустила, не допустив, однако, до выдачи книг.

Мне было поручено составление библиотечных карточек. Работа была несложная, но неинтересная. Почерк у меня был неважный, и карточки, написанные мною, по красоте уступали карточкам, написанным другими сотрудниками.

Взаимоотношений ни с кем из работников библиотеки у меня не сложилось. Молча приходила я на работу, молча уходила, точно так же держали себя остальные сотрудники. Только коммунистки были как-то связаны между собой. У них проходили какие-то собрания, совещания, на которые другие работники не

допускались.

Месяца через полтора, вынужденная срочной необходимостью, заведующая послала меня в помещение библиотеки. Большая комната в подвальном этаже сверху донизу, начиная с бесконечных полок и кончая полом, была завалена книгами. На единственном огромном столе стройными пачками лежали новые, нуждающиеся в обработке книги. То были кипы современной политической литературы, выходившие тысячными тиражами. Их и поручила мне разобрать заведующая. Сама она приходила и уходила, наблюдая за моей работой. К тому времени я уже невзлюбила эту сухую, черствую женщину. Я возненавидела ее теперь.

Старательно пробиралась я между книг, валявшихся на полу. Она небрежно топала прямо по ним своими хромыми ногами.

Конечно, в ее отсутствие я ознакомилась с книжными богатствами, брошенными на пол. Здесь были массы изъятых книг. Нашла и папку с бумагами и списками книг, подлежащих изъятию из библиотек. Перечесать их всех мне не удалось, но груды изъятых книг говорили сами за себя. Часть их стояла по полкам: Достоевский, Толстой, Арцыбашев, Куприн, Бунин, Короленко... Это была беллетристика, что же говорить об истории? Она, по-моему, была изъята вся. Изъятymi оказались работы о декабристах, о народолюбцах, конечно, весь Михайловский, весь отдел философии, социологии и политэкономии. Бедный Туган-Барановский, по которому я когда-то сдавала зачеты по политэкономии! На полу, по которому топала заведующая, лежали ценнейшие книги, реквизированные из частных библиотек, на них не было библиотечного штампа. Тут были книги старинные, в толстых кожаных переплетах, роскошные издания-альбомы с репродукциями лучших мастеров России, Западной Европы. Как хотелось мне подобрать их, вынести наверх, сделать доступными читателю. Нелегальное студенческое движение

В декабре 1923 или в январе 1924 года, вернувшись из библиотеки, я застала дома гостей. Веру Хрусталеву я знала давно, с мужем ее, Мощенко, я познакомилась только теперь. Вера в дореволюционные годы дружила с Дутей, она вместе со своим братом и его репетитором Алешей Ивановым бывала у нас в Сорочине. Тогда вся их компания левонастроенной молодежи была мне далека, я была еще совсем девочкой.

Узнав от Дути, что папа в Москве, Вера с мужем зашла к нему. С Дутей у Веры дружбы давно уже не было. Жизнь они принимали по-разному.

К этому времени и наши отношения с Дутей и ее мужем

обострились настолько, что мы жили уже врозь, хотя и в одной квартире.

В связи ли с пьянкой, в связи ли с буржуазным окружением, которое, очевидно, составляли мы, или в связи с тем и другим вместе, Степана сняли с руководящей работы и вернули на производство в типографию. Сестру тоже исключили из партии.

Мы жили уже не на старой квартире при конторе. Наша комната и комната сестры были разделены большой проходной комнатой, которой никто не пользовался.

В этот день я застала папу, Диму, Веру и ее мужа за оживленной беседой. Говорилось обо всем, что волновало людей тех лет. По настроениям Вера и ее муж оказались нам очень близки. Не помню, как это случилось, но после ряда встреч Мощенко предложил нам с Димой познакомиться, связать нас с группой студенческой молодежи, социалистически настроенной, и, если не прямо, то косвенно связанной с партией эсеров, находящейся в глубоком подполье.

Мы радостно благодарили его, но просили предупредить посланца о том, что с Дутей и ее мужем и при них нельзя вести никаких разговоров. Мощенко ответил, что он это знает, что он хотел даже предупредить нас, чтобы мы не говорили о нем с сестрой.

Неделю или две спустя к нам пришел юноша лет двадцати трех. Тонкий, стройный, с своеобразным, приметным, может быть, немного угрюмым лицом. Он представился нам как студент Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии. Мы сразу поняли, кто прислал Сергея Сидорова. Мы были ему рады. После довольно долгой беседы, в которой и папа принимал участие, Сергей предложил познакомиться нас со своими товарищами. Он дал нам адрес, по которому мы должны были зайти в условленный день и час. Сергей нам всем очень понравился.

В назначенный день и час мы с Димой пошли на Поварскую. Мы легко нашли проходной двор и дом. Комната, в которую мы вошли, была маленькая, типично студенческая, а ее хозяин, Григорьевич, походил как две капли воды на вечного студента. Уже немолодой, лет тридцати, с длинной взлохмаченной шевелюрой, с длинными свисающими усами, высокий, сутуловатый, худой. На нем была поверх косоворотки наброшена студенческая поношенная тужурка.

Когда мы вошли, он сидел на своей койке позади стола. Стол был завален книгами и газетами. Кроме стола и кровати в комнате было три простых деревянных табурета. На широком подоконнике стоял чайник, стакан на блюде, какая-то

кастрюлька и примус. Вид у комнаты был довольно-таки неопрятный, холостяцкий. Кроме хозяина в комнате находилось еще два студента.

Раз в неделю собирались мы в этой квартире. Здесь мы говорили на возвышенные темы, обсуждали студенческие дела. По настроению мы все сочувствовали партии эсеров. Но то, что наша группа была связана с партией, по-моему, знали только мы с братом и Сергей. Наша группа была одним из звеньев цепочки, связывающей нелегальное студенческое движение.

По конспиративным соображениям каждое звено состояло из 5 человек. Каждый член звена должен был организовать вокруг себя новую пятерку.

Мы с братом не знали ни подлинных имен, ни фамилий никого из товарищей, кроме Сергея. Не знали и они наших. Лица, о которых сообщалось, шли обычно под кличками. Все эти предосторожности соблюдались потому, что в студенческой среде шли аресты. В высшей школе шли непрерывные чистки студентов, увольнения профессоров. Молодежь, еще хранившая традиции прежней школы, боролась за свободную, независимую от государства, самоуправляющуюся школу, за свободу собраний, сходок, за свободное избрание студенческих организаций.

Может быть, наивно было бороться за свободную школу в стране диктатуры, но молодежь ни с чем не хотела соглашаться и отстаивала свои права.

На наших собраниях зачитывались или получались для прочтения отдельные номера «Социалистического вестника» (нелегального органа с.-д.) и «Революционной России» (нелегального органа партии эсеров). Из них, кроме руководящих статей, мы узнавали о событиях в стране, о новых арестах, из них мы узнали и о расстреле заключенных 19 декабря 1923 года на Соловках. Узнавали мы на наших собраниях об арестах среди студенчества Москвы и Ленинграда. Одной из наших задач было собирание средств для оказания помощи арестованным и сосланным студентам. Материальную помощь мы обычно оказывали через существовавший тогда «Красный Крест Помощи Политзаключенным». Возглавляла его жена Горького, Екатерина Павловна Пешкова.

Лично знакома я с нею не была, но слышала о ней много восторженных отзывов. В последующие годы, вплоть до 1937 года, мне и моим товарищам она оказывала большую помощь.

Очевидно весной 1924 года правительство решило окончательно сломить сопротивление высшей школы, по крайней мере, аресты среди студенчества стали массовыми. В студенческом сопротивлении властям разброд царил

потрясающий. Против линии партии, проводимой партией в высшей школе, выступали самые разнообразные группы студентов, от революционно до реакционно настроенных. Нашей задачей стало разъяснение в среде студенчества студенческих требований, выявление определенного направления, выкристаллизовывание соц. групп. Эпизодически социалистическим студенчеством выпускались листовки, освещавшие те или иные события, протекавшие в стране и школе теперь. Мы ставили перед собой задачу создания студенческой газеты, которая должна была освещать жизнь студенчества в различных учебных заведениях Москвы, сообщать о жизни студентов других университетских городов, обосновывать требования, выдвигаемые студентами.

Не помню, какое название хотели мы дать своей газете, но выходить она должна была под аншлагом эсеров «В борьбе обрешь ты право свое». Конечно, мы и не мечтали о печатном станке. Приобретение шапирографа, краски, восковки, пишущей машинки, даже просто бумаги в те годы было очень затруднено. Все эти товары распределялись по ордерам. Мы занялись собиранием средств и точно проверенного материала о жизни высшей школы. Передовую статью обещал достать Сергей у старших товарищей. Дома никто, кроме отца, не знал о наших встречах, о наших собраниях. Наша жизнь стала содержательней.

* * *

В феврале или марте Дутя предложила мне работу, очень увлекшую меня. При Госиздате организовывалось отделение по массовому издательству книг для сельских читателей. Возглавил это отделение известный профессор русской литературы С. Предполагалось сокращение ряда крупнейших литературных произведений. Дутя была знакома с профессором и от него узнала, что издательству требуются сотрудники для обработки и сокращения отобранных книг. Сестра предложила мне попробовать свои силы на этой работе. Я ухватила за предложение обеими руками. Литературная работа всегда влекла меня. В Гизе, поговоривши со мной, профессор С. предложил мне взять для пробы роман Джека Лондона «Мартин Иден». В случае удачи роман будет принят к печати, а я зачислена в штат сотрудников. Дни и ночи просиживала я за работой. Очень волновалась, чувствовала большую ответственность. Я любила Лондона, а «Мартина Идена» считала прекрасной книгой. Из всех сил старалась я не исказить, не обеднить автора, сохранить

его литературный стиль и в то же время уложиться в нужное количество листов. Работу я проделала. Прочитала отцу и получила его одобрение. Только мы с отцом недоумевали, почему была выбрана эта вещь, так не вязалась она с соответствующими установками большевиков, была, как говорится, «не созвучна с переживаемой нами эпохой».

Я понесла листы в Гиз. Я трепетала. Я была неуверена в себе: ведь это был мой первый литературный опыт.

Через неделю мне вернули рукопись. Редактор нашел ее неподходящей. Конечно, я была очень огорчена. Я заглянула в рукопись. Вся она была испещрена пометками, исправлениями. Чуть не бегом мчалась я домой. Хотелось ознакомиться с ошибками. Я забралась в самый уединенный уголок зоосада и погрузилась в чтение.

Домой, к папе, я влетела взбешенная. Я потрясала листами и задыхалась от волнения. Ни с одним исправлением я не была согласна. Мало того, я находила их неверными, неграмотными. Многие из них исправляли не меня, а Лондона. Я показывала свою рукопись всем, кто соглашался смотреть. Никто не понимал причины исправлений.

Тогда я отправилась в Гиз. Я добилась свидания с профессором. Чуть не со слезами на глазах доказывала я свою правоту, просила об объяснении допущенных ошибок. Он взял рукопись и начал листать. Мне кажется, ему стало жаль меня. Он сказал, что сам посмотрит мою рукопись и тогда скажет мне свое мнение. За ответом он просил зайти недельки через две, так как очень занят. Окончательный отзыв профессора окрылил меня. Казалось, чему было радоваться? Профессор сказал, что вещь не пойдет по независящим от него обстоятельствам, но что он не согласен с исправлениями, что он считает мою работу удачной. Литературная сторона сокращений его вполне удовлетворяла. Не моя вина, а вина Гиза, сама вещь была выбрана неудачно. Она не подходит по тематике для изб-читален. Профессор сказал, что намерен принять меня в число сотрудников и просил зайти к нему в конце месяца, так как сейчас они загружены другой, срочной работой. Я обещала зайти. Я страшно хотела зайти, примкнуть к литературной работе, но сомнения мучили меня. «Мартин Иден» оказался неподходящим для редакции, окажутся ли подходящими по содержанию для меня те книги, которые предложат мне для сокращения? Смогу ли я взять социальный заказ? Соблазн литературной работы был велик. Устою ли я перед соблазном?

Жизнь не поставила меня перед решением сложных вопросов вхождения в советскую литературу, компромиссов с совестью.

Жизнь решила этот вопрос помимо меня. В Госиздат я больше не пошла.

* * *

Сергей Сидоров предупредил меня и Диму:

— Идя к Григорьевичу, поколесите по Москве и смотрите внимательнее, не следит ли кто-нибудь за вами. Нам кажется, что за квартирой установлено наблюдение. Если заметите что-нибудь подозрительное, не приходите вовсе. Если за вами слежки не будет и на окне будет стоять свеча, заходите. Собираемся там в последний раз.

Слежки за собой мы не заметили. Свеча на подоконнике горела. Мы вошли в дом. Товарищи были в сборе. Григорьевич рассказал, что у дома все время торчит какая-то подозрительная личность, похоже, шпик. Дворничиха тоже рассказала ему, что у нее наводили справки, бывают ли у студента товарищи и часто ли они собираются. Может быть, у страха глаза велики, во всяком случае, в целях предосторожности собираться у Григорьевича больше не стоит. Собственно, мы планировали перерыв во встречах, но не сейчас, а после выпуска первого номера нашей газеты. Для выпуска первого номера у нас было все уже подготовлено. Шапирограф, чернила, бумага — все запасено. Найден был человек, который должен был на пишущей машинке напечатать восковку, подобраны люди для распространения газет. Нам необходимо было собраться еще раз для обсуждения газетного материала в целом и установления явок для получения напечатанных листовок. Печатать, то есть делать оттиски, было решено у нас дома. Ночами думали мы с Димой вести эту работу. Комната была изолированной, нас двое, помощников нам не надо, а явка за листами в зоологический сад тоже могла протекать незаметно. Мало ли людей идут смотреть зверей. Конечно, проводить собрание там, где предполагалось печатание, не следовало, но другого выхода не было. И порешили собраться у нас. Осторожно, по одиночке, разошлись мы по домам, с тем, что завтра собираемся у нас в последний раз.

Дома мы обо всем рассказали отцу. Бедный папа! Он боялся за нас. Хмурил брови, проклинал свою инвалидность, но ни одного слова возражения мы от него не слышали. Папа полностью разделял наше возмущение тем, что творилось вокруг. Понимал наше желание принять посильное участие в борьбе студенчества за свободную школу в «свободной стране». Так формулировались нами требования в передовой статье нашей газеты.

Вечер следующего дня начался очень удачно. Сестра и ее муж ушли куда-то и, когда пришли товарищи, никого, кроме нас с отцом, дома не было. Папа лежал на своей кровати, занавески на окнах были спущены, каждый из приходивших сообщал, что за ним наблюдения не было, что хвоста за собою он не привел.

Усевшись за столом, мы в последний раз пересмотрели материал, сведенный уже в один лист и расположенный в должном порядке. Я не помню уже всего собранного нами материала. Помню, что была там моя заметка об изъятии книг из библиотек, информация о последних арестах среди студентов, произведенных в Москве, с перечнем фамилий, заметка об увольнении ряда профессоров из университетов, предлагающая студентам бойкотировать профессоров, назначенных на место исключенных. Был в газете раздел «За что бороться?» Там выдвигалось требование независимости высшей школы от государства, экстерриториальности ее помещений, свободы слова, собраний, сходов для профессоров и студентов, возвращения в университетские книгохранилища и библиотеки изъятых книг, возвращения из ссылок всех арестованных за студенческие выступления студентов, прекращения чисток в высшей школе по социальному положению и по политическому убеждению.

Прочитав материал, условившись о количестве оттисков, и о том, где, кто и когда будет получать напечатанные листы для их распространения, товарищи ушли. Последним вышел Сергей. Он сказал на прощанье:

— В случае, если меня арестуют, связь с партией будете держать вы. Кроме вас и меня никто не имеет нити.

Я молча кивнула головой, а Дима сказал:

— Будем верить, Сергей, что ты еще продержишься.

В комнате было сизо от табачного дыма, и как только Сергей вышел, я быстро подошла к окну и толкнула плотно закрытые оконные створки. Занавески всплеснули, взвились за окно. Я до половины высунулась вдохнуть свежей прохлады весеннего вечера.

Что это? Или мне только показалось, что кто-то шарахнулся во тьму, в кусты, растущие вокруг нашего домика? Я вглядывалась пристально, прислушивалась... Нет никого, тишина. «Причудилось», — решила я и ничего не сказала ни отцу, ни брату. Поспешно убрали мы все в нашей комнате, уничтожили все черновые заметки. Оставался один уже перепечатанный на машинке экземпляр газеты. Мы с Димой хотели заложить его в одну из книг, но папа решительно потребовал, чтобы этот лист был заложен в матрац, на котором он лежал. Мы не противоречили. Только успели мы это сделать, как в дверь

постучали. Первый арест

— Здесь живут Олицкие? — раздался мужской голос. Одновременно дверь отворилась. На пороге нашей комнаты стоял человек в форме чекиста. За ним следовали еще двое. Четвертый был в штатском.

Я взглянула на отца. Папа был очень бледен.

— Мне поручено произвести обыск в вашей квартире, — сказал чекист.

— Предъявите, пожалуйста, ордер, — ответила я. Достав из портфеля очень толстую пачку ордеров, он полистал ее, вынул одну бумагу и положил на стол. Я, наклонившись, прочитала ее и подала брату. Ордер был на обыск и арест Екатерины и Дмитрия Олицких.

— Пожалуйста, — сказала я и отошла в сторону. Брат тоже отошел в сторону и сел на кровать к отцу.

Во время обыска никто из нас не проронил ни слова. Чекисты рылись всюду. Они перетряхивали, перелистывали книги, простукивали пол и стены.

— А кто это сейчас вышел от вас? — спросил главный.

— От нас? — удивились мы. — Никто от нас не выходил.

— Напрасно отрицаете, мы знаем, что у вас были люди.

Я все время думала про шорох под окном. «Донос, явно донос, и они ищут газету». Но я врала, что у нас никого не было, может, из квартиры кто и выходил. Я знала, что муж сестры недавно возвратился и снова ушел.

Обыск был закончен. У нас ничего не нашли. Чекисты составили протокол, его подписали мы и понятой.

— Можете идти, — сказал ему чекист. Понятой как-то сгорбившись, попятился к двери, вышел и закрыл за собою дверь. Следом она снова открылась, на пороге стояла Дутя, она только что вернулась домой. Из-за ее спины виднелось насмерть перепуганное лицо Пети.

— Это к вам? — спросил чекист и направился к двери.

— Это сестра, — ответила я.

— А-а-а... — протянул он, — простите, здесь производится обыск, посторонним вход воспрещен. Сестра молча отступила и закрыла за собой дверь.

— Оденьтесь и идите со мной. Вещей с собой брать не надо.

Я одела жакет и шляпу, брат надел тужурку. Мы подошли проститься с отцом. Мы крепко поцеловались. Слабые руки отца дрожали.

У подъезда стояли две легковые машины. В одну из них сели мы с братом и один из чекистов.

— Вези на Лубянку, — сказал старший и направился ко

второй машине.

«За следующими», — мелькнуло у меня в голове. Я вспомнила толстую пачку ордеров, из которой он выбрал наш.

Мы с братом сидели рядом на открытой машине и крепко держались за руки. Мы молчали, ведь рядом сидел спутник, но я знала, что оба мы думаем об отце. Когда мы выходили из своей комнаты, в проходной комнате стояла Дутя. С нахмуренным, сердитым лицом смотрела она в сторону, но все же бросила нам:

— За отца можете не беспокоиться. Мало успокоила меня эта фраза, я знала, каково сейчас отцу. На Лубянке-2

У Лубянки-2 машина заехала во двор и остановилась против большой двери. По узкой лестнице предложили нам подняться наверх. На площадке третьего этажа брату велели войти в дверь направо. Под окрик сопровождающих мы все же пожали друг другу руку. Я поднималась выше.

На четвертом этаже дверь открылась и передо мной. Из коридора я попала в маленькую, совершенно пустую комнату. Первым поразило меня то, что все двери открывались и закрывались как бы сами. Беззвучно по устланным дорожками коридорам двигались надзиратели, без слов понимавшие друг друга. Изредка они стучали ключами по пряжке пояса.

Через минуту после меня и конвоира в комнату вошла пожилая женщина.

— Обработайте, — сказал ей конвоир и вышел. Женщина подошла ко мне и сказала:

— Разденьтесь. Обыскать мне вас нужно.

Я сняла платье. Обыскала меня эта женщина очень поверхностно, без придирчивых гнусных приемов, что поняла я, впрочем, потом, когда прошла через целую вереницу обысков разных лет.

При обыске у меня ничего взято не было. Я снова одела платье. Молча стояли мы друг перед другом. Потом дверь отворилась и появился надзиратель. Молча рукой указал он мне на дверь. Теперь мы долго шли коридором. Он был разделен перегородками на части. У каждой перегородки с обеих сторон двери нас встречал и провожал постовой. По обеим сторонам шли двери камер. Над каждой дверью стоял номер. В каждой двери был прорезан круглый глазок. Наконец, мы дошли до камеры, дверь в которую была открыта. Сопровождавший рукой указал на нее. Я переступила через порог, и дверь за мной закрылась. В замке щелкнул ключ.

Первое, о чем я подумала, очутившись в камере, что щелканье замка, так жутко описываемое в рассказах о тюремной жизни, не произвело на меня тяжелого впечатления. Напротив,

первым чувством было чувство облегчения — наконец-то я одна. Одна, и в тюремной камере. В тюремной камере, через которую прошло столько лучших людей России. Я даже считала себя недостойной быть посаженной в тюрьму. Ведь я ничего-ничегошеньки не успела сделать. С интересом стала я осматриваться вокруг. До удивительности все было знакомо по воспоминаниям отца. Окно за решеткой, койка, правда, не привинченная к стене, столик, в углу у двери — параша. Стены до половины, пол и все предметы выкрашены коричневой краской. В двери прорезан волчок — круглое застекленное отверстие, со стороны коридора оно задержнуто пластинкой...

Сперва мне показалось, что окно упирается в стену противоположного здания, но нет, на расстоянии четверти от окна подвешен к нему железный, тоже коричневой краской окрашенный щит. Это усовершенствование — о таких щитах я не слышала. Под окном — батарея центрального отопления, вдоль стены трубы идут в другие камеры... и мелькает мысль: «А по ним можно перестукиваться». Над волчком двери большая картонка с правилами внутреннего распорядка: Заключенные обязаны... Заключенным запрещается... Заключенным разрешается...

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОБЯЗАНЫ: а) поддерживать чистоту в камере; б) исполнять все законные требования администрации; в) вставать при обходе камер начальником тюрьмы; г) ежедневно выносить и вымывать парашу.

ЗАКЛЮЧЕННЫМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: а) нарушать тишину в камере; б) подходить к окну и класть что-либо на решетку и подоконник; в) входить в общение с соседними камерами, стучаться в стены и трубы водопровода; г) громко разговаривать, петь и кричать в окна; д) делать надписи на стенах камер.

ЗАКЛЮЧЕННЫМ РАЗРЕШАЕТСЯ: а) ежедневная 16-минутная прогулка; б) хранить в камере зубной порошок, зубную щетку и мыло; в) хранить в камере разрешенные продукты питания; г) получать с разрешения следователя передачи раз в декаду; е) с разрешения следователя раз в месяц свидание с родными.

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО: а) подавать жалобы и заявления через начальника тюрьмы раз в декаду во время обхода начальником камер; б) в случае надобности вызывать дежурного по корпусу или врача.

Я внимательно изучала правила, меня очень интересовал внутренний распорядок советских тюрем. И тут я услышала, уловила в окружающей меня тишине легкий размеренный стук в стену. Доносился он откуда-то сверху. Четкие удары. Раз, два, три — пауза. Опять раз, два, потом раз-два-три-четыре и раз-два-три. По рассказам отца я знала о перестукиваниях заключенных и о

тюремной азбуке. «Папа! что-то он делает сейчас? Не спит? Думает о нас? Как он будет жить без нас?»

Я ни в чем не раскаиваюсь. Я знала и раньше, что так, в конце концов, случится. Я ничего не могла изменить. Но теперь, когда это случилось, мне было невыразимо больно за отца. Бросив свои исследования и наблюдения, я подошла к койке и легла, не раздеваясь. Ведь я пробовала жить всячески. Но мне, очевидно, нет места там, на воле. Нет места в институте, нет места на работе. Как жить? Мириться со всем, что окружает? Молчать о безобразиях, молчать или прикидываться сочувствующей? Восторгаться всем тем, что возмущает? Подделываться и подмазываться... Вот тогда можно жить. И хорошо жить!

Мысли мои прервал шорох у дверей. Это щелкнул волчок. В круглое стеклышко, вделанное в дверь, смотрел человеческий глаз. Встретившись с моим взглядом, он исчез. Стеклышко закрылось. Через минуту или две волчок снова щелкнул. И вслед загремел ключ в замке. Дверь открылась.

— Получите одеяло, простынь, наволочку, полотенце.

Я взяла поданные вещи и постелила постель. Раздеваться мне не хотелось. Я прилегла одетая. Через небольшой промежуток времени надзиратель приоткрыл дверь.

— Раздевайтесь и ложитесь спать.

Я никак не реагировала на его голос. Больше меня никто не тревожил, я могла думать, думать, сколько хочу. Кругом меня тихо стучали стены.

«Надо вспомнить тюремную азбуку», — подумала я, но ничего не вспомнила. Очевидно, я задремала. Разбудил меня звук отпираемого замка и стук открываемой двери. Порог переступила молоденькая девушка с узелком в руке. Она решительным шагом вошла в камеру, положила свой узелок на стол и села на свободную койку. Я тоже села на своей койке.

— Здравствуйте, — сказала я, — вас только что арестовали?

— Да, — ответила она. — А вы давно сидите?

— Меня тоже сегодня арестовали и привезли сюда.

— Тогда давайте знакомиться. Я Вера Рыбакова, студентка исторического факультета. А вы — тоже студентка?

— Нет. Пожалуй, что нет. Меня вычистили из промышленно-экономического института еще осенью. Но взяли по студенческому делу.

Вера чуть приподняла брови.

— А меня без всякого дела. Ужас, сколько студентов сегодня арестовали. Перед 1 мая, конечно.

Так начался разговор с Верой. Мы сказали друг ДРУГУ, что мы беспартийные, что мы взяты случайно. Но не больше, как

через час, мы знали друг о друге многое. Я поняла, что Вера причастна к с.-д. студенческим организациям; она поняла, что я сочувствую эсеровскому движению. Мы даже успели поспорить на одну из социологических тем. Но это не помешало тому, что между нами сразу установилась близость. Усевшись рядом на тюремную койку, мы сообщали друг другу про последние аресты товарищей, которые были взяты раньше нас. О тех, кто пошел на Соловки, в Суздальский политизолятор. Обе мы ставили перед собой вопрос, в чем причина нашего провала, нашего ареста? Донос?.. Чей? Кто выдал? Не раз во время нашей беседы к двери нашей камеры подходил надзиратель. Не раз щелкал волчок. Мы не обращали на это внимания. Ни я, ни Вера не считали нужным скрывать установившуюся между нами близость. Мир теперь делился для нас на две группы. Мы — арестанты, они — тюремщики. Наконец, Вера встала с койки и, как я немного раньше, стала осматривать камеру. Мы заходили по камере, задвигали Вериной койкой, стоявшей у противоположной стены. Вероятно, это услышали наши соседи. В стену камеры над Вериной койкой послышался легкий, осторожный выбивающий дробь стук. Вера быстро подошла к стене и косточкой согнутого пальца застучала в ответ. Тогда в стену послышались четкие ритмические удары. Вера взглянула на меня вопросительно.

Я морщила брови. Папа рассказывал. Азбука разбивается на ряд строк. Первый удар — строка, второй — буква. Сколько строк, сколько букв в строке? Соседняя стена стучала, а мы ничего не могли понять.

— Кажется 5 строк по шесть букв, — фантазировала я.

Но как запомнить, где стоит какая буква? Ни карандаша, ни бумаги у нас с Верой не было. Были папиросы и спички. Развернули окурочку, обугленной спичкой мы стали выцарапывать азбуку, разбивая ее по строкам. Пока мы возились с азбукой, стена вызывающе постукивала. Изредка Вера подходила к ней и давала частую дробь. Или гладила стену.

— Сейчас. Ну вот сейчас, — говорила она. Мы не сомневались, что за стеной друзья. Наконец наша шпаргалка была готова. Теперь мы с Верой, путаясь и заглядывая в нее, застучали: — Кто вы?

Соседи, выслушав дробь, умолкли, а потом забарабанили снова. Мы пробовали по шпаргалке понять их стук, но ничего не выходило. Тогда мы стали выстукивать им просто первую строку азбуки.

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6.

2/1, 2/2, 2/3, 2/4...

Ура!!! Соседи нас поняли. Они замазали стенку и четко

выстукали ответ. Азбука делилась на 6 строк. В каждой строке было 5 букв. В этот вечер мы больше не стучали. Мы, каждая, изготовили себе по шпаргалке и, лежа в кровати, стали учить азбуку, пока не заснули.

Второй день заключения начался новыми переживаниями. Подъем, оправка, первая тюремная еда. Вера оказалась запасливей меня. В ее узелке была добавка к первому тюремному кипятку и хлебу — и масло, и колбаса. Мы еще не выучили азбуку, как застучали соседи. Они стучали быстро, мы не могли их понять. Нашего сбивчивого стука не понимали они. Тогда мы с Верой решили поискать другой путь связи. Мы принялись исследовать стену. Под окном нашей камеры был расположен калорифер центрального отопления. Трубы от него уходили в соседние камеры. Исследуя стены, мы установили, что возле трубы, уходящей в соседнюю камеру, есть щель. Приложив к ней ухо, я ясно различила разговор соседей. Два мужских голоса. Очевидно, если говорить прямо в трубу, будет слышно. Но как сообщить им, как привлечь их внимание к трубе? Прежде всего мы попробовали пустить в дыру дым от папиросы. Это не помогло. Тогда мы вернулись снова к азбуке. Мы выучились стучать слово «дыра», мы отдельными ударами вели их к щели у трубы. И наконец, ура, они нас поняли!

По трубе мы услышали:

— Здравствуйте, товарищи, кто вы? Так началось наше знакомство. Мы были счастливы. Постепенно мы узнали, что наши соседи — левый эсер Вершинин и с.-д. Петровский. Между нами наладились дружеские отношения. Мы стали болтать через дыру и научились перестукиваться через стену. Вдохновленные успехом камеры направо, овладев несколько техникой перестукивания, мы решили завязать отношения с камерой налево.

Мы не были опытными тюремными сидельцами, мы даже не сумели прислушаться к тому, сидит ли кто в этой камере, отворяется ли ее дверь на оправку, приносят ли в нее обед и ужин. Мы просто забарабанили в стену. Сперва тихо, потом, не получая ответа, все громче. Наконец, когда мы уже бессовестно гремели в стенку, нам послышался ответный стук. — Кто вы? — застучали мы и напряженно стали слушать ответ.

Так как мы обе еще не бегло читали азбуку, то при приеме одна из нас, а то и обе, произносили принимаемую букву вслух. Так приняли мы букву за буквой «Д», «У», «Р», «Ы».

Сообразив значение принятого слова, мы просто шарахнулись от стенки, возмущенно и сконфуженно глядя друг на друга. В коридоре громко хохотал надзор. Мы с Верой жили дружно. Не

тосковали, с надеждой и радостно смотрели в ожидавшее нас будущее. Мы ни в чем не раскаивались, да и не в чем было раскаиваться. Мы даже мечтали иногда, что попадем в тюрьму. Она мечтала о Суздальском политизоляторе, где были заключены ее знакомые с.-д. Мне хотелось на Соловки, я знала, что там много эсеров. Мы обе чувствовали, что нам необходима встреча со старшими товарищами. Нам нужно было разъяснение целого ряда неясных вопросов. Ничего этого нам воля дать не могла. Там все было задавлено, задушено большевистскими сентенциями, угрозами.

Я очень тосковала и горевала об отце. Волновалась за брата. Диме ведь едва исполнилось 18 лет. Как выдержит он тюремные испытания, следствия, допросы.

Свое поведение на следствии я продумала и решила твердо. Никаких показаний я давать не буду. Я знала партийную установку — если партийная принадлежность органами установлена, не отказываться от партии. Допрос

На первом же допросе я поняла, что кто-то выдал нашу группу. Из высказываний следователя, державшегося со мной достаточно корректно, я пришла к заключению, что С. Сидоров не арестован. По-видимому, ему удалось скрыться. Григорьевич был арестован. Следователь говорил, что он сознался во всем и выпущен на волю.

Очень тяжело узнать о своем товарище, что он, говоря арестантским языком, «ссучился». Я тяжело переживала измену Григорьевича. На допросах следователь говорил:

— Вы своим молчанием усугубляете вину. Придется вам, наверное, проехаться на Соловки. Вот ваш брат во всем признался, и мы его выпустим.

Я была уверена, что он врет про Диму, значит, врет и про Григорьевича. Следователь показал мне много фотокарточек. Были среди них незнакомые мне лица. Показал он мне чью-то малограмотную юдофобскую листовку, будто взятую у какого-то Киселева. От нее я категорически отмежевалась.

Через 8 лет, только через 8 лет (!) я узнала, что предал нашу группу С. Сидоров. Возможно, что следователь сознательно набрасывал тень на Григорьевича. Но об этом позже.

5. ССЫЛКА НА СОЛОВКИ

Через месяц, проведенный во внутренней тюрьме, мне объявили, что по постановлению ОСО я заключаюсь под стражу на 3 года и отправляюсь на Соловецкие острова. Одновременно следователь сообщил, что брат получает высылку из Москвы — минус 32 пункта. Это означало, что ни в одном губернском городе он жить не может. Мне было сказано, что в ближайшие дни я получу свидание с родными, что через следателя могу сообщить, какие вещи хотела бы получить от них на дорогу.

Взволнованная, но не испуганная, вернулась я в камеру. Уж если ехать куда-нибудь, то лучше всего на Соловки! В камере я рассказала Вере о приговоре. Она крепко пожала мою руку. Потом она сказала:

— Сегодня соседняя камера нас вызывала.

— Которая? — спросила я.

— Стена «ДУР», — ответила Вера.

— Вы ответили?

Вера отрицательно покачала головой.

— Сначала я постучу соседям о приговоре, — сказала я.

Усевшись на Вериной койке лицом к волчку, чтобы видеть, не пойдет ли надзор, левой рукой, заложенной за спину, я тихонько застучала, вызывая Вершинина. Мы с Верой поделили наших соседей. Мы кое-что уже знали о них. Даже подсмотрели в щель волчка, как они выглядят. Петровский, старый с.-д., подпольщик царских лет, давал нам массу практических советов: побольше ходить по камере, ежедневно делать гимнастику, заниматься языками. Вершинин — молодой украинский эсер — был поэт и мечтатель. Он выстукивал в стенку всякую лирику и даже свои стихи. Едва я застучала, как соседняя камера, очевидно, услышав наш стук, застучала в свою стену. Ее стук сбивал меня, мешал слушать соседей.

— Вера, замажьте стену, — попросила я. До самого вечера мы, возбужденные моим приговором, не подходили к стене «Дур». Когда мы уже улеглись спать, Вера сказала:

— Все же следует проверить вашу стену. Кого-то туда привели. Я слышала, когда вы были у следателя, как там открывалась дверь. Ужин, по-моему, туда тоже приносили.

Высунув руку из-под одеяла, я осторожно постучала. На мой вызов сейчас же раздалась ответная дробь.

— Кто вы? — простучала я.

Ответ был до того неожиданным, что вызвал во мне сомнения.

— Эсерка с Соловков Сима Юдичева. Сегодня я узнала о том, что еду на Соловки, и сегодня же за стенкой появляется эсерка с Соловков...

— Подозрительно, — шепнула я Вере, но все же продолжала разговор. Свой-то приговор я могла без риска сообщить каждому.

Сима простучала нам, что ее родители без ее ведома хлопотали о ней и ее вызвали с Соловков. Следовательно предложил ей отречься от партии, дать покаянное письмо. Она, конечно, отказалась и следующим этапом едет обратно на Соловки. Сима выстукала, что болеет, что родители прислали ей в передаче уйму вкусных вещей, но она их есть не может и завтра оставит сверточек нам в уборной. Мы с Симой решили, что, очевидно, поедem на Соловки вместе. Свидание с родными

Я получила свидание с братом и сестрой. В кабинете следователя застала их обоих. Они сидели на маленьком диванчике у стены. У другой стены, напротив, был поставлен стул для меня. Следователь, сидевший за письменным столом у окна, сказал:

— Свидание — 15 минут.

О чем можно говорить при следователе? А как много нужно сказать! Выручила нас с братом Аня. Она говорила без умолку о том, как проводила лето, как растет ее дочка Лидочка, что уложила в мой чемодан. Мы с братом были благодарны ей. Под ее болтовню мы коротенькими полунамеками обменивались о главном. Конечно, брата следователь уверял, что я даю исчерпывающие показания. Дима прикинулся беспечным мальчишкой, охотно рассказавшим бы все, что знал, но не знает-то он ничего. Кто предал? Кто уцелел? — спрашивали мы друг друга. Нам даже удалось под Анину оживленную болтовню условиться, что в последней передаче с воли Дима передаст мне записочку, что будет она заделана в хвостик колбасы. Быстро пролетели 15 минут.

— Свидание окончено, — произнес следователь. В ту же минуту была я в объятиях брата, и на ухо он мне шептал: «Катя, я завидую тебе, но я решил остаться с отцом и потому так держался. Я никого не выдал. Ты веришь мне?» Я крепко сжала его руку. Улыбаясь, смотрели мы на следователя. Он бесновался, кричал, но было уже поздно. Я жала руку сестре, она поспешно договаривала:

— Сшила тебе на дорогу платье Клава, а тетя Аня и Пьерик положили духи. Какая ты дурочка, но все равно все тебя жалеют.

Следователь нетерпеливо открыл дверь. Я была благодарна ему за это.

— Целуйте папу, крепко целуйте папу, — твердила я. Я

чувствовала, что слезы подступают к глазам, а плакать... нет, плакать в кабинете следователя я никак не хотела. Быстро повернувшись, я вышла за дверь. Там ждал меня надзиратель. Идя по коридорам и лестницам ОГПУ, я понимала, что ухожу с каждым шагом от всей своей прежней жизни, от папы, от друзей, от воли. На этап В камере меня ждало пиршество, — печенье, конфеты, и даже маленький торт.

— Откуда — глаза у меня округлились.

— Целое событие, — говорила Вера, — только вы ушли, стучит Сима: «Проситесь в уборную, там под раковиной ниточка, заделана хлебом, тяните за нее». Выпросилась я у надзирателя, говорю, живот болит, он пустил. Нагибаюсь над раковиной умывальника искать ниточку, а весь пакет лежит на полу. Очевидно, вывалился. Затолкала я его за пазуху, перекинула полотенце через плечо, стучусь надзирателю выпускать, а сама трушу. Но обошлось. Давайте кушать. Так вкусно, я вас еще дождалась.

Прощальный пир во внутренней тюрьме. За обе щеки уплетали мы с Верой сласти. Симе мы простучали «спасибо». Она ответила: «Было свидание с родными, этап, наверное, завтра».

На другое утро, сразу после оправки, открылась дверь нашей камеры.

— Олицкая, к следователю!

— Зачем еще? — удивилась я. Накинув жакет, я вышла. Далеко идти мне не пришлось. Всего две или три двери миновали мы, и меня завели в камеру. В ней за столиком сидели врачи в белых халатах.

— На что жалуетесь?

— Я не записывалась к врачу, — сказала я, — здесь какая-то ошибка, я ни на что не жалуюсь.

— Разденьтесь, я выслушаю вас, — сказал врач. Пожав плечами, я сняла жакет и блузку. Буквально на одну секунду приложил врач трубку к моей груди.

— Здорова, можете одеваться.

«Что за комедия?» — подумала я, и тут же мелькнула мысль. «Медосмотр перед этапом».

В камере я даже не успела рассказать про медосмотр, как снова открылась дверь.

— Олицкая, к следователю!

Теперь мне пришлось идти долго коридором, лестницей вниз. Это не была дорога к следователю, которую я хорошо запомнила.

Наконец, я очутилась в большой и совершенно пустой комнате. Приведший меня надзиратель указал рукой в угол:

— Получите ваш чемодан.

Я повела глазами за его рукой. В углу комнаты стоял большой папин чемодан. На нем мелом большими буквами написано: ЧЕМОДАН ОЛИЦКОЙ. Я поняла, меня вызвали на этап.

— Мне еще надо вернуться в камеру, у меня там вещи остались.

— Принесли, — буркнул надзиратель.

Вера, милая Вера, нам даже не дали проститься.

Маленькая, худенькая женщина уже суежилась около меня.

— Разденьтесь. Да нет, совсем разденьтесь, до сорочки, и чулки снимите.

Чужие противные руки скользили по моему телу вниз к ступеням ног.

— Рот откройте. Распустите волосы. Можете одеваться.

Прощупывая каждую штуку белья по всем швам, подавала женщина мне их одну за другой.

Какая грязная, какая отвратительная профессия... Что ищут они в складках человеческого тела?

Едва я оделась, как в комнату вошел надзиратель и бросил на мой чемодан узелок с вещами, оставленными в камере. Оглянулся на женщину.

— Все, — сказала она.

Тогда он подхватил мой чемодан.

— Берите узелок, пойдемте.

И снова шли мы по коридорам, снова спускались по лестницам... Товарищи

Мы вошли теперь в огромную светлую комнату. Посередине ее стоял длинный стол. Рядом с ним надзиратель поставил мой чемодан, на стол я положила узелок.

Почему-то теперь, когда я понимала, что меня готовят к этапу, меня больше всего смущала моя шляпа, черная, газовая, как носили в то время, с большими полями. Куда ее деть? Не могу же я и в тюремный этап идти в такой шляпе! Вслед за мной в помещение, где составлялся этап, привели девушку, которая сперва показалась мне школьницей. На ней было темнокоричневое, почти форменное платье, которое едва прикрывало колени. На ногах ее были коричневые чулки и мягкие без каблуков туфли. Русые, растрепавшиеся слегка волосы спускались на плечи и были перевязаны большим черным бантом.

Она не была красива, но высокий матовый лоб и огромные серые глаза создавали впечатление исключительной чистоты и прелести. Лицо ее было очень, очень бледно. Я сразу догадалась — Сима.

— Катя... — чуть вопросительно сказала она — вот мы и вместе. Как я рада, что вы едете, что я не одна среди уголовных.

Мы крепко пожали друг другу руки.

— А как вы ехали сюда?

— Ну, сюда я ехала спецконвоем. Я все расскажу вам и про Соловки.

Дверь снова отворилась, в нее впустили целую группу заключенных, 4-х мужчин и одну женщину.

— Симочка! — воскликнула женщина и заключила Симу в объятия. Мужчины тоже окружили Симу, жали ей руки.

А дверь открылась опять. Одного за другим приводили мужчин. Один из них сразу присоединился к группе возле Симы. Другие два остановились возле меня. Мы познакомились. Один оказался с.-д. — ком, второй, к моему ужасу, тем самым студентом Киселевым, чью листовку показывал мне следователь. Как-то невольно заговорила я о ней. Сбивчиво начал объяснять Киселев, что это вовсе не была листовка, что это он для себя набросал свои мысли, вернувшись домой со студенческого собрания.

«Хрен редьки не слаще, — думала я, — хорошенькие юдофобские мысли про себя». К счастью, Сима обернулась ко мне.

— Это тоже наш товарищ и тоже едет на Соловки. Знакомьтесь.

— Это все наши товарищи, Катя. Александра Ипполитовна Шестневская, отделившись от группы мужчин, подошла ко мне.

— Вы первый раз арестованы и вот так идете в этап?

Я покраснела до ушей. На мне был черный шерстяной костюм, в котором меня арестовали, белая маркизетовая блузка с короткими рукавами и проклятая газовая шляпа с широкими полями.

— Ну, ничего, мы что-нибудь придумаем. В этап шерстяной костюм просто жалко. А в шляпе будет неудобно. Нужна косынка, а то волосы от грязи совсем пропадут.

Я указала рукой на мой чемодан. — Может быть там, в моих вещах...

— Ну и отлично. Что-нибудь подберем! Шестневская была лет на 7 старше нас с Симой. Светлая блондинка с карими глазами и правильными чертами лица, она была явно очень возбуждена. Она без конца говорила. Сима мне нравилась больше. Но она была с другими, а Александра Ипполитовна занялась мною.

— Наша группа, пять человек эсеров, едет из Вятской ссылки. В ссылке была большая колония ссыльных, с работой было трудно, и мы решили организовать кассу взаимопомощи ссыльных. Высокий пожилой мужчина — Студенецкий, а молодой красивый паренек — Никола Замятин. Вот тот маленький, полный — Иван Юлианович Примаков. Это чудесный,

замечательный человек! Рядом с ним Волк-Штоцкий. Этот совсем больной, у него туберкулез, как он будет жить на Соловках, не знаю. Есть у вас знакомые на Соловках?

— Нет, я там никого не знаю.

— Там, конечно, замечательные люди! Но в Вятке состав был сильнее. Один Рихтер... изумительный человек! Жаль, что вы не попали в Вятку. Хотя, может быть, и всю ссылку разбросают.

Взволнованность и возбуждение слышались в ее словах, в их торопливости.

Между Симой и группой мужчин шла речь о Стружинском. Я слышала уже о нем и его двух товарищах, фамилии которых я не помню. Они прибегли к самосожжению. Забаррикадировав дверь камеры и облив матрасы керосином, подожгли их. Они лежали в Вятской больнице. Товарищи говорили, что есть надежда спасения их жизни.

Товарищи оживленно разговаривали, когда раздался окрик надзора:

— Женщины, с вещами выходи! Мы вздрогнули. Нам не хотелось отделяться от мужчин.

— Почему это? Как же это? — сказала Александра Ипполитовна, — ведь все мы идем на Соловки; общим этапом. Сюда тоже шли все вместе. Я не пойду.

Студенецкий, он был старшим по группе, предложил надзирателю вызвать старшего по корпусу.

— Наши женщины всегда идут этапом вместе с нами. Едем мы в один и тот же лагерь. Почему вы вдруг отделяете женщин?

— Следуете вместе, значит будете вместе. Сейчас подчиняйтесь команде. Женщины без вещей выходи! Мужчины, берите вещи женщин и свои, стройтесь!

Сима и я угрюмо двинулись к выходу. Александра Ипполитовна с полными слез глазами пошла за нами.

— Зачем она плачет? — шепнула мне Сима. — Разве при них можно плакать?

Я не все принимала в Александре Ипполитовне. Но многое, очень многое можно и должно было ей простить. Молодая женщина, женщина с головы до ног, со всеми женскими качествами и недостатками, красивая, заботливая, добрая, с ярко выраженным инстинктом материнства, неведомыми мне путями пришла она в партию. Но пришедши в нее, никогда не поколебалась, не отступила. Первый раз она была арестована на 8-ом месяце беременности. Всю оставшуюся беременность провела она в Бутырской тюрьме. В тюремной больнице родила она сына. Вместе с ребенком в этапном порядке ее направили в ссылку. В этапе ребенок умер. В пятой ссылке Александра

Ипполитовна забеременела вторично. Беременную, ее снова бросили в тюрьму и в этап. В этапе произошел выкидыш. Еще не вполне оправившуюся, ее везли этапом на Соловки. Она крепилась, она держалась. Только бы не отстать от товарищей, не остаться одной. С болью смотрели на нее наши товарищи, мужчины.

— Александра Ипполитовна, в вагоне мы добьемся соединения! — крикнул ей вслед Примак.

Во дворе внутренней тюрьмы стоял, готовый принять нас, «черный ворон». Мы, трое, зашли в него, двери захлопнулись, зашумел мотор... Последний слепой рейс по московским улицам... Мы молчали. Александра Ипполитовна кусала губы, но слезы текли по ее щеке.

Когда «черный ворон» остановился, нас вывели из него. Прямо перед нами оказались открытые двери столыпинского вагона, загнанного на запасные пути. Вагон был пуст. Только конвой. Он пропустил нас мимо себя, загнал в одну клетку и запер ее дверь. В клетке, рассчитанной на восемь человек, нас было только трое. Минут через пятнадцать за стенами вагона послышался шум подъезжающих машин. Двери вагона открылись, началась погрузка мужчин. Их было много, очень много. Оборванные, заросшие, проходили они мимо решетки нашей двери и заполняли одну клетку за другой. В нашей клетке было много свободных мест. Мужчин набивали, как сельдей в бочку. Последними грузились наши товарищи. Их всех загнали в одну клетку. Проходя мимо нас, Студенецкий сказал:

— Ваши и наши вещи погружены в тамбур вагона. В вагоне надзор разрешил нам и нашим мужчинам, то есть политическим, обмениваться куревом и продовольствием. У Симы была огромная корзина всякой снеди, переданная ее родителями. Сима к еде не прикасалась. Зато мы, особенно мужчины, отдавали ей должное.

С Симой, моей ровесницей, я очень сдружилась. Она привлекала меня своей жизнерадостностью, простотой, начитанностью. Подробно рассказывать о Соловках она отказалась.

— Вы же сами едете туда, сами все увидите, во всем разберетесь. Я не хочу говорить, может быть, это только мое предвзятое мнение.

Александра Ипполитовна, горевавшая о вятской ссылке, смотрела на будущую жизнь на Соловках очень мрачно. Она допытывалась у Симы о подробностях расстрела 19 декабря. Сима молчала.

Я чувствовала, что Сима рвется на Соловки, мечтает о них,

считает дни этапа. Сперва я недоумевала, а потом поняла, там же остались ее друзья, а может быть, любимый человек. Сима тревожилась за них. Она мне говорила, что в тюрьме отошла от политики, что не она ее сейчас интересует, что ни к чему заниматься политикой в тюрьме. Сейчас она была увлечена занятиями по философии.

— На Соловках есть замечательные люди, — говорила мне Сима, — Гольд, Иванов, Гальфготт. Это изумительные люди! Гольд занимался со мной по философии. Мы проработали Маха, Авенариуса... Сейчас мы продолжим рассмотрение философии Беркли.

О внешней жизни Соловков Сима говорила охотно. От нее я узнала, что политзаключенных в 23-ем году перевезли из Петроминска на Соловки. На Соловках бывшее монастырское хозяйство было ликвидировано. На главном острове на берегу моря, в кремле, разместилось управление лагеря, заключенные — уголовники и «каэры» (контрреволюционеры). Заключенные свободно передвигаются по всему острову, но содержатся в очень тяжелых условиях. Скученность, тяжелые работы, плохое питание, произвол администрации...

Всех политических, то есть социал-демократов, эсеров и анархистов держат отдельно, изолированно, в глубине острова, в бывших скитах. Там создано для них за колючей проволокой заключение, так называемый «политрежим».

Сперва для политзаключенных были отведены два скита — Савватьевский и Муксолмский. Сейчас по мере увеличения числа заключенных, организуется третий — Анзерский. Выход за колючую проволоку не разрешен. Вдоль ограды вышки с часовыми. За ней надзора нет. Раз в неделю приходит надзор с проверкой. Всей жизнью в зоне ведает старостат, выбранный заключенными. Каждая фракция имеет своего старосту. Переговоры с администрацией тюрьмы ведут только старосты. В скитах самообслуживание. Сами заключенные топят печи, варят еду, убирают помещение, стирают белье. Для этого из заключенных созданы рабочие бригады. Вся соловецкая администрация состоит из осужденных, проштрафившихся коммунистов-чекистов и пр. Условия очень тяжелы из-за того, что на полгода Соловки бывают отрезаны от материка. Только изредка поморам удастся пробиться на своих лодочках. Ни почты, ни газет. Заключенные чувствуют себя полностью во власти местной администрации.

— Вся наша жизнь, — говорит Сима, — окрашена этим. Окрашена борьбой за сохранение режима, который существует, «политрежима». У нас довольно хорошая своя библиотека,

составленная из личных книг заключенных, организована школа для повышения знаний, существуют кружки для занятий по различным вопросам. Иногда читаются доклады и лекции. Есть любительский кружок, ставящий спектакли. Вот это все — свою внутреннюю независимость — мы и отстаиваем в своей тюремной борьбе. Выходит у нас наш тюремный журнал «Сполохи». В нем есть целый ряд статей, освещающих события 19 декабря. Нового представления о Соловках у меня не получалось, разговор наш перескакивал с темы на тему, велся урывками. Александра Ипполитовна рассказала мне о Примаке.

Пятнадцатилетним юношей принял Примак участие в подготовляемом террористическом акте, был арестован и приговорен к повешению. Как подростку, не достигшему еще совершеннолетия, смертная казнь была заменена пожизненным заключением в крепость. Пятнадцать лет провел он в одиночном заключении, кажется, Орловского централа. Освободила его Февральская революция 1917 года. Сесть пятнадцати лет, выйти на волю тридцати...

С грустной улыбкой он рассказывал, что когда его вызвали в тюремную контору, сообщили об освобождении и выдали чемоданчик с его личными вещами, он, не веря ни во что, спешил выбраться из стен тюрьмы. Неуверенно, прижимаясь к стенам домов, спешил он уйти как можно дальше от тюрьмы. Он не верил в свободу, он разучился общаться с людьми. Вышел он из тюрьмы с совершенно разрушенным здоровьем.

— Он и сейчас весь больной, — говорила Александра Ипполитовна, — и такого везут на Соловки.

Я слушала Александру Ипполитовну и передо мной вставал образ Примака. Невысокая обрюзгшая фигура с серым, одутловатым лицом, с большими серыми ласковыми глазами и суровой складкой между бровей...

На Ленинградском вокзале нас снова разлучили с нашими мужчинами. Из «ворона» нас высадили у ворот женской пересыльной тюрьмы. В этой тюрьме мы должны были дожидаться этапа на Соловки. В Ленинградской пересылке

Нравы ленинградской пересыльной тюрьмы были совсем отличны от режима внутренней Лубянской тюрьмы. Никаких выводов из камер не полагалось. Уборная и раковина для умывания находились тут же, в камере, за ширмой. От заключенных требовался образцовый порядок в камерах. Доблеска должен был быть начищен кран, большой медный чайник, миски. Но утомленные вынужденным бездействием заключенные сами с остервенением натирали посуду и мыли полы.

Поразила нас старушка-надзирательница, часто заходившая к нам в камеры и делившаяся с нами своими наблюдениями. Тринадцать лет работала она в этой женской пересыльной тюрьме.

— Вы-то все молодые, — говорила она, — вас я раньше не встречала, а пришлось мне и своих прежних арестанток повидать. При царе сидели и опять сидят. И хорошие женщины, и чего им только надо. Уголовных я не люблю, позорные они. С ними я очень строгая.

В камере, кроме нас троих, не было никого. К нам старушка относилась изумительно. Она приносила нам из дому иголки, нитки для вышивания, крючок и спицы для вязания. Александра Ипполитовна чувствовала себя в этой тюрьме очень хорошо. Она отдыхала от этапа, продланного от Вятки. Кругом было светло и чисто. Она разбирала свои вещи, показывала нам свои платья, вышивки, изящные женские рукоделия.

Я, наконец, тоже смогла открыть свой чемодан. И смех, и слезы!.. Много веселья вызвали у нас вещи, которые Аня собрала для меня, арестантки, идущей этапом на Соловки: белое маркизетовое платье, платье из черной шерстяной вуали, белая пикейная юбка, маркизетовая блузочка цвета морской волны.

Зная свой гардероб, я просила сестру сшить мне простое синее платье для этапа. Я нашла синее платье, то, про которое мне Аня на свидании сказала — «сшила тебе Клава»... Боже мой! Оно оказалось японкой, с открытым воротом, с незашитыми до талии, как тогда носили, рукавами.

Тут были и духи, и пудра, которые я на воле не употребляла... Сима была в восторге. Она уверяла, что все это незаменимые вещи для драмкружка на Соловках:

— Если бы вы знали, Катя, какие мы ставим спектакли! У нас есть два замечательных художника, Леонид Касаткин и Энсельд. Энсельд, собственно, не наш, не политический, он просто эстонский художник. Он ехал из Эстонии в Ленинград, и его попросили отвезти письмо от Чернова к его детям. При аресте нашли это письмо. От него требовали на допросе сказать, как попало к нему это письмо и кому он должен был передать его. Энсельд ответил, что он честный человек и ничего не скажет. В результате ему дали три года Соловков. Политические с большим трудом добились помещения Энсельда в скит. Так и живет он при коллективе, не входя ни в какую фракцию. Политикой не интересуется, рисует.

Александра Ипполитовна сразу же вооружилась иглой, приспособлять мои одежонки к нашему образу жизни. К счастью, по папиному настоянию, в чемодан был положен полушубок

брата, сослуживший мне большую службу и как одежда, и как подстилка на тюремных полах и нарах.

Неделю провели мы в ленинградской пересылке. Сима все время болела желудком, ото дня ко дню температура поднималась. Лицо ее горело, но она категорически отказывалась обратиться к тюремному врачу. Она боялась, что ее отставят от этапа. Выручила ее Александра Ипполитовна. Она вызвалась к врачу, представилась больной, принесла в камеру целую бутылку касторки. Мы смеялись, приняла касторку Сима, но будь уборная вне камеры, выпускали бы на opravку вне очереди больную Шестневскую! Стычки с конвоем на этапе

Когда нас на «вороне» привезли вновь на вокзал и погрузили в вагон, мы, проходя по коридору столыпинского вагона, в одной из клеток увидели наших мужчин. И они приветствовали нас радостными возгласами. Александра Ипполитовна хотела на минуту задержаться у решетки их двери, но конвоир с грубым окриком затолкнул ее в соседнюю клетку. С криком затолкнул он и меня, и Симу туда же.

В отделении мужчин начался шум, крики.

— Не смейте рукоприкладствовать, не трогайте женщин! Вызывайте старшего по конвою!

Мы кричали мужчинам, чтобы они не волновались, мы боялись за них, но наш крик тонул в общем гаме.

Через пятнадцать минут явился начальник конвоя.

— Кто меня вызывал? Что за крики? В карцер захотели? Ему отвечал староста Студенецкий.

— Мы требуем, чтобы ваши конвоиры не распускали рук. Вы везете политических и, если не хотите конфликтов, извольте соблюдать вами же установленные правила.

— Что здесь произошло? — сразу же изменил тон старший.

— Об этом пусть вам доложат ваши подчиненные. А мы вас просим приказать им соблюдать правила. Или в правилах ваших разрешается рукоприкладство? Царский конвой держался приличнее.

Высокий, седой, давно не бритый Студенецкий по одну сторону решетки, молоденький, подтянутый чекист — по другую. Они как бы меряли глазами друг друга.

— Я проверю все, но арестантов прошу подчиняться всем распоряжениям конвоя.

— Не всем, — перебил его Студенецкий, — всем законным требованиям. А вы извольте дисциплинировать конвой. Вы ответите еще за избиение ленинградских студентов прошлого этапа.

Избиение?.. Это ошеломило нас. Когда? Кого? О чем говорят

мужчины? Через несколько минут после ухода старшего мы получили записочку от товарищей.

Под шум и крики они провертели дырочку из своей клетки в нашу и просунули через нее нитку. По ней продергивалась записка от них к нам и обратно.

Этап, прошедший неделю назад, вез на Соловки группу ленинградской студенческой молодежи. Молодежь запела революционные песни. Как развернулись в вагоне события, мужчины не знали, но в пересыльной тюрьме им рассказали, что в вагоне были выбиты стекла. Очевидно, было какое-то столкновение с конвоем. Кого-то из заключенных ранили до крови. Уголовные, мывшие вагон, смывали кровь.

Нам товарищи предлагали проявлять как можно больше выдержки, не дать возможности конвою спровоцировать нас на инцидент. Но поведение конвоя изменилось. Нас по первому требованию выпускали в уборную, снабжали водой, даже разрешали стоять в коридоре вагона, смотреть в окна. Между нами и мужчинами все время шла переписка. А конвой безотказно передавал от них к нам и обратно папиросы, спички, продукты.

И все-таки, после столкновения с конвоем мы все ощущали, что Россия остается позади. Мы покинули Ленинград, мы в руках соловецкого конвоя, в преддверии Соловков.

Не веселила и природа за окнами. Тундра, мох, жалкая травка, кое-где кустарники, кое-где кривая низкорослая березка... Болотистая равнина, серое небо, тундра... О такой учила я в географии.

Мы ехали на Архангельск через Кемь, здесь материк соединялся дамбой с Поповым островом. На Поповом острове

На станции Кемь наши арестантские вагоны придвинули вплотную к дамбе. Началась выгрузка арестантов. Нас, политических, выгрузили в последнюю очередь. Впереди стояла длинная колонна заключенных, нас, по сравнению с уголовными, была ничтожная горстка, десять мужчин и три женщины. По пять человек в ряд выстроилась колонна. За уголовниками шли наши мужчины, заключали строй мы, женщины. Началась перекличка. Поименная. Поштучная. Каждая пятерка выходила на пять шагов вперед. Этапный конвой сдавал этап, конвою перепункта Попова острова.

Вдоль всего строя и всей дамбы стоял конвой с ружьями наперевес. Медленно, пятерка за пятеркой, двигался строй заключенных по дамбе к воротам, расположенным на другом ее конце, при входе на остров.

Дамба представляла собой земляную насыпь с настилом из

досок. О насыпь били волны Белого моря. Островок был маленьким клочком серой земли, виднелись крыши приземистых деревянных бараков, вытянувшихся в одну линию. А вокруг необозримый водный простор.

Сима восторженно говорила о Соловках, о их природе, о чудесных лесах. Трудно было поверить ей, глядя на этот клочок земли.

Только колючая проволока ограждала остров, да ворота у дамбы. За воротами шел тот же деревянный настил. Земля была кочковатой, топкой. В четырех местах на высоких столбах возвышались вышки часовых.

В ворота сперва пропустили уголовных, за ними прошли наши мужчины со своими и нашими вещами. Когда мужчины скрылись в одном из бараков в конце острова, пропустили и нас.

Ни деревца, ни кустика. Только у самых бараков поселка редкая травка. Мне она напомнила пасхальное блюдо с всходами овса, на которое укладывались крашеные яички. Только реденьким и

6. ВЕРХНЕ-УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТИЗОЛЯТОР

Из тюрьмы вышла администрация принимать этап. Принимал его начальник тюрьмы Дуппер, сдавало начальство этапного конвоя.

Нас выстроили по пять человек в ряд. Пересчитали пятерки. Но когда началась поименная перекличка, Раснер, стоявший в первом ряду, выступил вперед и сказал:

— Поименную перекличку и развод по камерам мы просим производить только с участием старосты. Только по его вызову будут выходить эки.

— Никаких старост! Здесь не Соловки. И не лагерь. Я сдаю этап начальнику Верхне-Уральского политизолятора.

Ягода прочел первую фамилию.

В рядах эзков царило спокойное молчание. Неоднократно повторяли Ягода и Дуппер, что требование признать старостат безнадежно. Напрасно зачитывали они то одну, то другую фамилию. Строй арестантов молчал. Краснея от гнева и не зная, что предпринять, Ягода почти крикнул угрожающим голосом:

— Первая пятерка, шагом марш!

Первая пятерка двинулась вперед и зашла в здание тюрьмы. Опять попытался Ягода называть эзков по фамилиям. Никто не отзывался. Тогда он стал вызывать по пятеркам...

Никогда раньше, никогда позже не слышала я о приеме этапа без поименной переклички. Очередь приближалась к нам с Шурой. Мы стояли в одной пятерке и думали, что зайдем в тюрьму вместе.

Но раздалась новая команда:

— Женщины, выходи вперед!

Снова разлучались мы с Шурой.

— Мы будем вместе, — спешно сказал он мне, — хотя бы на одной прогулке. Я кивнула головой и выступила из своего ряда вперед.

В нашем этапе было всего около двадцати жен-шин. Всех нас завели в тюрьму сразу.

Войдя в тюрьму, мы попали в огромное полутемное помещение. Все оно было заставлено длинными столами, заваленными бумагами, папками, делами. За столами сидели работники тюремной конторы. За одним из столов сидел человек в военной форме.

— По одной подходить.

Я первой отделилась от группы товаров.

— Ваша фамилия? Я молчала.

— Вы слышите меня? Назовите свою фамилию, а то хуже будет!

— Староста знает мою фамилию, — ответила я.

— Вещи свои получать будете? — последовал вопрос.

— Когда староста скажет, буду получать. Сидевшие за столом сотрудники перебирали папки с делами. «Ведь при каждом деле есть фотокарточка», — подумала я.

— Перевести в камеру № 7.

От группы надзирателей отделился маленький, коренастый, совсем молодой. Молча указал он мне направление. Я оглянулась на товаров, кивнула им и пошла к двери. От двери шел широкий, длинный, сводчатый коридор. Под ногами цементный пол. За коридором поднималась лестница.

Я отсчитывала повороты и этажи. Первый... второй... третий... Площадка лестницы уперлась в большую, окованную железом дверь. В двери окошечко глазка. Дверь открылась, за нею стоял надзиратель. И снова — коридор. С обеих сторон его — двери камер. Коридор не был сквозным. Он был поделен на части. Каждая часть отделена окованными дверьми, у каждой двери — надзиратель. Каждая дверь — на замке.

Мы свернули направо. Теперь двери камер шли только с одной стороны. С другой — высокие зарешеченные окна.

Я не успела оглядеться — третья дверь по коридору под номером 7. Надзиратель повернул ключ в замке. Я вошла в камеру.

Переступив порог, я остановилась, пораженная. Прямо передо мною, против двери огромное окно. Конечно, оно зарешеченное, но трехстворчатое, выше человеческого роста, метра полтора в ширину. Сколько света лилось в камеру!

Камера высокая, побеленная. Восемь шагов в длину, шесть — в ширину. Вдоль стен два деревянных топчана, небольшой столик, один табурет. В углу, конечно, параша. На двери — правила внутреннего распорядка, такие же, как во внутренней тюрьме.

«Эх, — мелькнуло у меня в голове, — Шуру бы сюда, на второй топчан». Больше я не успела ни о чем подумать. В соседней камере щелкнул замок. А через какую-нибудь минуту я услышала женский голос. Я бросилась к окну, стремительно дернула створку. Она послушно открылась.

— Кто в пятой камере? — крикнула я в окно. — Наташа Изгодина, анархистка с Муксолмы, а вы?

— Олицкая Катя, эсерка с Савватия.

- Вещей не брали?
- Нет.
- Фамилии не называли?
- Конечно, нет.
- Кто рядом с вами?
- Пока никого.

Откуда-то издали послышался женский голос. Звучал он тихо. Мы не могли различить слов. Окно моей камеры выходило в небольшой, окруженный стенами дворик. Напротив, метрах в восьми, высилось красное кирпичное здание. Стена была глухая, без окон. Только в первом этаже прорезана входная дверь. За каменными кирпичными стенами забора, окружавшими дворик, видны были еще дворики, поросшие высокой травой. Их всех окружала высокая тюремная стена. По углам, как полагается, вышки часовых.

Из моего окна видны были два дворика. Очевидно, прогулочные дворы. Тогда можно будет видеть гуляющих, подумалось мне.

Опять провели кого-то по коридору. Открылась дверь камеры № 3.

Первая створка окна забита гвоздями, но открывается. Я стучу в стену, узнаю — соседок две — Катя и Люся. Обе с Муксолмы. Передаю о них через окно Наташе. Потом Катя с Люсей передают, что во второй камере Шура С., студентка из Ленинграда. Ее камера — крайняя. Значит, наши камеры все женские. Верхние и нижние этажи пока молчат. Наташа говорит в окно:

— Может, и все крыло женское? В ее голосе огорчение. Мы строим уже планы, как связаться с мужчинами.

Я начинаю гадать, кого же из женщин приведут ко мне. Раздумья прерывает звук ключа, вкладываемого в скважину моей двери. Я ожидаю появления маленькой женской фигуры... А через порог переступает Шура, такой высокий, такой долговязый... Ошеломленная, я невольно отступаю назад. А Шура стремительно подходит ко мне.

— Что с тобой, Катя?

Но со мной уже ничего. Только Шура уверяет, что при его появлении на моем лице отразился ужас.

Шура знал, что его ведут ко мне. Когда на приеме он отказался назвать фамилию, начальник с насмешкой сказал:

— Ведите к жене, в седьмую камеру. Что будет? Как будет?.. А пока нам радостно вдвоем в пустой тюремной камере. Мы грязные, голодные, оборванные, но мы — вместе.

Я рассказываю Шуре о наших соседях. Шура знает Наташу и

ее мужа, Юру. Его, очевидно, приведут к ней. Я вызываю Наташу к окну, но вместо нее отзывается мужской голос. Я ошеломлена, а Шура, перегибаясь через мое плечо, кричит:

— Юрка, здорово!

Шура очень доволен соседством Юры и Наташи. Он рассказывает мне о них. Оба они с Полтавщины. Анархисты, хорошие ребята. Наташе — 19 лет. Юра чуть старше. Нас вызывают к стене. Во вторую камеру к студентке-ленинградке привели ее бывшего мужа. Она с ним разошлась за месяц до ареста. Она не хочет сидеть с ним в одной камере. Называть фамилий нельзя. Что делать?

В корпусе тишина. Изредка щелкает глазок двери. Теперь, когда мы вдвоем, он нас особенно коробит. Мы — вдвоем, мы — наедине, и в то же время под вечным наблюдением человеческого глаза. Забегали надзиратели, защелкали форточки.

— Личные вещи получать будете? Из всех камер один ответ.

— Вез разрешения старосты — не будем. Примерно через полчаса новый вопрос.

— В баню пойдете?

— Без мыла, без полотенец, без белья в баню идти не можем.

Может быть, через час мы услышали — идет обход. Открываются двери камер. Когда очередь дошла до нашей, мы увидели человека в белом халате, не то врача, не то фельдшера.

— Согласно тюремным правилам, мы не можем принять этап, не пропустив его через баню. Тюрьма казенным бельем не обеспечена. Получайте личные вещи и идите в баню. Возможны инфекционные заболевания. Администрация тюрьмы не может отвечать за эпидемии, — говорит он каким-то скучающим голосом. Очевидно, ему надоело говорить это по всем камерам.

— Не пойдём, — отвечает Шура.

Дверь за посетителем закрывается. Мы с Шурой переживаем разговор с врачом, но форточка опять щелкает.

— На прогулку пойдете?

Мы устали, но разве можно отказаться от прогулки в новой тюрьме!..

— Конечно, пойдём!

Мы слышали, с тем же вопросом надзор обращался к соседней камере. И загремели открываемые двери. Мы выходим в коридор. Прогулка общая для крыла. Юра, Наташа, Катя, Люся, Шура С. с мужем и я с Шурой. Мы спускаемся с лестницы и выходим во дворик перед нашими окнами. Пересекаем его и выходим на прогулочный двор. Он большой и весь зарос высокой зеленой травой. Никто не ходил здесь до нас — ни тропинки, ни дорожки. Жаль топтать эту траву, но что поделаешь! Мы гурьбой

выходим на середину двора.

— Полтора часа прогулки, — говорит нам вслед надзиратель и вешает на стену песочные часы.

Кружком садимся мы среди двора на траву. Нам видны тюремные окна нашего крыла и продольного крыла второго и третьего этажей. Мы болтаем, а будущее — в тумане, мы устали.

— Наташа, спойте что-нибудь, — говорит Шура.

У Наташи чудесный голос. Она поет гимн анархистов. В окнах корпуса появляются люди. Они приветственно машут нам платками. Узнать издали мы никого не можем. Все равно, это — наши товарищи. Мы машем им в ответ.

Спокойно ходивший вдоль забора надзиратель явно обеспокоен. Очевидно, у него нет инструкции в отношении пения. Он нажимает кнопку звонка. На вызов приходит старший. Пошептавшись между собой, они сообщают: «Прогулка окончена».

Едва мы зашли с Шурой в свою камеру, как услышали голоса и шаги под окнами. Подойдя к окнам, мы увидели, что через дворик проходит группа наших товарищей, человек пятнадцать. Все они шли с прогулочного двора, расположенного против нашего.

— Шолом! — кричит Шура в окно. Шолом поднимает голову.

— Шура! Катя! С новосельем!

Шолом всегда шутит. Но, Боже мой, какие они все оборванные, грязные! Брюки — сплошная бахрама.

Гулявшие зашли через те же двери тюрьмы, через которые выпускали нас. И через минуту мы слышали топот ног по нашему коридору. Товарищи возвращались с прогулки мимо нашей камеры. У дверей нашей камеры Шолом громко сказал:

— Привет, Шура, Катя!

— Привет! Привет! — закричали мы в ответ.

Ура! С первых же часов жизни стены камер раздвинулись!

Вечером, во время оправки, мы познакомились с нашей уборной. Уборная играет большую роль в жизни эков. В нее водят эков из многих камер. Через нее поддерживаются связи с камерами соседнего коридора, с верхними и нижними этажами. Уборные подвергаются систематическим и самым тщательным обыскам, но эзки изощряются и почти всегда умеют перехитрить администрацию тюрьмы. От осторожности эков зависит продолжительность связи.

Год провела я в Верхне-Уральском политизоляторе. С самых первых дней нами были созданы два места для переписки, то есть два почтовых ящика. Оба места продержались до моего отъезда. Но сделаны они были замечательно!

На второй или третий день Шолом, идя на прогулку, бросил в

нашу камеру хлебный шарик. В нем оказалась тоненькая проволочка со спичку длиной, кончик ее был загнут, как крючок. Это был ключ.

Вечером по ниточке через окно с верхнего этажа нам спустили записку. В ней дано было указание, как пользоваться ключом.

В уборной в деревянной кошелке для полотенец и в деревянном..... (пропущена строка. — Прим. перепечатавающего). В древесном сучке — щель, в нее закладывается ключ. Затем, после поворота, ключ поднимает сучок, как пробку. Под сучком была высверлена дыра, в которую входила записка, туго скрученная, по длине и ширине равная мундштуку папиросы.

Обычно, почту нашей прогулки отправлял и принимал Шура. Всего два раза заменяла его я. Даже зная, где искать и что искать, я еле высмотрела нужный сучок и щель в нем.

Ну и берегли же мы эти два места! Вся личная корреспонденция эков шла иными путями. По этим — шла только связь со старостой.

Третий день сидели мы в своих камерах — грязные, без постельных принадлежностей, без вещей и книг. Мы получали ежедневно еду. После соловецкого питания, она нам казалась очень вкусной. В нее входила картошка, свежие овощи, лук. Суп варили из свежего мяса, которого мы на Соловках не видели. Дни чередовались. Один был мясной, другой — рыбный.

Мы получали прогулку два раза в день. Полтора часа до обеда и полтора часа после обеда. Два раза в день, утром и вечером, нас выпускали на opravку в уборную. Остальное время мы проводили в камерах под замком.

Конечно, нам было очень тоскливо без книг, очень трудно без вещей: ни мыла, ни полотенца, ни белья, ни постельных принадлежностей. Месяц не мылись мы, месяц не меняли белья. Особенно трудно было женщинам.

На четвертый день с обходом по камерам пошел начальник тюрьмы. Мы вежливо здоровались с ним, но на его вопрос, нет ли у нас заявлений или вопросов к нему, заявляли, что все заявления и вопросы эков перед ним поставит наш староста. Самым мучительным для нас был вопрос почтовый. Больше месяца не писали мы родным. А начальник уведомлял:

— Почта принимается раз в декаду, в день обхода начальником камер. Сегодня до вечерней поверки можете сдавать письма дежурному по корпусу.

В тот же день вечером после поверки, когда все прогулки окончились, во двореике под окнами нашей камеры раздались

шаги, послышались голоса. Мы выглянули в окно. Целая группа наших товарищей со свертками белья под мышками шла в баню. Среди них был наш староста Раснер, он кричал:

— Товарищи, получайте вещи, идите в баню! Подробности сообщу позже!

Партия арестантов вошла в двери здания, расположенного перед нашими окнами. Как удачно, каждые десять дней мы с Шурой можем видеть всех эзков, проходящих мимо наших окон.

Как только двери здания закрылись, мы с Шурой принялись передавать камерам:

— Староста договорился. Товарищи, принимайте вещи, собирайтесь в баню!

И уже вызывали надзор, требовали вещи, надзор ворчал:

— То отказывались, теперь всем подавай. Получите в порядке очереди.

Всю ночь и весь следующий день мыли людей в бане. Мы не отходили от окон, караулили. Не с одной партией обменялись мы приветствиями! На следующий день мы получили подробную информацию от старосты. Неофициально, но фактически староста был признан. Начальник вел переговоры с Раснером по всем вопросам жизни коллектива. Он сказал, что не допустит обхода камер старостой, будет пресекать связь между камерами разных прогулок, но сам добавил, что ему ясно, что эки всеми силами будут поддерживать эту связь. Чья возьмет. Начальник разрешил перевод денег со счета на счет заключенными на одной прогулке. Перевод денег с прогулки на прогулку разрешается по письменному заявлению, поданному ему во время обхода. Книги, газеты, журналы разрешается передавать с прогулки на прогулку только через библиотекаря тюрьмы. Передача продуктов, вещей — с особого разрешения начальника.

Раснер уведомил начальника тюрьмы, что по всем вопросам нашей жизни переговоры сейчас и впредь будет вести только он. В случае каких-либо сообщений или требований к экам опять-таки надо обращаться только к нему. По личным вопросам эки будут говорить сами с начальником тюрьмы во время обхода.

Староста прислал нам инструкцию распорядка нашей жизни: «Каждая прогулка выбирает ответственное по прогулке лицо, которое держит связь со старостой, ведет учет всех денежных средств эзков на прогулке. Староста сообщает ему, какую сумму может израсходовать на себя каждый здоровый и каждый больной. О состоянии здоровья всех эзков сообщается старосте. Староста пришлет указания, какие газеты и журналы выписывает каждая прогулка. Все продуктовые посылки, получаемые эками прогулки, делятся между ее членами с учетом больных. В случае

надобности перевода денег с прогулки на прогулку перевод будет делаться через начальника тюрьмы».

После получения личных вещей, бани, обхода библиотекаря началась наша повседневная верхнеуральская жизнь.

Тюремный паек был совершенно терпимым. Деньги, которыми мы располагали, уходили, главным образом, на выпуск газет, журналов, на почтовые расходы. В основном, прикупали спички, махорку, хлеб. Летом — овощи: огурцы, морковь... Борьба за права

Верхне-Уральская тюрьма открылась нами. Она не была обжита ни эками, ни надзором. В ней не было никаких традиций.

Традиции мы привезли с Соловков. Надзор был еще дезориентирован. Его, очевидно, наставляли, как надо держаться с новыми арестантами. Ему внушали, что мы — «враги народа», подлежащие строжайшей изоляции. Вступать в разговоры с нами надзору было категорически запрещено. И в то же время ему внушалось, что мы — не обычные арестанты, а политизолированные.

Попав в новую тюрьму, мы понимали, что с первых дней надо отстаивать свои права, пока еще не установился режим. Перестукивались мы, конечно, и днем, и ночью, нисколько не маскируясь. Из этажа в этаж через окна по нитке передавалась почта. С одного прогулочного двора на другой почта перебрасывалась через забор. Конечно, надзиратели старались ловить почту, иногда им это удавалось. Через окна мы переговаривались, в камерах пели, пели и хором, стоя у окон. Все это шло не без борьбы. В первые дни, когда мы переговаривались через окна, надзиратели с вышек начинали кричать, заглушая криком наши слова.

Однажды, по распоряжению ли начальства или по самочинству дежурного, по товарищу, говорившему через окно, был дан выстрел. Пуля влетела в камеру, выбив стекло. К счастью, она никого не задела. Сейчас же началась обструкция по всему корпусу. Мы били в двери камер руками, ногами, крышками от параш. Во всех камерах у окон стояли эки и перекрикивались. Все коридоры заполнил надзор. Этот грохот продолжался до тех пор, пока не явился начальник для переговоров со старостой, и пока староста по нашим нелегальным каналам не дал нам указание прекратить обструкцию. Начальник заверил старосту, что стрелявший снят с поста и будет подвергнут наказанию.

Вторая обструкция была примерно через месяц после нашего приезда. Нелепа она была и никчемна. В послеобеденное время, ожидая вечерней прогулки, мы, как обычно, сидели по камерам и читали. Внезапно нам послышался крик, а затем стук. Мы

прислушались. Стук нарастал. Если вначале нам показалось, что стучит одна камера, то теперь стучало целое крыло. Наше крыло стало перестукиваться, пытаюсь узнать, в чем дело. Ничего понять мы не могли, но грохот усиливался и приближался. Коридоры опять наполнялись надзирателями. Они бегали от форточки до форточки дверей, требуя прекращения стука, спрашивая, что нам нужно. Мы сами не знали, что нам нужно, — нам нужно прекращение стука другими.

Тюрьма грохотала. Надзор обезумел. В волчок дверей они просовывали дула револьверов, грозя стрелять. Дверь нашей камеры расшаталась. Что делать, если она сорвется с петель, и мы вылетим в коридор? Я стала держать дверь, чтобы она не сорвалась, а Шура лупил в нее крышкой от парашаи.

Мы узнали потом, что в камере у Шолома дверь почти сорвалась с петель, и они тоже ее держали.

Я не помню, как закончилась обструкция, а возникла она глупейшим образом. Один из ленинградских студентов получил из дому посылку. Ему пришлось в голову передать кусок колбасы товарищу с другой прогулки, просунув его через волчок двери. Идя по коридору на прогулку, он подбежал к волчку камеры и стал просовывать в него колбасу. Надзиратель схватил его плечи и потянул от волчка. Другие зэки, идущие на прогулку, оглянулись и, не поняв, в чем дело, подняли крик. На крики прибежали надзиратели из других коридоров и стали загонять, заталкивать всех в камеры. Тогда застучало все крыло. Стук подхватила вся тюрьма.

Вспоминать об этом как будто смешно, тогда же нам было не до смеха.

Тюрьма! Может ли понять ее человек, не сидевший? Условия, в которых мы находились на Соловках и в Верхне-Уральске, многим зэкам последующих лет казались раем.

Нас не так уж плохо кормили. И камеры были не так уж плохи. Мы получали газеты, журналы, книги, по пяти в декаду от библиотекаря, мы встречались с товарищами по прогулке, в камерах у нас были все наши личные вещи — письменные принадлежности, нитки, иголки, ножницы, даже бритвы. Жены сидели в камерах с мужьями, братья и сестры соединялись на прогулке. Мы имели право написать и получить по три письма в месяц (ближайшим родственникам). Так было. Но тюрьма остается тюрьмой. Человек, лишенный воли, человек, запертый за решетку, всегда мечется по своей камере, всегда меряет ее шагами. Самый воздух тюрьмы отравлен. Отравлены и лица арестантов, серые, землистые, одутловатые. Политических зэков сопровождают всегда специфические условия. Они не чувствуют

за собой никакой вины перед своей совестью, перед своим народом, перед человечеством. В большинстве своем это люди, которые во имя блага других, как они его понимают, приносят в жертву свою личную жизнь. Из жизни, в которой они отказывали себе во всем ради борьбы, из борьбы за идеалы, ради которой они причинили боль своим родным и близким, их вырвали и посадили за решетку... Где-то идет борьба, здесь — бездействие, вынужденное, томительное...

В царские времена было легче. Тогда мир делился на два лагеря — угнетателей и угнетенных. Тогда все лучшие люди, по крайней мере, сочувствовали жертвам неравной борьбы.

А теперь? Если у эка рождалось малейшее сомнение в правильности тактических приемов его партии, если рождалось малейшее сомнение в ошибочности тактики его политических противников, ему приходилось плохо. Ведь он сидел в тюрьме, когда вокруг шла борьба за его идеалы.

Как-то вечером, когда мы сидели и занимались, застучала, вызывая нас, нижняя камера. В ней сидел товарищ, принадлежавший к «народовольцам». Знали мы его мало, связь поддерживали чисто деловую, так как через него шла почта на нижний этаж. Высказывался он всегда очень лево и народнически. Я ответила на его вызов и стала слушать. По мере принятия слов, сердце мое сжималось. Он стучал:

«Я пришел к заключению об ошибочности ряда положений... Я подал письмо с отказом от...»

Мне было достаточно.

— Что ему надо? — спросил Шура. Я сказала. Мы оба молчали. Нам нечего было отвечать ему.

— Надо известить старосту, — только и сказал Шура.

Тюрьма сломила еще одного человека. В середине лета к нашей прогулке присоединили еще одну камеру. Вызвано это было тем, что в Верхне-Уральский политизолятор прибыла еще группа эков, которых решили изолировать от нас. Да и сами они не пожелали установить с нами связи. Мы поняли, что это не социалисты. Так это и оказалось. Это были, по-видимому, первые коммунистические ласточки в советской тюрьме. Первые эки-коммунисты

Мы давно уже были уверены, что рано или поздно встретимся в тюрьме с большевиками. За это говорила логика событий. Если инакомыслие приводит в тюремную камеру, если социалисты и анархисты загнаны в политизоляторы, специально созданные для одного крыла рабочего движения, то неизбежно жизнь приведет сюда и оппозиционные течения правящей партии.

Было у меня, да и не у меня одной, не злорадное, но

насмешливо-презрительное отношение к прибывшим: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Еще на Соловках из газет мы знали о расколе в правящей партии, об оппозиции и ссылке Троцкого. Кем-то из товарищей была сложена песенка: «Веселые делишки писать в России книжки...», оканчивалась она словами: «Ты, Лева, тиснул зря уроки Октября». Троцкий и иже с ним зажимали рты нам, теперь зажали рот ему самому. В Верхне-Уральском троцкисты сидели в отдельных камерах, гуляли на отдельных прогулках, ни в какую связь с нами не вступали, даже отказывались передавать почту... Мечты и планы

Заводить семью мы с Шурой считали себя не в праве. Какая семья, если в настоящем и в будущем у нас тюрьма? Но под угрозой близкой разлуки мы все же решили соединиться. Мы часто говорили с Шурой о праве нашем иметь ребенка, о возможности воспитать его. Пока мы обдумывали и обсуждали, я забеременела. Мы встали перед фактом. Новое входило в нашу жизнь, во многом от нас не зависящую. Раньше мы предполагали, что после Шурино освобождения я просижу еще около полутора лет. Теперь мы узнали, что в политизоляторе женщин с детьми не держат. Отправляют в ссылки. Что беременных освобождают за полтора месяца до родов. Для нас это означало, что через какой-нибудь месяц после Шуры выйду из тюрьмы и я.

Для политэзков был создан в те годы какой-то единый стандарт репрессий. Все мы получали в административном порядке по пунктам 5810–5811 три года политизолятора, за которыми следовало три года ссылки. Дальнейшее нам было неизвестно, но первое мы знали твердо. Мы не хотели ссылки. Нас манила воля. Передо мной теперь выбора не было. С ребенком на руках я поеду туда, куда меня повезут. Я буду жить в ссылке, растить ребенка. Обо мне нечего было думать, но Шура... Неужели и он должен быть пригвожден к ссыльному месту? Мечтать мы умели. Хорошо мечтать в тюрьме, на тюремной койке. Мы мечтали о том, что по крайней мере он не будет сидеть в ссылке. Уйдет в подполье.

Мы знали о разгроме всех партийных организаций на воле, о жестоком режиме террора, о невероятно трудных условиях подполья. Мы знали, что все нужно начинать сначала. Знали мы и то, что у большинства наших товарищей очень пессимистические настроения, что они не верят в возможность подпольной работы. Они полагали, что нужно ждать тупика, в который заведет коммунистов их политика. Мы с ними не соглашались. Мы не считали для себя возможным — сидеть и ждать.

Ощущая на себе изо дня в день, из часа в час гнет государства, гнет бюрократической машины, мы мечтали о

подлинной социализации, о вытеснении государства обществом из всех сфер человеческой жизни. Мы не только мечтали, мы упорно занимались, читали, обсуждали. Шура штудировал труды Герцена, Лаврова, Чернышевского, Михайловского. Он вылавливал всевозможные статьи из журналов, старых и новых. Следил, насколько это было возможно, за современным развитием социалистической мысли за границей. Книгами и журналами мы были обеспечены хорошо.

В ту пору мы отошли уже от идеалистического понятия демократии. Оно казалось нам расплывчатым и неясным. Чудесная русская пословица: «Живи, и жить давай другим» перефразировалась нами «Человеку дозволено все, чем он не посягает на независимость другого человека».

Демократия трактовалась всеми — буржуазией, коммунистами... Она навязла у нас в зубах. Все хватались за нее, все аргументировали ею...

Мы стояли за демократию для демократов. В обществе свобода должна быть гарантирована всем, кто не посягает на саму свободу. Принуждение и насилие могут быть применяемы к тем, кто сам применяет или проповедует насилие над другими.

Мы искали и нащупывали новые аргументы, новые пути. Но их должна была подсказать новая жизнь. Кропотливая работа с людьми и над людьми для выковывания кадров на борьбу за свободную, гармонически развивающуюся человеческую личность против левиафана государства.

Время шло. Приближалось время Шурино освобождения, разлуки надолго. Мы решили не добиваться соединения в ссылке, если окажемся в разных местах. Шура будет прилагать все усилия, чтобы бежать из ссылки. С этим решением мы простились в один из весенних апрельских дней. Он уходил на этап. Я оставалась в тюрьме. Шура уходит на этап.

В последний раз обнял меня Шура, стоя уже на пороге камеры. Дверь за ним закрылась. Щелкнул замок.

В нашей камере я осталась одна. Все было полно Шурой. Только — койка его стояла незастланная одеялом, только — надзор отобрал лишнюю миску, кружку, ложку. Очень трогало меня в те дни отношение товарищей. Они передавали мне приветы, то и дело спрашивали о моем здоровье. В каждый обход начальника я получала от товарищей с других прогулок передачи. На Пасху я получила от одного из товарищей совершенно изумительную передачу: характерно тюремная, с редким искусством сделанная работа — в маленькой сумочке, сплетенной из разноцветных хлебных шариков, лежала писанка — художественно раскрашенное яичко и брошка, каменя, — тоже

вылепленная из жеванного хлеба.

Я и все окружающие думали, что мне придется пробыть до освобождения месяца полтора. Но ровно через неделю после отъезда Шуры дверь камеры открылась. Старший объявил:

— Собирайтесь с вещами. Сперва я подумала, что меня переводят из одиночки в общую женскую камеру, но надзиратель добавил

— Казенные вещи сдать, книги отдать библиотекарю. Белье в стирке есть?

Так готовят в этап. Я поняла, что меня вывозят из тюрьмы.

Прежде всего я прокричала товарищам в окно:

— Меня вызывают в этап! На моем счету 40 рублей. Спросите старосту, на чье имя перевести деньги?

Я стала складывать вещи, а мое сообщение шло к старосте тюремными путями.

Освобождавшихся весной 1926 года было много. Денежный фонд эков оскудел. Каждый здоровый освобождающийся получал на дорогу всего 5 рублей. Больным выделялось 25 рублей. Такая сумма была назначена и мне. Остающиеся 15 рублей староста предложил мне перевести на имя Наташи.

Пока я собиралась, надзор стоял у меня над душой и торопил. Теперь он прямо говорил:

— Этап ждет. Вы задерживаете этап. Мне так хотелось оттянуть, выйти на прогулку, проститься с товарищами.

— Почему не предупредили заранее? — ворчала я.

Причину спешки я выяснила потом. Администрация тюрьмы срочно включила меня в уже составленный и подготовленный этап. Настаивал на этом тюремный врач. Наступающая весна грозила разливом рек, бездорожьем. Тюрьма могла оказаться изолированной месяца на полтора. Он не хотел держать беременную в тюрьме сверх срока.

Так почему же не вывезли меня неделю назад вместе с Шурой? Ведь и сейчас дороги уже отказывали.

Последний раз оглядев нашу камеру, вышла я в коридор.

— До свидания, товарищи! — кричала я.

— До свидания, Катя! — кричали мне в ответ из камер.

Я шла коридором. За мной следовал надзор. Он нес мой чемоданчик и торопил меня. Но я не торопилась. Я медленно шла мимо камер, за стенами которых оставались товарищи. Неделю спустя я на этапе в ссылку

В последнем приемном помещении, где формировался этап, я встретила пять человек, окончивших срок и вывозимых в ссылку. Егорушка Кондратенко и Марья Николаевна Волкова, фельдшерица по специальности, сразу взяли меня под свою опеку.

У ворот тюрьмы нас ждал конвой и три подводы. На них разместились мы, шесть зэков, и семь конвоиров, сопровождавших нас. Мы должны были добраться до железнодорожной станции Миасс. Дальше поездом до Челябинска — пересыльной этапной тюрьмы.

Дорога была ужасна. Кое-где на реках ломался лед. Конвой и возчики всю дорогу сомневались, доберемся ли мы до Миасс. Ехали мы не той дорогой, которой нас везли сюда. Мы пересекали окраины Верхне-Уральска, расположенного близ тюрьмы. Часто дороги заливали лужи, доходившие коням до брюха. Мы ехали на телегах. Колеса погружались в воду. Приходилось подбирать ноги повыше.

У меня шел восьмой месяц беременности. От тряски на подводе по ухабам и рытвинам мне стало нехорошо. Я крепилась, старалась не подавать виду, но Волкова, ехавшая со мной на одной телеге, волновалась и нервничала. Она ухаживала за мной, орала на извозчика и надзор, требуя осторожной езды. К концу первого дня мы добрались до села.

Подводы остановились у крайней избы. Каким счастьем было слезть с телеги, выпрямиться! Усталые, залепленные с ног до головы комьями грязи, зашли мы в хату. И застыли на пороге. Невозможно было переступить дальше. Ослепительная чистота комнаты остановила нас. Старушка-хозяйка, такая же чистенькая, как ее изба, приветливо шла нам навстречу. Радужие ее и гостеприимство уступало только ее любопытству. Стоило надзирателю выйти за порог хаты, как она оставляла все хлопоты и засыпала нас вопросами. Упорно допрашивала она нас, не мы ли царя убили, правда ли, что нас из серебряной посуды кормят... Мы были не первым этапом, проходящим через ее хату. Всех, освобождавшихся из Верхне-Уральской тюрьмы, завозили на ночевку к ней. Неделью назад у нее ночевал Шура с товарищами.

Старушка поставила для нас самоварчик. Мы купили у нее молока, сама она угостила нас белыми калачами. Вся ее изба — мы находились в чистой половине, зальце, — была увешана вышитыми полотенцами, картинками, фотографиями.

Позже мы увидели хозяина дома. Был он такой же благообразный и чистый, как хозяйка, но разговорчив не был, скорее был даже угрюм. Старики-хозяева были староверами. Курить и мы, и надзор выходили за порог.

На ночь для нас постелили какие-то тулупы, одежки, рогожи. Хозяйка жалела нас...

После тюрьмы каждая мелочь вольного человеческого жилья волновала нас, но измученные дорогой мы скоро уснули.

А на рассвете двинулись дальше... Челябинская пересылка

В пустом классном вагоне вместе с конвоем доехали мы до Челябинска. Там верхне-уральский конвой сдал нас в челябинскую пересыльную тюрьму. И только здесь объявили нам наши приговоры: всех нас ссылали на три года в Казахстан. Столицей Казахстана была Кзыл-Орда. Там должны были назначить нам место отбывания ссылки. Сначала мы должны были проследовать туда общим этапом.

В конторе пересыльной тюрьмы нам сказали, что этап идет раз в неделю. А прибыли мы в пятницу, последний этап ушел в четверг. Вероятно вчерашним этапом ушел и Шура, — хоть бы узнать, куда послали его!

Нас разлучили с мужчинами и, опять тюремными коридорами, повели в женскую тюрьму.

С Шурой из Верхне-Уральска ушла Клавдия Порфирьевна Седых. О ней-то я узнаю, наверное, в пересыльной камере! Может быть, там знают и о Шуре. Мужчины, во всяком случае, обещали мне постараться узнать о нем.

Пересыльные камеры не были так забиты людьми, как в последующие годы. Но, так как этапы по разным направлениям уходили и приходили в разные дни, камеры никогда не бывали пусты. Однако политических мы не встретили.

Нас завели в небольшую пустую камеру. Заперли на замок. От пересыльных уголовных, спокойно расхаживавших по коридору, я узнала, что всех эков, прибывших из Верхне-Уральска — и мужчин, и женщин — вчера отправили этапом в Кзыл-Орду.

До чего же мне было обидно! Поспей мы днем раньше — я бы шла вместе с Шурой!

Этап из Челябинска шел на Самарскую пересыльную тюрьму, и в тот же день я отправила Шуре открытку, где писала, что еду следом, что назначение мое — Кзыл-Орда. В Самаре Шура будет ждать следующего этапа и, может быть, успеет получить ее.

Режим пересыльных тюрем был тогда не строгим. Уголовные свободно передвигались по коридору, а кое-кто и по корпусу. В пересыльных камерах содержалась целая группа матерей с детьми. Тяжело видеть детей в тюрьме. Питание для детей было очень хорошее и они свободно бегали по коридору, но выглядели они все равно плохо. В те годы тюрьмы для уголовных (в отличие от политизоляторов) назывались исправительными домами. При исправительном доме была организована классная комната, в которой стояли парты, висела большая доска... Нелепо выглядел этот класс с зарешеченными окнами. Вечерами эков водили в бывшую церковь — там показывали кинофильмы.

В понедельник к нам в камеру поступило пополнение —

прибыл этап из Москвы. С ним привезли двух анархисток, сестер Гарасевых, направляемых на три года в Верхне-Уральский политизолятор, и четырех социалисток-сионисток, едуших в ссылку в Казахстан.

Сестры Гарасевы, мои сверстницы, были очень взволнованы своим делом. Сбивчиво рассказывали они о легально существовавшей в Москве группе анархистов, о легально существовавшем клубе анархистов, который они посещали, о внезапном аресте членов этого клуба. Старшая из сестер, Таня, произвела на меня очень хорошее впечатление. Была она бледна и слаба. После трех месяцев следствия у нее открылся туберкулезный процесс. С Таней не раз впоследствии сталкивала меня жизнь.

О воле мы от них узнали мало. Или они остерегались нас, или были слишком потрясены своей судьбой.

С социалистами-сионистами я встретилаь впервые. Я знала о еврейской социал-демократической партии «Бунд», знала о сионистском еврейском движении. А теперь социалисты-сионисты?..

Девушки-сионистки были очень юны. Все они пришли из еврейских местечек. Добиться от них, что представляет собой их движение, я не могла. Ясна была их мечта о Палестине; страстна была их мечта попасть туда, горяча любовь к своему народу. Я задала им такой вопрос:

— Едете вы в ссылку, кругом все чужое и все чужие. Первое время будет очень трудно... Нужен совет, нужна помощь... К кому же обратитесь вы за советом и помощью? К ссыльным русским социалистам? Или к евреям, пусть к буржуа, но к евреям?

— Конечно, к евреям, — отвечали девушки. Этап уходил. Верхне-Уральск отступал в прошлое. Прощаясь с сестрами Гарасевыми, я просила передать привет товарищам, рассказать о встрече со мной, сообщить о моем и Шурином назначении в Казахстан.

Я уходила на волю, пусть в ссылку... Таня с сестрой шли за тюремные решетки. Тяжело прощаться с человеком, идущим на годы в тюрьму. И опять в дороге

Арестантов выгнали за ворота, построили по пять человек в ряд и погнали окольными дорогами к вокзалу. Зэки не должны были видеть вольных людей, их же не должны были видеть вольные.

Дорога была мерзкой, грязной. Люди скользили. Конвой подгонял. Переход был не очень долгим. За полчаса мы добрались до путей.

Арестантский вагон, как обычно, был загнан в тупик. Он был

один. Набили в него весь этап. Нас, политических, было немного, но уголовных — тьма. Всех нас, мужчин и женщин, загнали в одну клетку. Сразу стало нестерпимо душно — от тесноты, от закрытых окон, от опущенных верхних полок.

Внизу нас сидело десять человек, на верхних полках мужчины разместились по двое. Наши вещи за пихнули к нам в отделение — хорошо, что их было немного. Те, у кого было много вещей, побросали часть по дороге к вагону.

Сидеть приходилось согнувшись, скорчившись. От этого особенно страдала я. Товарищи пытались создать мне максимум удобств. Какой там максимум, когда не было и минимума! Главное же — не хватало воды. Рты пересыхали, томила жажда.

И все же настроение было бодрое. Ведь это же... из тюрьмы! А я еще надеялась, что догоню Шуру.

Увы, приехав в Самару, мы услышали, что Шура накануне уехал этапом в Кзыл-Орду. В Кзыл-Ординской тюрьме от группы эков я узнала, что Федодеев получил направление в Семипалатинск и сразу же попал на обратный этап. Этап в Семипалатинск шел через Самару, Челябинск...

Я чувствовала, что еще месяц этапа не выдержу. Товарищи тоже были уверены, что меня не пошлют на длинный трудный этап. Не сбылись мои надежды на встречу в этапе, но маленькая радость у меня все же была: Шура в Самаре получил мою открытку и в кзыл-ординской пересыльной камере оставил для меня письмо. Кзыл-Ординская тюрьма

Кзыл-Ординская тюрьма не походила ни на одну из виденных мною тюрем. (Те были царские /старые/ тюрьмы с большими мрачными коридорами в глухих каменных зданиях.) Глинобитный дувал окружал маленькое, низенькое здание с земляными полами, с крохотными каморками.

Было начало июня. Стояла давящая казахстанская жара. Тюрьма была переполнена. Мы не были разобщены и замкнуты в камерах, — мы жили вповалку. Бичем тюрьмы были клопы. Таких огромных я не видела нигде. Прелести тюрьмы усугублялись рассказами о скорпионах, фалангах и каракуртах...

На счастье, я не задержалась в этом аду. На другой же день меня вызвал тюремный врач, а еще через день — тюремное начальство. Очевидно, от меня спешили отделаться, чтобы не иметь удовольствия принимать роды в камере. Мне объявили, что я по постановлению ОСО ссылаюсь на три года в город Чимкент, куда я буду направлена в ближайшие дни спецконвоем. О Чимкенте я раньше ничего не слышала. Не знал о нем и никто из товарищей. Единственно, нам удалось узнать, что это маленький городок, лежащий на железнодорожной ветке, отходящей от

ташкентской железной дороги и идущей на Пишпек.

Вечером объявили мне место назначения, а на утро вызвали с вещами. На мое счастье, один из сотрудников ГПУ ехал по делу в Чимкент.

Впервые после долгого времени я ехала в нормальном вагоне. Мой спутник держал себя вежливо и, очевидно, не опасался, что я куда-либо сбегу. Он был абсолютно прав. Детсья мне было некуда. Единственным моим желанием было скорей добраться до места и как-то обосноваться до родов. Денег в кармане у меня были все те же 25 рублей. Товарищи не дали мне истратить за этап ни копейки.

Я не трусила. Я была уверена, что встречу ссыльных, что они мне помогут. Действительность превзошла все мои ожидания.

7. В ССЫЛКЕ В ЧИМКЕНТЕ

В воскресенье рано утром мы прибыли в Чимкент. Прямо с вокзала мой спутник проводил меня в местное отделение ГПУ и сдал дежурному. Учреждение было еще закрыто. Часа полтора просидела я на скамье в коридоре рядом со столом дежурного. Когда пришел начальник, меня вызвали к нему в кабинет. Он предложил мне расписаться, что я обязуюсь два раза в неделю являться на отметку и не имею права удаляться за черту города на расстояние более 4 клм. На мой вопрос о жилье он сказал, что никаким жильем ссыльных не обеспечивают, что до тех пор, пока я не устроюсь на работу, я буду получать пособие в размере шести рублей в месяц.

— Может быть, вы укажете мне адрес кого-нибудь из ссыльных? — спросила я.

— Вы сегодня всех увидите. Сегодня день отметки. Могу дать и адрес. Все эсеры живут коммуной на Самсоньевской улице, дом № 8.

Мои вещи мне временно разрешили оставить в ГПУ. Я вышла на улицу очень утомленная, но почти счастливая. Я вырвалась из-под стражи. Я была вольная. Я шла к друзьям. Встреча с друзьями

Дорога моя вела по прелестной улочке. Маленькие одноэтажные беленькие домики, вдоль них — деревянные настилы тротуаров. По обеим сторонам улицы глубокие канавы-арыки с шумно бегущей водой. Неизвестные мне развесистые деревья. Яркое солнце. Синее небо. На горизонте — снеговые вершины. И все это — сразу после тюрьмы.

Чимкент, как я узнала позже, считался одним из чудеснейших уголков Казахстана, кумысным курортом, местом прохлады. Маленький, крошечный городочек. По населению он был скорее узбекским, чем казахским. Жило в нем много украинцев, переселившихся когда-то. Делился он на две части: Старый и Новый город. Старый город состоял из узеньких улиц, обнесенных дувалом, где не разминуться арбе с арбой. Глухие стены дувалов, глухие стены домов. Ни одна дверь, ни одно окно не выходили на улицу. За этими стенами, скрытая от чужого взгляда прохожего, — женщина.

Новый город состоял из семи или восьми улочек и одной площади. Его можно было пройти из конца в конец за десять минут.

Я легко нашла Самсоньевскую улицу — первый же прохожий указал мне ее. Номеров на домах не было. Дома стояли далеко друг от друга, отделенные садами. Наконец, у одного крылечка я

увидела женщину. Она стояла спиной ко мне.

— Скажите, пожалуйста... Она обернулась.

— Катя!

— Клавдия Порфирьевна!!

Мы обнимаемся. Не выпуская моей руки, она ведет меня во двор, в домик.

— Мы вас ждали, Катя. Каждый день Коля Зелигер ходил встречать этап. И сегодня еще не вернулся, а вас прозевал...

— Откуда вы знали, что я еду сюда?

— Нам Шура написал о возможности вашего приезда. Сам он направлен в Семипалатинск. Вообще, ваш Шура не совсем нормальный. Вы можете гордиться. С того самого момента, как мы вышли из тюрьмы, он продолжал жить в ней. Сидит в вагоне и вдруг скажет: «Сейчас обед раздают. Сейчас на прогулку выпускают». А когда получил вашу открытку, мы чуть не силой вывели его на этап. Хотел остаться ждать вас. Катя, мы были уверены, что вы и он будете ставить вопрос о соединении в ссылке. И ошиблись.

— Вам Шура все объяснил? — спросила я.

— Да. Вы молодцы оба.

В столовой самсоньевской коммуны нас встретила Лена Полетико. Я знала ее по рассказам Шуры. Он был очень дружен с ней, очень хвалил ее. Спокойная, ровная, замкнутая, всегда грустная, Лена встретила меня тепло и заботливо.

Самсоньевская коммуна состояла из двух комнат, кухоньки и коридорчика. В большой комнате помещалась столовая. В ней жило четверо мужчин: Володя Мерхалев, Валентин Кочаровский, Яша Рубинштейн и Коля Зелигер.

Мужчин не было дома. Володя работал в статистическом отделе и был на работе; Валентин Кочаровский не был эсером, он был братом Жоржа, убитого 19 декабря. В коммуны он вошел потому, что был репрессирован за брата и сам льнул к друзьям брата. Он тоже был на работе. Яша, которого я прекрасно знала по Савватии, работал по переписи населения.

Не работал Коля. Его я хорошо знала по Соловкам. Совсем молоденький, меньшевик, скромный и робкий, неприспособленный к жизни, единственный меньшевик в чимкентской ссылке, он был принят в эсеровскую коммуны и, как неработающий, стал ее завхозом и поваром. Он пробыл в коммуны, пока в Чимкенте не появились с.-д.

Из беседы с товарищами я узнала, что в Чимкенте отбывают ссылку Дерковская с сыном Вовой. Их сняли с нашего этапа на Соловках и привезли сюда. Было в Чимкенте несколько человек анархистов, была группочка сионистов. Много было ссылных из

духовенства и верующих. С последними связей никаких не было, только что встречи при регистрации.

Нашу болтовню прервал приход Коли. Тоненький, малорослый, с растрепанными волосами, горящими карими глазами, всегда небрежно одетый, — он был немного не от мира сего.

Вот и сейчас он испытывал угрызения совести, что не встретил меня. До сих пор все шло гладко. Все были здоровы, неприхотливы в еде. Теперь на его шею сваливалась я, беременная женщина. Коля считал, что на него легла страшная ответственность. Как кормить? Как поить? Едва успев поздороваться, он заволновался, захлопотал о моем питании, выворачивая все запасы.

Я пыталась умирить его пыл, но Клавдия Порфирьевна и Лена нарочно раззадоривали его.

— Коля, ты учти, всю беременность Катя выдержала на тюремном пайке. А потом — этап в течение месяца... Вся ответственность на тебе.

Все время, что я прожила на Самсоньевской, Коле не было покоя. Днями думал он, что бы приготовить для меня в виде дополнительного питания, с серьезным видом расспрашивал знакомых, чем надо кормить беременную женщину.

Его очень радовало, что эта беременная женщина, действительно изголодавшаяся, особенно за этап, уплетала за обе щеки все, приготовленное им.

К обеду вернулся Володя. За ним — Валентин, Яша. Пришла Надежда Соломоновна. Все они окружили меня заботой, участием, лаской.

Так началась моя первая ссылка. Так встретил меня Чимкент.

Основателями самсоньевской коммуны были Володя Мерхалев и Валентин Кочаровский. Они не были в тюрьме. Они прибыли в ссылку с воли. Здесь обосновались, устроились на работу.

Радушно встречали они всех, идущих из тюрем, принимали к себе, поили и кормили. Коммуна росла.

«Как же иначе должны жить эсеры в ссылке?» — думали они.

Но приезжать стали товарищи, утомленные тюрьмой: люди, в течение ряда лет ни на минуту не остававшиеся наедине сами с собой; люди, спавшие, читавшие, евшие, гулявшие, дажеправлявшиеся на людях. Они мечтали об уединении, о возможности побыть наедине, когда никто не видит, как ты сидишь, стоишь, ходишь, думаешь. Ни волчка в двери, ни товарищеского взгляда...

Часто на Самсоньевской шли горячие споры о том, правильно

ли, что вновь прибывшие не принимают коммуны, правильно ли, что они селятся отдельно.

Володю, Лену, Валентина возмущало не то, что их коммуна превращалась в пересылку, что в нее приезжали товарищи и жили до устройства, до того, как оперяться, если можно так выразиться. Они спорили с каждым, каждого радушно принимали к себе и так же радушно отпускали в самостоятельную жизнь. Народа ехало много. Ссылка росла. Приехал Соломон Ильич Штер. Приехали Абрам Исаевич Гельтман, Предит, Богатов. Ехали леваки, анархисты, с.-д.

Нас, выделявшихся из коммуны, тревожило то, что прием новых товарищей лежит только на самсоновцах, но ни о какой материальной помощи они слушать не хотели.

Самсоньевская была нашим центром, здесь собирались мы вечерами, здесь все чувствовали себя дома, у себя. Поиски нового пристанища

Я недолго скиталась по тюрьмам. У меня не было тяги к одиночеству, но я боялась, что ребенок стеснит товарищей, будет беспокоить их криком и режимом. Жизнь убеждала меня в правильности моих соображений. Еще не было дитяти, а товарищи уже заговорили о необходимости подготовиться. Они купили ванночку, намечали переселение. Мне и Лене они решили отвести большую комнату, а сами переселиться в малую.

О том, что я поселюсь одна, даже не говорили со мной. Коротко и ясно заметили они, что отвечают за меня и ребенка перед Шурой, и никуда меня непустят.

За меня вступилась Клавдия Порфирьевна. Она заявила, что ребенку в коммуне будет плохо, что она поселится и проживет со мной до приезда ее старушки-матери, которую ждала через месяца два. А там будет видно.

Мы с Клавдией Порфирьевной отправились искать комнату. Городок был маленький. Обойти его было недолго. Селиться далеко от друзей мы не хотели.

Целый день пробродили мы, и, наконец, наткнулись на чудесную комнату — светлую, большую, изолированную, с деревянным крашенным полом — одним словом, комнату, приведшую нас в восторг. Цена была подходящей. Мы хотели уже дать задаток, но хозяин от задатка отказался, сказав, что у них так не принято, — проживем месяц, тогда будем платить. Он сказал еще, что лучших, чем мы, ему жильцов не надо. Тут же он пригласил нас к себе.

С любопытством зашли мы к нему. Комната была еще больше той, что предлагалась нам, просторнее казалась она и потому, что в ней не было никакой мебели. Пол был устлан кошками. Вдоль

стен на полу — стеганные одеяла и подушки в пестрых наволочках. Посреди комнаты стоял низенький, не выше четверти от пола, столик. Вокруг него на кошмах сидела вся семья. На столике дымилось огромное блюдо с пловом. И женщины, и дети погружали руки в миску и старательно набивали рты; аппетитно облизывали они пальцы и снова запускали их в общее блюдо.

Все гостеприимно потеснились, освобождая нам места. Хозяин не хотел отпускать нас, пока мы не разделим с ним трапезу. Мы с Клавдией Порфирьевной решительно отказались. Мы говорили, что сыты, что спешим домой. На самом деле мы не решались присоединиться к такому столу.

Сегодня еще нас предупреждали: в общежитии с узбеками будьте осторожны — они повально болеют сифилисом и трахомой.

Хозяин явно обиделся. Он не вышел проводить нас, а наутро, когда мы пришли со своими чемоданами и барахлом, через запертую дверь объявил, что никакой комнаты здесь не сдают и сдавать не будут. Объяснений не требовалось — мы нарушили закон гостеприимства.

В тот же день нам удалось найти другую квартиру. Она сдавалась всего на три летних месяца. Но зато это был совсем отдельный домик. Кухонька и комната. Домик был чудесный, дворик вокруг него еще лучше. Все блистало чистотой под хозяйским глазом. Хозяева домика — старик и старушка — переселились на лето в сарайчик, а дом отдавали в наем.

С наслаждением завладели мы этим «особняком».

После тюремных камер, после тюремной жизни мы оказались среди незнакомой нам экзотики юга. Южный базар, чайханы, где при нас на металлических палочках жарили и подавали шашлыки. Скрестив ноги, сидели торговцы в своих длинных синих халатах и ярких тюбетейках. Тут же, на кошмах, посетители из пиал пили зеленый чай. По улицам проходили караваны верблюдов. Больше всего меня поразили погонщики-казахи, они ехали на маленьких осликах, ноги их почти волочились по земле. Вокруг городка были раскиданы юрты; всюду были мужчины, мужчины, мужчины... Мы хотели видеть и женщин.

Когда я раньше читала о женщинах в парандже, в воображении моем рисовалось воздушное поэтическое видение под легким покрывалом... Бесформенные фигуры двигались нам навстречу. Серый, грубо тканый покров свисал с голов, закрывая фигуры до самых пят. В балахоне на уровне глаз были прорезаны небольшие отверстия, затянутые грубой волосяной сеткой. Иногда женщина отводила ее рукой. Тогда мелькали прекрасные

миндалевидные черные глаза.

Казашки не закрываются. Они работали наряду с мужчинами. В городе они не жили. Они приходили с гор, с пастбищ вместе с караваном. Те, которых я видела, не были красивы. Широкие, скуластые, обожженные солнцем лица. Тем красивей казались узбечки. И они это знали. Легким красивым движением отстраняли они паранджу на мгновение, достаточное, чтобы разглядеть их овальные лица с огромными черными глазами под узкой полоской бровей. Они любили украшать себя. Нас поразили их брови: длинной зеленой чертой они подводили их.

Узбеки городка жили торговлей. Жены их сидели дома, вели хозяйство, растили детей. Все дома были окружены садами. В садах — уйма фруктов. Рождение нашей дочери

Недолго побродила я по Чимкенту. Как-то вечером я почувствовала себя плохо. И я, и Клавдия Порфирьевна были неопытны, и мы сразу собрались в больницу.

Больница, коридоры, палаты, дежурные сестры в белых халатах. Как будто все это не походило на тюрьму, — но я почувствовала ее воздух. Опять режим, казенный уклад жизни. Ощущение тюрьмы настроило меня на протестующий лад.

А больница была ужасная. Грязь в коридорах, несвежее белье на койках. Меня даже не свели в ванную мне только предложили сменить застиранное мое белье на казенное. Не так представляла я себе родильное отделение больницы. Меня возмутила уборная без стульчаков, кишевшая отвратительными белыми толстыми червями. Со скандалом добилась я себе чистого белья на койку.

Рожали тут же на койках в общей палате. Акушерка металась между роженицами.

Сейчас же после родов мне предложили встать, взять ребенка и перейти в соседнюю палату. Мне почему-то казалось, что роженица не должна вставать, ходить, и я заявила, что вставать не буду, пусть меня несут. Повернулась на бок и заснула. Сестры и санитары возмущались, но в конце концов появились носилки, и меня отнесли в другую палату.

Отдельных детских постелек в больнице не было. Дети лежали в кроватях матерей. Температуру у рожениц не измеряли. При родах у меня и у моей соседки прозевали разрывы. Через сутки их случайно обнаружила женщина-врач, которую товарищи просили обратить на меня особое внимание. На пятый день мне стало худо. Со скандалом добилась я старшего врача, а через него — измерения температуры. Термометр показал 400, тогда забегали вокруг меня и санитарки, и сестры, и врачи.

Единственной отрадой в моей больничной жизни было окно. К нему приходили мои друзья. Я одна в чужом далеком городе в

ссылке, но ни к кому не приходило столько посетителей, как ко мне, никто не получал столько передач, столько знаков внимания и заботы. Тумбочка у моей койки была заставлена цветами, фруктами и конфетами.

Как-то в окно палаты товарищи сообщили мне о смерти Дзержинского. Как и чем выразила я свое несочувственное отношение к этой смерти, не помню. Но соседка по постели спросила меня: — Почему смерть Дзержинского вас радует? Поняв, что веду себя глупо, все же буркнула:

— Одним негодяем меньше живет на земле, — и уткнулась в подушку.

Екатерина Павловна Пешкова, которую я очень уважала, говорила, как мне передавали, что Дзержинский исключительной души человек, что еще до революции, в ссылках, его называли «ходячей совестью», что именно поэтому его выдвинули на такой высокий пост.

Дзержинского я не знала. Но мне было совершенно достаточно того, что я знала о «19 декабря», о застенках ЧК, возглавляемой им, чтоб положительные отзывы о нем не нашли дороги ни к моему сердцу, ни к моему разуму.

Я рвалась из больницы домой, но у меня не снижалась температура, и врачи меня не выписывали.

Товарищи, узнав об условиях в больнице, о моем нервном состоянии, уговорили одного из врачей выписать меня с тем, чтобы продолжать лечение на дому.

На извозчике приехала за мной Клавдия Порфирьевна. Товарищи установили круглосуточное дежурство. Одни закупали продукты, другие готовили, третьи дежурили. Все это было вовсе не так нужно. Дома температура быстро упала. Теперь я кляла себя, зачем я рвалась из больницы. Чтобы стать обузой для товарищей? Но мне было так хорошо, так тепло от их забот!

И дочка была здоровенькой. Я назвала ее Марией в честь матери мужа, как это было между нами условлено.

Вскоре стали поступать письма от Шуры. В Семипалатинске, как и в Чимкенте, он встретился с группой товарищей. Ясно написать Шура не мог, но я поняла, что наши планы не встретили одобрения, больше того, из-за круговой поруки в ссылках, на них было наложено вето.

«При создавшемся положении ничем не оправдана наша раздельная жизнь», — писал Шура.

Он послал письмо Пешковой с просьбой ходатайствовать о нашем соединении. Заявление о соединении нас в одной ссылке следовало подать и мне. Шура писал, что уже устроился на работу, и прислал мне денег. Вскоре я получила сообщение от

Пешковой, что мне разрешен переезд в Семипалатинск, а через несколько дней меня вызвали в ГПУ.

Там мне сообщили, что я могу ехать общим этапом к мужу в Каркаралинск, куда его перевели из Семипалатинска. Но, так как везти меня общим этапом с грудным ребенком сложно, мне предоставлено право ехать спецэтапом за свой счет, то есть везти за свой счет и двух конвоиров.

Это было явное издевательство. Где я могла взять средства на оплату и содержание двух конвоиров?

Я получила письмо от Шуры, в котором подтверждался перевод его в маленький поселочек недалеко от Семипалатинска.

В ответ на разрешение мне ехать к нему общим этапом он поставил вопрос о разрешении ему ехать ко мне в Чимкент, так как на спецконвой у нас денег, конечно, не было.

Лето прошло. Наступили холода. К Клавдии Порфирьевне приехала мать, и она поселилась отдельно. Хозяевам нужна была квартира. Оставить меня жить одну с ребенком товарищи не хотели. Звал меня к себе Богатов, звал Предит. Я не шла. Я не хотела стеснять товарищей. Тогда они пришли сами. Евграф взял на руки девочку, остальные — вещи, и пошли.

В ожидании приезда жены Евграф снял домик. Состоял он из большой комнаты с деревянным полом и кухонькой, тоже не маленькой, но с земляным полом. В комнате стояла широкая мягкая кровать, стол, шкаф, стулья. В кухне не было ничего, кроме плиты и двух скамей.

До приезда жены Евграфа комната была отдана Мусе. Так сказал он. Я была лишена права голоса. Он был хозяином дома. Для себя он сдвинул в кухне скамьи и постелил постель. Примус мой поставили в кухне на подоконнике.

— Ваше дело — дочку растить, мое — все остальное.

Так мы и зажили. Евграф приносил воду из колодца, готовил завтрак и уходил на работу. По дороге он покупал продукты на базаре и в магазине и, вернувшись с работы, готовил обед. Единственное, что мне разрешалось, это залатать, починить что-либо из его одежды. После тюрьмы мы все были достаточно обшарпаны, обтрепаны. На наше счастье, погода была теплая, а остальное нас мало смущало.

С работой в Чимкенте было неплохо. Работали почти все. Ссылных на работу брали очень охотно. Местных культурных сил не хватало, ссылные считались добросовестными работниками.

В основном ссылные работали в бухгалтерии, статистиками, плановиками, экономистами и зарабатывали до 100 рублей в месяц. Этого на жизнь хватало. Не так было в северных ссылках.

Там жизнь была очень дешевой. Гораздо дешевле нашей, но найти работу не было никакой возможности. Нам приходилось поддерживать товарищей северных ссылок. Для этого мы организовали кассу взаимопомощи. Касса оказывала помощь и местным товарищам временно, до поступления на работу. Помощь товарищам других ссылок была безвозвратной. Кроме нашей эсеровской кассы взаимопомощи, была в Чимкенте и общая касса взаимопомощи — эсеров, анархистов, сионистов. Туда шли особые отчисления. Конечно, обе кассы были нелегальными.

Время шло. Мусе исполнилось уже три месяца, когда Шуру пришло долгожданное разрешение ехать в Чимкент. В этапе он должен был пробыть месяц. За этот месяц я подыскивала квартиру. Квартира была плохая. Я сознавала это, но другая не находилась. Товарищи протестовали, я их не слушала. Мне хотелось встретить Шуру в своем доме.

Крохотная кухня была аркой отделена от комнаты-клетушки, низенькой, глинобитной, с земляным полом. Я не работала нигде, но через Володю доставала карточки крестьянских бюджетов для обработки. У меня было несколько учеников, — я репетировала школьников. Помогала мне соседская девочка лет тринадцати. Пока я давала урок, она возилась с дочкой. Потом я помогала ей в учебе. Шура добился перевода

Почти четыре месяца было Мусе, когда приехал Шура. Она уже садилась в своей кровати. Усталый, худой и длинный, склонился он над ней.

— Самое дурацкое состояние: идти самому под конвой, на этап, и все из-за такого маленького существа. После тюрьмы и этапов впервые виделись мы с глазу на глаз, без надзора и волчка в двери, один на один.

Я не ошиблась. Я правильно поняла все Шурины письма. Прибыв в ссылку, он сразу поставил перед товарищами вопрос о переходе на нелегальное положение, о возвращении к партийной работе по собиранию, прежде всего, партийных кадров.

Никто из товарищей не поддержал его. Все находили, что сейчас не время, что нужно ждать.

Сложность исторической ситуации, сложность своего положения мы понимали. Старая партийная программа не соответствовала настоящим условиям. Съезд партии не созывался долгие годы. Многие положения должны быть пересмотрены и изменены. Выступать от имени партии было невозможно.

Но именно этого требовала работа на воле. Разве не знала история революционного движения тяжелых периодов? Но люди не складывали рук, не гнушались мелкой кропотливой работой.

— Что ж, нельзя, так нельзя. Поживем три годика в ссылке, а там такой минус выберем, где не будет товарищей, которых нельзя подводить.

Товарищи по чимкентской ссылке стали на точку зрения семипалатинцев. Чувствовалось, что люди устали от тюрем. Им надо отдохнуть и физически, и душевно. Если говорить о старых эсерах, освобожденных в 1917 году из ссылок, из тюрем, и после двух лет кипучей жизни попавших снова в застенки, это было более, чем понятно, — а таких было большинство. Молодые товарищи прислушивались к «старикам» и не решались выступить на борьбу под новыми лозунгами борьбы внутри рабочего класса. Да и вера, что большевики сами дискредитируют себя, была велика.

* * *

Верят ли крестьяне и рабочие в партию большевиков? Сколь велика прослойка верящих? Почему молчит народ, и долго ли он будет молчать?

Велика была вера всех социалистов в демократию, и никто из них не верил в возможность построения социализма иным путем, путем диктатуры.

Все самые дорогие для нас лозунги глядели на нас с плакатов, со столбцов газет, звучали на собраниях и митингах. Наши лозунги. А видели мы насилие, обман, жестокий произвол. Тирания называлась свободой. Насилие прикрывалось светлыми, дорогими нам словами. И тошно было от фальши, лжи; жутко от наглости, все допускающей и оправдывающей; мучительно от бездействия, от нашей судьбы бесправных, в стороне стоящих зрителей.

В эти годы был брошен новый лозунг — «коллективизация сельского хозяйства». Большевики не сумели овладеть деревней, а стране для восстановления ее разрушенного хозяйства нужны были средства. Кто мог дать их, кроме русской деревни, кроме русского мужика? Как выкачать средства из индивидуального мелкого крестьянского хозяйства, не дав ему ничего взамен? Жизнь требовала реформ.

Коллективизация сельского хозяйства — наш лозунг, наше решение крестьянского вопроса: через производственную кооперацию крестьянских хозяйств — вперед к социализму.

Против производственной кооперации всегда выступали все социал-демократы всех толков. Теперь они провозглашали лозунг «коллективизация». Коллективизация 1927–1929 годов не

воплощалась еще во всей своей красе в жизнь, о ней писали еще только прекрасные статьи. Мы им не верили. В наших кругах горячо обсуждался вопрос, во что выльется коллективизация крестьянского хозяйства в условиях большевизма. Мы были полны скепсиса, а Володя Радин поверил: молодой парень, 21 года, сын старого большевика, он пошел дорогой отца.

Он был эсером. Жизнь привела его в тюрьму. На Соловках он много и упорно занимался, был горячим сторонником подлинной демократии. Как всех эсеров, больше всего его интересовал вопрос аграрный.

В Савватию Володя дружил с Шурой, хотя настроен он был значительно правее. Володя освободился из Верхне-Уральска после нас. Мы часто о нем вспоминали, надеялись, что судьба забросит его в наши края. Хотелось встречи, бесед, обмена мнениями. Был Володя удивительно славный, как внешне, так и внутренне. Очень тонкий, худой, с русыми волосами, ясными голубыми глазами, чуть вздернутым носом, покрытым веснушками. Легкая, мягкая, как бы застенчивая улыбка обычно озаряла его лицо. Был он мечтателем. Веры в жизнь, надежды на жизнь было у него — край непочатый.

С Шурой вместе мечтали они об уходе из ссылки. Теперь мы ждали вестей от Володи после освобождения его из тюрьмы. И письмо пришло. Оно было триумфальной песней во славу коллективизации сельского хозяйства. Володя писал, что большевики — честный, идейный народ, что они только сбились с пути. В стране нашей будет осуществляться величайший в мире переворот, кооперированное крестьянство станет хозяином земли, страны, жизни... Он, Володя, хочет отдать все силы на дело претворения в жизнь своих идеалов; он полагает, что все мы обязаны придти на помощь большевикам.

Мы не возмущались настроением Володи, нам было его бесконечно жаль. Жаль за то, что пришлось ему пережить. Жаль за то, что ему предстоит пережить. Жаль, что мы теряем такого товарища.

Шура твердил:

— И будут уходить, гибнуть все такие Володи, потому что человек задыхается в бездействии, потому что нельзя сидеть у моря и ждать погоды. Потеря партией таких людей, как Володя, вопрос, над которым партия должна задуматься. Приезд Шуриной матери

Путь к нам был долог. Дорога стоила дорого. Но желание встречи превозмогало все. Мы ждали гостей. К Шуре должна была приехать мать, ко мне — сестра. Первой приехала Шурина мама. Я не была с ней знакома и боялась встречи. Из рассказов Шуры я

знала, что мать его вышла из семьи потомственных железнодорожников, была хорошей домохозяйкой, и считала, что удел женщины — семья. Я в домашнем хозяйстве ничего не смыслила. Буржуазную семью со всем, к ней причитающимся, ненавидела. В чимкентской ссылке наш дом был единственным семейным домом, куда тянуло одиноких товарищей — холостяков. Мне, волей-неволей, приходилось вести хозяйство. Но вела я его — спустя рукава.

К приезду Шуриной мамы нам удалось сменить квартиру. Мы радовались. Хотя землянка наша не испугает ее. Шура поехал на вокзал встречать мать, а я прилагала все старания, чтобы встретить ее получше. Я вымыла пол, убрала квартиру, перечистила всю посуду. Нарядилась получше сама и нарядила Мусеньку. Как назло, именно сегодня у меня заболел зуб. Он не болел с самого соловецкого этапа. Боль портила настроение. Я нетерпеливо ждала. Наконец, я услышала шум колес. С Мусенькой на руках я выбежала. Шура помогал матери выбраться из пролетки. Я не знала, как держать себя с Шуриной мамой. Я знала, что она очень хорошо относилась к первой жене, которая, выйдя вторично замуж, постоянно бывала с сынишкой у бабушки.

— Знакомься, Катя, это моя мама.

Шура стоял рядом с матерью такой сияющий! Возле него высокая, худенькая серьезная, спокойная женщина. Белое маркизетовое платье оттеняло темный цвет лица. Карие глаза, как у Шуры, окаймленные темными кругами, пристально рассматривали меня.

Не очень тепло, не очень приветливо, но первая встреча как-то обошлась. Гостью нашу мы провели в комнату. Она внимательно осмотрелась кругом. Мне показалось, что даже с Мусей она обошлась холодно. Я старалась угостить, накормить Марию Михайловну, но она выпила только чаю с вареньем, отклонив все мои угощения. Не сводя глаз друг с друга, сидели Шура и мать. Шура гладил ее руку и подносил к губам. Изредка спрашивал, изредка говорила она об их московской родне. О Циле, о Шурином сынишке... Мария Михайловна восторгалась мальчиком.

Мне казалось, что мы с Мусей лишние при этой встрече, и я ушла с дочуркой гулять во двор. Но я не находила себе места. Зубная боль мучила, и я решила пойти к зубному врачу. Я вызвала Шуру, сказала ему о своем намерении и ушла.

Вернувшись от врача, я чувствовала себя прекрасно. Я застала Шуру и Марию Михайловну за беседой. Шура взволнованно ходил по комнате. При моем появлении они замолчали. Муси с ними не было. На мой вопрос, где девочка? Шура спохватился.

Увлечшись разговором с матерью, он совершенно забыл о ней.

Я вышла поискать Мусю. Я думала, что она у квартирной хозяйки. Ей был уже годик, и она часто бродила с хозяйскими девочками. Но ни Муси, ни хозяйской девочки нигде не было. Я обегала наш дворик, наш садик, вышла на улицу. Чем дольше я искала, тем больше росло беспокойство, поднималось возмущение против Шуры и его матери — забыть о ребенке!

Детей не было нигде, и никто их не видел. Я забежала к ближайшим нашим товарищам, соседям. То была семья с.-д. Малкина. К Малкину в ссылку приехала жена с сыном. Мальчику было около пяти лет, и он часто играл с Мусей. Малкин сидел в саду с одним из своих учеников и вел урок. Он сказал мне, что дома никого нет, что жена ушла на базар. Не зная, куда кинуться, я взволнованная побежала домой, чтобы привлечь к поискам Шуру. На углу я встретила с женой Малкина. Милая, приветливая женщина, чтобы успокоить меня, обещала помочь мне в поисках, звала к себе, чтобы она могла положить покупки. Отворив двери своего дома, она крикнула:

— Катя! Да вот они!

На полу посреди комнаты лежала моя Муся, а мальчик Малкина и дочка хозяйки укрывали ее одеялом и уговаривали спать.

Муся была найдена, и я забыла о своих тревогах, подхватила ее на руки и убежала домой.

Со смехом я рассказывала Шуре и Марье Михайловне о ее похождениях. А Шуру мучали поздние угрызения совести. Он взял девочку к себе на колени. Марья Михайловна сокрушенно покачивала головой.

Не знаю, почему сложилось у меня впечатление, что между Шурой и его матерью произошли какие-то трения, что они чем-то недовольны, расстроены.

Я из кожи вон лезла, чтобы сгладить все и сделать, как можно лучше, но жизнь не клеилась. Марье Михайловне не нравилось у нас все. Ее обидело, что Шурин топчан мы вынесли в коридорчик, и он уходил спать туда. Не нравилось, что Шура сам стелит свою постель, что он носит воду и иногда моет пол, что помогает мне выжимать белье, когда я стираю, что он несет ребенка, когда мы идем в гости. Не нравилось, что Муся — некрещеная. Всё не нравилось.

Узнала я об этом через две недели после ее приезда. Случилось это в день Мусиного рождения. Поздравить Мусеньку и нас собралась вся ссылка. Не говоря о наших завсегдатаях-эсерах, пришли с.-д., пришли анархисты, сионисты. В общем, — человек сорок. В саду перед домиком на каких-то скатертях разложили мы

угощение. Поставили на скамеечке самовар, взятый у хозяйки, — чашки, стаканы, блюда принесли с собой гости. Мы расселись и разлеглись на земле, кто как и где мог. Сама именинница спала.

Первые стаканы чаю были налиты мною. Потом гости, допив чай, наливали себе сами, и ели кто что хотел. Марья Михайловна пыталась подменить негостеприимную хозяйку, но ее со смехом и шутками отстранили от самовара. Марье Михайловне это не понравилось. Она ушла в дом. Когда гости разошлись, недовольство, накопившееся за две недели, прорвалось наружу.

Завтра же она уезжает, заявила Марья Михайловна. Дня она не проживет в доме со мной. Сперва я ничего не могла понять из упреков, сыпавшихся на меня. Мы оба с Шурой, опешив, молчали. Но когда Марья Михайловна сказала, что не хочет жить под одной крышей с некрещеным ребенком, которого не признает за внука, Шура сказал:

— Что ж, мама, тогда уезжайте, — и вышел из комнаты.

Марья Михайловна повернулась ко мне спиной и заплакала. Я сидела у Мусиной кровати. Мы не обменялись больше ни словом. Потом я вышла к Шуру. Он лежал, уткнувшись головой в подушку.

— Шура, я не понимаю ничего. Почему ты ничего не сказал мне раньше, не предупредил? Ведь можно было...

— Оставь, — перебил меня Шура, — не в этом дело.

Он обнял меня за плечи, и так, обнявшись, мы вышли из дома за город, в степь.

— В первый же день, — стал рассказывать мне Шура, в первые же часы встречи, когда я спросил у мамы, сколько она может прогостить у нас, она ответила, что может и насовсем остаться. Я-то ведь у нее один. Не век же ей жить у своего брата. Дело в том, Катя, что мама не хочет жить моей жизнью. Она видела, что Циля и сын не удержали меня. По том она решила, что второй брак, вторая семья, второй ребенок... В общем, она надеялась, что ты будешь ее сообщницей, что обе вы удержите меня от пагубной жизни. Когда она приехала и почувствовала, что ошиблась, все и пошло. Я ей в первый же день сказал, что жизнь наша шаткая, но что от этой жизни мы не уйдем — ни ты, ни я. «Что ж, ты и вторую с ребенком бросишь?» — спросила она меня. Я ей ответил, если я ее для революции не брошу, то она бросит меня. Сказал и спохватился. Так я не должен был говорить. Я думал... я надеялся... она поймет, примирится. Я все равно верю, что в конце концов она поймет.

Когда мы вернулись, Марья Михайловна уже легла в постель.

На следующее утро мы встали так, как будто ничего не случилось. Ни мы, ни Марья Михайловна не возвращались к

прежнему разговору. Жизнь пошла по-старому, даже ровней и глаже, чем раньше.

Недели через две Марья Михайловна начала готовиться к отъезду. Она стала говорить, что соскучилась по Москве, родным. Бесперывно рассказывала она о том, как хорошо живут в Москве, как легко там все купить, все достать, как хорошо люди стали одеваться, какие успехи по службе, какие материальные достижения у Шуриных сверстников.

* * *

Вскоре после отъезда Марьи Михайловны приехала моя сестра Аня. Конечно, приезд сестры носил совсем другой характер. Ни о каких дальнейших планах жизни мы с Аней не говорили. Кое-что она, конечно, угадывала сама. Она пыталась несколько раз спорить с нами, описывать всякие достижения советской власти. Не отрицая наличия деспотии, она уверяла, что, если бы мы оказались у власти, то действовали точно так же. Но политических разговоров мы вообще избегали. Они, собственно, ее и не интересовали. Ее просто огорчало, что мы строим так свою жизнь, что не можем жить, как другие люди.

Сестра восторгалась экзотикой, караванами, юртами, узбекской утварью, обычаями. Она уверяла даже, что из окна нашей комнаты, выходявшей на голую выжженную степь, видела мираж. Сестра очень подружилась с Валентином Кочаровским. Вместе гуляли они вечерами, мне же было трудно выбраться от маленькой Муси. Но и меня они вытащили в Старый город, в Священную рощу с неприкосновенными священными птицами и другой экзотикой.

Ее присутствие было нам приятно, но ее отъезд не создал пустоты. Нам так хорошо было вдвоем. Муся еще в счет не шла. Она брала много сил, осложняла, но и украшала нашу жизнь. Жизнь и судьбы ссыльных

В Чимкенте, как я писала, с работой для ссыльных было не трудно. Все, кто хотел, — работали, и заработка на скромную жизнь хватало. Шура работал бухгалтером-контролером и зарабатывал в месяц около 80 рублей. Я немного подрабатывала уроками. Мы питались неплохо, немного приоделись.

Конечно, шестирублевое месячное пособие, выдаваемое неработавшим, было скорее издевкой. Не работали же в нашей ссылке сионисты. Их было человек десять-пятнадцать. Все это были совсем зеленые юноши и девушки. Вырванные из привычной для них жизни маленьких ремесленных местечек, они не умели

приспособиться к новой обстановке. Жили они вместе, все вместе мечтали о выезде в Палестину. Бесчисленное количество раз устраивал В. Мерхалев кого-нибудь из них на работу... Больше двух недель они на работе не удерживались. Их поддерживала наша касса взаимопомощи. Но стоило какой-нибудь копейке попасть в их кассу, как она моментально растрачивалась на кино, на конфеты, на чепуху, и они снова сидели голодные. Пьянства тогда среди ссыльных не было. Конечно, ссыльные не были аскетами. Пили вино во время вечеринок, отмечали Новый год, майские праздники. Но я не помню ни одного случая, чтобы кто-нибудь из товарищей был пьян.

Порой сионистская молодежь забегала к нам. Изредка кто-либо из нас заходил к ним. Близких отношений у нас с ними не было. Больше других дружил с ними Яша.

В 6 часов утра, когда мы еще только вставали, в комнату нашу ворвался бледный дрожащий Ваня.

— Шура, скорей идите к нам! Сема повесился! — с трудом произнес он, расплакался и выбежал.

Наспех натягивая тужурку, Шура выбежал за ним. Одна, с Мусей на руках, я не находила себе места. Вернулся Шура только вечером. Надо было вызвать врача для констатации смерти. Надо было уведомить ГПУ, сговориться о похоронах, заказать гроб. Надо было успокаивать молодежь, пораженную горем и страхом. Покойник оставил записку. Содержание ее не должно было стать известным никому, кроме тесного круга товарищей. В сионистской коммуне товарищи установили дежурство. Молодежь ни на минуту нельзя было оставлять одну.

Я не спрашивала, чем было вызвано самоубийство, но я знаю, не попади этот 18-летний юноша в ссылку, он мог бы жить.

Из нас тяжелее всех переживал эту смерть Яша. Сам еврей, он ближе других был связан с сионистами, и не мог себе простить, что не вошел в жизнь молодежи, не сумел уловить нездоровые настроения, приведшие к трагической развязке. Сам он жил в ссылке очень нервно и очень тяжело.

Что привело Яшу в партию, к революционной борьбе, — я не знаю. Арестован он был на Дальнем Востоке, когда партия существовала там совершенно легально. По типу своему он ничем не напоминал политического деятеля. Больше всего в жизни Яша любил искусство, особенно музыку. Красивый, всегда аккуратно одетый, подтянутый, Яша никого не впускал в свой внутренний мир. Внезапный арест вырвал его из легальной жизни и привел на Соловки. На воле у него осталась жена с грудным ребенком на руках. Материально она не была устроена и с трудом перебивалась. Шила на заказ, билась, как рыба об лед. Обладая

прирожденным изяществом и тонким вкусом, Фаня приобрела круг заказчиков. Со временем ей удалось перебраться к родным в Ленинград. Родные ее были люди обеспеченные, жить стало легче, Фаня поступила на курсы кинематографии. Красивую и способную ее ждал успех. Она увлекалась учебой, сценой. И очень любила Яшу.

Яша был скрытным, но все мы чувствовали, что его тревожило окружение Фани. Он предчувствовал, что жизнь разведет их. Он очень любил Фаню, он вообще любил женщин и утверждал, что женщины тоньше, глубже, душевнее мужчин. Женщины отвечали на его отношение сторицей. И молодые, и пожилые, и старые всегда баловали Яшу, чем могли. Окруженный друзьями и женщинами, Яша всегда оставался верен Фане.

В Чимкенте Яша очень подружился с сионистской-социалисткой Мирой, прелестной 20-летней девушкой. Вечно гуляли они вместе, слушали соловьев, рвали цветы, и Мира слушала Яшины рассказы о Фане.

Наконец, Фаня с сыном вырвалась на месяц к мужу. Как яркий, красочный луч ворвалась она в нашу ссыльную жизнь. Красивая, оживленная, нарядная, ласковая, добрая, она казалась чудесным, отзывчивым товарищем. Яша расцвел, помолодел, поздоровел. Его сынишка Лева, пятилетний малыш, был не ребенком, а картинкой. И картинкой незаурядной: умненький, хорошо воспитанный, прекрасно рисовал... Его рисунки ошеломили Яшу и нас. Мальчик поступал осенью в художественное училище.

С Фаней и Левой у всей ссылки установились хорошие отношения. Фаня привезла грудку своих снимков из разных фильмов. Оживленно рассказывала она о своих занятиях, об успехах. Она мрачнела, когда заговаривали о планах на будущее. И еще больше мрачнел Яша. Они очень любили друг друга, они составляли такую прекрасную пару, что радостно было смотреть на них, но Фаня увлекалась миром искусства, в котором жила, а Яша?..

Фаня приехала с целью вырвать Яшу из ссылки, из жизни, которой он жил. Она говорила о том, как трудно получить хорошую роль в фильме, как трудно одинокой женщине пробить себе дорогу. Насколько легче было бы ей жить, если рядом стоял бы ее муж. Тогда положение ее было бы ясно. Фаня говорила, что с теми связями, которые есть у ее родных, можно добиться разрешения жить Яше в Ленинграде. Он должен только отказаться от партии, уйти от партийных дел. Она придумала ему работу, дающую совершенно независимое положение и материальную обеспеченность.

Она привезла с собой краски для раскрашивания материи. Раскрашенные платки, платья, занавеси были очень модны; за них дамы платили большие деньги. Яша быстро освоил это мастерство. Вместе выдумывали они разные узоры, составляли трафареты. Яша стал получать заказы и хорошо зарабатывать и в Чимкенте. Но перебраться в Ленинград он категорически отказался. Ни сам не станет он за себя хлопотать, ни других на это не уполномочивает.

Яша не знал за собой вины. Он не мог отказаться от своих взглядов на жизнь, не мог уйти от товарищей, свернуть с дороги, на которую вступил, перестать верить в свои идеалы.

Фаня мучалась, металась от одного плана к другому. То решала все бросить, остаться в Чимкенте с Яшей, то начинала складывать вещи.

Вместо месяца она прожила у Яши два. Она пропустила все учебные сроки — и все же уехала в Ленинград.

Через два месяца после отъезда Фани Мира получила разрешение выехать в Палестину. Если бы Яша захотел, Мира осталась бы с ним. Яша не захотел. Он понимал, что все отношения с Фаней должны оборваться, но оставался верен и Фане, и Леве.

Иначе переживал свою душевную драму Богатов. «Душечка» — окрестили мы его в ссылке. Маленького роста, коренастый, плотный, пожалуй, даже толстый, он был очень добр и жизнерадостен. Он любил жизнь, общество, любил вкусно покушать, поспать. Он много зарабатывал, получив хорошо оплачиваемую должность экономиста-плановика. Завел себе красиво, со вкусом обставленную квартирку, был хлебосолом. Его тяготила холостяцкая жизнь, хотелось семьи и уюта. В письмах к жене он настаивал, чтобы она ликвидировала московскую квартиру, бросила работу и вместе с сыном переехала к нему. Жена колебалась. Она хотела приехать только в отпуск. Она писала, что не хочет срывать учебу сына. Мальчик учился в четвертом классе прекрасной московской школы. Боялась она потерять хорошую работу. Если бы была гарантия прочной семейной жизни в Чимкенте на годы... Но разве можно быть уверенным? Сегодня Чимкент, а завтра? «Душечка» не распутывал узел, а разрубал.

— Если у меня есть сын и жена, то короткие клочки жизни, которые перепадают на мою долю, они должны быть со мною. Я хочу вырастить из мальчика моего сына. Голос крови... все это чепуха. Сейчас я могу, мне дано оказать влияние на него, и это важнее, чем школы и классы. Никаких гарантий я дать не могу. Все не от меня зависит. Я не могу ехать к ним. Они не хотят ехать

ко мне, когда и пока это возможно. Значит, у меня нет сына. Вырастет чужой юноша.

«Душечка» прекратил переписку с семьей. Валентин Кочаровский, самый юный из нашей ссылки, 21 год, не был эсером, не успел примкнуть к партии, а может быть, и не примкнул бы к ней. Он мало принимал участия в политических разговорах и спорах. Очень привязан он был только к Мерхалеву. В ссылке у него сложился свой круг знакомых среди чимкентской молодежи. Особенно дружил он с двумя девушками-комсомолками.

Мы всегда чувствовали, что местное население сторонится нас. От этих девушек Валентин узнал, что общение с нами противопоказано. Их прямо предупредили, что общение с ссыльными несовместимо с пребыванием в комсомоле. Но девушки не прекратили посещений ссыльных и дружбу с Валентином. Их исключили из комсомола. Мало того, их выслали в ссылку из Чимкента. Мы были — изгои.

Из местных жителей с нами тесно общался всего один человек. Это был глубокий старик, еще при царе сосланный в Чимкент. Здесь он и осел. Стал местным краеведом. Он поддерживал связь с туземным населением по кишлакам, — часто у него гостили жители далеких селений. Им были созданы богатейшие коллекции насекомых и растений края.

Он дружил с Мерхалевым, но на Самсоньевскую заходил редко. К себе зазывал всех очень гостеприимно. Он рассказывал очень интересно о жизни местного населения, о нравах, обычаях, прекрасно владел языком. Он не страшился ГПУ, но наши товарищи, оберегая его, заходили к нему редко. Местное население

В общем, ссыльные варились в собственном соку. С туземным населением нас разделял язык, да и не очень оно благоволило к русским. Из женщин я не встретила ни одной, говорившей по-русски, ни одной, снявшей паранджу. Дочка нашего хозяина, тринадцатилетняя Хайри, знала русский лучше других. Паранджу она надела как раз во время нашего знакомства, — скрывала лицо от наших мужчин — и гордилась ею.

Нас очень интересовали нравы и обычаи населения, но увидеть их ближе как-то не удавалось. Жизнь туземцев протекала за высокими дувалами во дворах. Мужчинам нашим вход в них вовсе был запрещен. Нас, женщин, впускали охотно, но мы не понимали друг друга и только обменивались улыбками. Во всех учреждениях и предприятиях края, где работали исключительно русские, было введено обязательное изучение казахского языка. Но преподавание велось формально, и мало кто осваивал язык.

Возглавлял предприятие казах, обычно малограмотный человек. Вел же все дела его заместитель — русский. Казахи уверяли, что после года конторской работы человек заболевает туберкулезом и должен ехать в степь к своим табунам.

Узбеки были более приспособлены к городской жизни. Они занимались торговлей и легче приобщались к культуре. Из их семей многие юноши шли в школы и даже в университеты. Сын нашего хозяина учился в Ташкенте. Какая тогда была путаница и сумятица в головах, можно понять из его свадьбы.

С детства, со дня рождения произошел сговор между родителями жениха и невесты. Родителям невесты выплачивался калым. Этим летом пришлось женить парня и взять невесту в семью. Сын, комсомолец, приехал домой на летние каникулы. Надо было справлять свадьбу. Комсомол требовал гражданской регистрации брака, родители настаивали на соблюдении старинных обрядов. Решено было удовлетворить всех.

Сперва молодые отправились с толпой друзей жениха в загс. Там молодая сняла паранджу, и жених впервые увидел свою невесту. Из загса невеста под паранджой вернулась к себе домой. Наутро сына выселили из отцовского дома к соседям. К дому приближалась свадебная процессия. Впереди шли музыканты с длинными-предлинными трубами. За ними ехал воз, нагруженный доверху приданым невесты, а на нем сидела и сама невеста, укрытая паранджой. За возом шли ближайшие родственники, за ними — толпа гостей и ребятишек. У входа в дом невесту встретили родители жениха, сняли ее с воза и завели в дом. В совершенно пустой комнате один угол был отделен занавесью. За нее завели невесту и оставили одну. Там, в полном одиночестве, она должна была провести три дня и три ночи. Еду в пиалах ей по полу задвигали за занавеску. Три дня во дворе шло веселье. Музыканты играли, гости рассматривали приданое жениха и невесты, развешенное, разложенное во дворе для осмотра. Тайно, незримо для окружающих все три ночи в полном мраке должен был пробираться жених к своей невесте. На четвертые сутки брак входил в законную силу. Родители жениха выводили молодую из-за занавеса, и начиналась повседневная жизнь. И еще судьбы товарищей

Кажется, в 1927 году к нам в ссылку привезли трех больных товарищей, досрочно по болезни вывезенных из верхне-уральской тюрьмы. У всех трех развился острый туберкулезный процесс. Одной из них была та самая Таня Гарасева, которую я встретила в челябинской пересылке.

Положение больных было очень серьезным. Жара — летом, сырая дождливая погода — зимой вовсе не благоприятствовали

их здоровью. У Тани неделями шла горлом кровь. Она могла глотать только куски льда и мороженое. Две других с.-д., Лидия и Катя, температурили непрерывно. Наличие больных угнетало ссыльных. По очереди обслуживали их товарищи.

Позднее, все трое, как безнадежно больные, они были освобождены от ссылки и вернулись домой умирать. Так думали все. Через много лет жизнь снова свела меня с ними. В условиях воли все они выздоровели.

Несколько встряхнула, оживила нашу жизнь амнистия по случаю десятилетия Октябрьской революции. Мы не рассчитывали на амнистию. Все мы шли в тюрьмы и ссылки не по суду, не за какие-то преступные деяния. Постановлением ОСО, по ст. 5810–5811, даже просто за верность своим идеалам. В тюрьмах и ссылках мы оставались теми же, что были: не отрекались от своих убеждений, не давали обетов молчания. Как же могли мы рассчитывать на амнистию, видя, что политический зажим не ослабевает, а усиливается?

И все же вслед за опубликованием амнистии мы стали получать от товарищей письма с извещением, что кое-кого из товарищей по разным ссылкам амнистируют. Вызвали в ГПУ и нас — несколько человек дальневосточников и меня. Нам объявили, что по амнистии нам сбрасывается четверть срока.

Из нашей группы у Надежды Соломоновны Дерковской три четверти срока уже истекли, она получила чистый паспорт и могла ехать, куда угодно. У большинства настроение поднялось. Пошли разные толки. Только Шура ходил мрачный. Он доказывал:

— Очень грустно, что большевики укрепились настолько, что мы им больше не страшны, не опасны.

Шура мог успокоиться. Мы еще были опасны. Не успела дойти весть об амнистии до ссыльных мест, как вдогонку ей неслась новая директива: «Амнистия для политических отменяется». Только те товарищи, которым уже была объявлена амнистия, получили чистый паспорт, воспользовались им и уехали на волю.

К Пешковой полетели наши запросы. Что она могла ответить? Пешкова не могла добиться ответа даже о тех, чьи фамилии уже были включены в список. Объявленная мне амнистия осталась в силе, но чистого паспорта мне не дали. Я могла ехать куда-нибудь в «минус десять».

Нам с Шурой амнистия принесла много волнений. Шура должен был оставаться в ссылке. Остаться мне добровольно ждать его? Все говорило против этого. Сниматься с места и ехать потом всем троим одновременно — трудно материально, тем более, что,

если я не поеду сразу же по освобождении, я потеряю право на бесплатный литер. Приехав на новое место, мы оба окажемся без работы. Если я одна с девочкой поеду на новое место, Шура будет пока работать и помогать мне. Через девять месяцев, когда кончится его срок, он приедет в уже обжитое место. А ехать одной с двухлетней Мусей — тяжело и в пути, и на новом месте. Да и расставаться не хотелось.

Принять решение помогло нам ГПУ. В одной из регистрации всем эсерам было объявлено, что ссылка в Чимкенте ликвидируется и всех их перебросят в другое место. За сутки должны были они собраться на этап, сдать служебные дела и явиться в указанный час в ГПУ. Шуре одновременно было указано, что, если я не выеду немедленно из Чимкента, в литературе мне будет отказано.

Куда везут товарищей, им не сказали. Ехать с ними этапом я не могла. Какие условия будут в новой ссылке — неизвестно. В нашем распоряжении были одни сутки. Собраться с вещами ссылкеному недолго. Сложней было решить, куда ехать мне с Мусей. Два момента определяли наш выбор, ограниченный десятью пунктами: близость к месту жительства отца, которого мне страстно хотелось видеть, и выбор такого места, городка, в котором не было бы ссылных товарищей, отбывающих «минус». Мы хотели быть свободными от круговой поруки, чтобы отвечать только за себя в случае ухода из «минуса». Ведь к «минусу» мы тоже прикреплялись сроком на три года.

Склонившись над картой, перебирали мы города близ Москвы. При обширной переписке, которую вели ссылные, мы знали о местах пребывания очень многих товарищей. Город за городом отпадали. Казань — большая ссылка. Курск — тоже. Тверь...

— тоже. Тула... — тоже. Так наткнулись мы на Рязань. От Москвы недалеко, никого из ссылных как будто нет. Расспросили друзей. Никто о «минусах»

— ссылных в Рязани не знал. Неожиданно выяснилось, что Таня Гарасева из Рязани. Мы пошли к ней. Таня обрадовалась нашему выбору. В Рязани жили ее родители, старшая сестра с дочуркой.

— Поезжайте, Катя, — твердила Таня. — Старички у меня чудесные. Они вам помогут, а вы им обо мне расскажете.

Тут же Таня написала письмо родителям и вручила мне. Утром я проводила Шуру на этап, вечером оставшиеся в Чимкенте товарищи посадили меня с Мусей в вагон прямого пассажирского поезда Алма-Ата — Москва.

8. ПО «МИНУСУ» В РЯЗАНИ

Первый раз после долгих лет ехала я без сопровождающих. Я всегда очень любила поездки, но сейчас... увы, я не была вольной птицей, как раньше. Со мной была дочка, за которую я боялась, которая осложняла каждую мелочь в пути. За последние годы я привыкла к товарищеской среде, отвыкла от посторонних, остерегавшихся общения с нами, клеймеными. Мир как бы делился на «своих» и «чужих».

Особенно остро почувствовала я этот отрыв, отъезжая от Кзыл-Орды. В Кзыл-Орде наш поезд стоял полчаса. О проезде я дала телеграмму Пете Лобицыну, нашему товарищу и Шуриному другу, отбывавшему здесь ссылку. Петя недавно женился на сестре Игоря Корытнева, нашего товарища, которого я знала по Соловкам.

Ни с Петей, ни с Надей знакома я не была и, подъезжая к станции, все думала, как мы узнаем друг друга. Сомнения мои были напрасны. Увидя на перроне молодую пару, встречавшую поезд, я сразу узнала их. И они узнали меня по карточке, которую им выслал Шура.

Был жаркий казахстанский день. Надя была в легком белом платье, Петя — в белом костюме. Такие молодые, радостные, веселые! В руках у них были свертки, пакеты... Они прямо засыпали меня ими. Надя спешно говорила:

— Петя хотел цветы... Но в вагоне они так быстро завянут... Здесь курица свежая, только что зажаренная, ешьте сразу, и Мусе можно. Нам очень хотелось купить Мусе игрушку, да понимаем, у вас и так вещей много. Тут только одна кукла. Пусть в вагоне поиграет и бросит...

Надя была полна хозяйственными мелочами и заботами. Петя хотел спросить меня о Шуре. В окно разговаривать было неудобно, он просил меня выйти на перрон. Пробриться через вагон с Мусей на руках было трудно. Я колебалась. В разговор вмешались соседи. За день пути Муся познакомилась почти со всеми. Кто-то взял ее у меня с рук. Мы ходили с Надей и Петей по перрону и говорили без конца. Я должна была рассказать о Шуре, о Яше, о всех чимкентских друзьях. Петя рассказывал о кзыл-ординской ссылке, о своей работе.

Петя работал в финансовом отделе Кзыл-Орды, столицы Казахстана. Работа его увлекала. Я в финансах ничего не понимала, но Петя с увлечением рассказывал, что пишет какую-то капитальную работу, что у него уже подобран богатейший материал. «Финансы при социализме» или «Организация

народного хозяйства» что ли...

Разногласия между социалистами и большевиками не мешали нам верить в гибель капиталистического строя. Новые социалистические формы хозяйственного устройства интересовали всех. И многие товарищи теоретически разрабатывали эти вопросы.

О чем можно успеть поговорить на перроне вокзала? Звонок к отходу прервал нас. Мы горячо поцеловались, обнялись в последний раз, и я поднялась в вагон. Пока поезд шел тихо, они шли рядом с вагоном, потом замахали платками... Я смотрела на удаляющиеся фигурки. — Родные ваши, какие веселые и красивые, — сказал кто-то из пассажиров.

— Да, — ответила я. Могла ли я сказать, что это друзья, которых я вижу впервые в жизни.

Да, Петя был очень красивым. Он удивительно походил на Чехова какой-то внутренней одухотворенной красотой. В 1938 году он умер в уфимской тюрьме — так сообщалось в справке о его посмертной реабилитации. Дата его смерти соответствует дню суда. Был ли он расстрелян, покончил ли с собой в знак протеста... Об этом знают только судьи и тюремщики.

С Надей связан большой период моей колымской жизни.

Мы с Мусей ехали в Рязань. Из учебников географии я, конечно, знала кое-что о Рязани. Но сведения мои были убоги. Я дала телеграмму Ане в Малаховку, не сможет ли она встретить меня в Рязани? Я обдумывала, как буду устраиваться в Рязани. «Вещи сдам на хранение, отправлюсь с Мусей к Таниным родным. Пойду искать жилье».

Но подъезжая к Рязанскому вокзалу, я увидела на перроне сестру, рядом с ней стояла Лидочка, ее дочка. Не успели мы с Аней обняться, как она сказала:

— Едем! Я сняла комнату. Правда, на самой окраине города, очень маленькую, очень плохую. Если тебе не понравится, можно потом сменить.

Вместо забот — готовое пристанище! Все тревоги свалились с моих плеч.

Комната, и правда, была крошечная, как конурка, отделенная перегородкой. Небольшое окошечко ее выходило на застекленный коридор. В комнате стояла кровать, крохотный столик, табуретка. Когда мы четверо вошли, повернуться уже было нельзя. Девочек мы усадили на кровать, чемоданы затолкали под кровать, и тогда только смогли закрыть дверь.

Старушка-хозяйка, милая простая женщина, встретила нас приветливо. Предложила чаю, пригласила к себе в комнату. Сказала, что я могу пользоваться кухней, что Муся никого не

стеснит, если будет бегать по всему дому. Живет она одна с внучатами. Старшая — на работе, младшая — в школе. Хозяйка, конечно, не знала, кто я. А я сперва ничего не говорила о себе. Очень поразил ее мой паспорт, когда я дала его ей для прописки. Мне она ничего не сказала, но через стену я слышала, как она недоуменно говорила соседке: «Сама русская, а ни в одном русском городе жить нельзя»... В моем паспорте перечислялось десять городов, в которых жительство ссыльным запрещалось.

Пыталась хозяйка выпытать сведения у Муси, Муся говорила уже чисто, хорошо. На вопрос хозяйки об отце и матери она ответила:

— Мама Олицкая, папа Федодеев, а я Мусенька Федодеева, цесерочка.

Для хозяйки «цесерочка» или «эсерочка» были равно непонятные слова. Откуда Муся взяла это слово? Наверное, не раз слышала от взрослых и усвоила.

На другой день мы с сестрой и с детьми пошли на базар и по магазинам. Рязань после Чимкента казалась мне большущим городом. Огромные магазины, массы толпящегося народа. Где и как... но мы потеряли Лидочку. Аня пришла в отчаяние. Я тоже растерялась. Город был чужой. Долго бегали мы, смятенные, в страхе по базарной площади и, наконец, наткнулись на ревущую Лиду, С ней рядом стоял милиционер. Она все рассказала ему. И что мама приехала с ней встретить тетю, и что тетя приехала вчера и никого здесь не знает, и что они живут сейчас у чужой бабушки. Громче всех свою радость выражал милиционер, ничего не понявший из Лидиных рассказов. Аня и Лида плакали. Муся вторила им. Я пыталась всех утешить.

Занятые собой, мы ничего не замечали вокруг, пока меня не окликнули:

— Катя!

Кто мог знать меня в Рязани? О, Боже! Передо мной стоял с.-д. с Соловков Исаак Абрамович Розен, близкий друг Симы Юдичевой, часто бывавший в нашей камере.

Я была так уверена, что никого не встречу в Рязани! И вот тебе, пожалуйста, в первый же день... А Розен уже знакомился с сестрой и рассказывал, что здесь в «минусе» живут еще два с.-д. и двое эсеров, жена цекиста Каценеленбоген с двумя детьми и Строганов.

В наших с Шурой планах мы просчитались, но встрече я была рада. Розен был очень милый, умный, начитанный и мягкий человек. Провожая нас домой, он рассказал мне, что поселился в Рязани, потому что в Москве живет и работает его жена. Довольно часто она приезжает к нему. В Рязани очень трудно с работой.

«Минусникам» работы вообще не дают. Биржа труда на учет берет, но на работу не посылает. Розен сам жил на переводы с иностранных языков, которые эпизодически удавалось в Москве получить его жене.

Исаак Абрамович обещал зайти вечером, а мы с сестрой отправились к Гарасевым. Сестра завтра должна была уехать, ей хотелось познакомиться с людьми, которые, может быть, смогут помочь мне устроиться в Рязани.

Мы долго блуждали, разыскивая Нагорную улицу. Но зато, когда мы нашли ее и нужный нам домик, познакомились с Таниными родителями, мы были вознаграждены сторицей. Бывают же чудесные люди на свете!

Танин отец, старик-учитель, кроме педагогики, увлекался своим садиком около дома. Он превратил его в чудесный уголок земли. После природы Казахстана я с наслаждением вдыхала аромат нашей природы.

Танина мать, ласковая, милая старушечка, всплакнула над Таниным письмом, а затем всю материнскую нежность вылила на нас с Аней, на наших девочек. Она усадила нас за стол с большим никелированным самоваром и потчевала нас чаем с печеньем, вареньем, всем, что было у них в доме.

Первый раз в жизни увидела я у них маленький примитивный радиоприемник. Старушка рассказывала, как пусто стало в их домике, когда арестовали сразу и сына и двух дочек. Никаких политических взглядов у нее не было. Она говорила об огромном несчастье, которое свалилось на ее голову, на ее детей. Она хвалила своих дочурок, сына, она не допускала мысли о совершении ими какого-либо преступления, чего-либо порочащего их.

Мы сидели в столовой за большим обеденным столом, покрытым скатертью. Самовар, чашки с блюдцами, чайные ложечки, вазочки для варенья, салфеточки... Такая обычная, такая привычная раньше обстановка, после всех скитаний, казалась мне невозможной, невероятной.

Когда мы собрались уходить, старушка засуетилась. Что предложить? Чем помочь? Ее очень расстроило, что я отказалась взять кровать, матрац, стол, стулья. Но детскую кровать она все же прислала мне в дом с возчиком. Нас она нагрузила таким количеством яблок, что мы едва донесли их.

О работе ничего утешительного сказать мне не могли. С работой — трудно, безработных — много. Из-за ареста детей отец был не в почете. Репутация старого педагога была подорвана. Я редко бывала у Гарасевых. Мы условились, что они вовсе не будут приходить ко мне. Близкие отношения со мной могли только

усугубить их трудное положение. Так хотела, так просила я. Они же при встрече на улице и, если я заходила, принимали меня, как родную. Милые, чуткие люди! Работа сестрой-няней

Началась рязанская жизнь. Я прописалась, получила хлебные карточки, прикрепившись к магазину. Стала на учет на бирже труда. Шуре через Чимкент послала свой адрес. Он жил теперь в Мерке, в местечке недалеко от Чимкента. Он уже работал. Выслал деньги. Ежедневно получала я письма.

И. А. Розен познакомил меня с Леонией Максимиллиановной Каценеленбоген. Ее муж, наш цекист, был осужден по процессу 1922 года. Он был приговорен к смертной казни, замененной затем десятью годами тюремного заключения. Л. М. с двумя детьми моталась по ссылкам. Была она лет на 5 старше меня. Революция прервала ее образование. Она ушла с 5-го курса медицинского факультета. Медик по призванию, она сумела в Рязани найти свою работу. Она была старшей медсестрой в доме для грудных детей-подкидышей. Служащие и рабочие воспитательного дома имели казенные квартиры. Занимал воспитательный дом почти целый квартал, имел свою пекарню, свои кухни, лабораторию, прачечную. Леония Максимиллиановна рассказывала, как прекрасно он оборудован. Во главе его стояла женщина-врач — опытный, преданный делу человек. Побывав за границей для ознакомления с постановкой работы там, она применяла теперь все последние достижения. Л. М. радовалась, как многому она может научиться, как широко ставится полезная, нужная работа. Огорчало Л. М., что она не может всю себя отдать делу из-за детей. Муж ее сидел в тюрьме, детей она боготворила. Старший сынишка уже пошел в школу, младшего она поместила в детсадик. Чтобы иметь возможность больше работать, она взяла домработницу. Согласно положению о домработницах, Л. М. предоставила ей квартиру, выплачивала тарифную ставку за 8-часовой рабочий день, раз в неделю работница имела выходной день. В 7 часов утра домработница приступала к работе, в полвосьмого Л. М. уходила на работу. Мальчиков домработница уводила в школу и в садик, убирала комнату, варила обед на четверых. В час возвращался старший мальчик из школы, в 4, зайдя за младшим в садик, Л. М. приходила домой. Они обедали и, вымыв посуду, домработница уходила к себе. Остаток дня, вечер, посвящался детям. Весь выходной день был занят детьми и хозяйством.

Часто и подолгу обсуждали мы с Леонией Максимиллиановной женский вопрос, вопрос раскрепощения женщины от семьи. Пока он решен не был. Общество еще не могло подменить семью.

Огорчал Л. М. и другой вопрос, не личный. Низший персонал дома еще не был на высоте. Няни, уборщицы, сестры не помогали и не могли помочь медицинскому персоналу в его экспериментальной научной работе. Л. М. осенила мысль:

— Катя, а почему бы вам не пойти работать сестрой-няней! Идите в мое отделение, как мы работаем!

Сперва эта идея просто удивила меня. Но Л. М. так горячо стала убеждать, что им нужны культурные, добросовестные люди, точно выполняющие назначения врача, что я согласилась. Уладить прием на работу меня, опороченного человека, по настоянию Л. М. заведующая-врач согласилась. С требованием от учреждения с биржи труда я получила направление на работу. Работать я должна была посуточно. Квартирная хозяйка согласилась за дополнительную плату присматривать за дочкой.

Робко вошла я вслед за Л. М. и старшим врачом в палаты трудников-искусственников. Шел утренний обход. Сверкающая чистота. Высокими стеклянными перегородками и ширмами разделена палата на клетки. В каждой клетке детская кроватка и тумбочка. На тумбочке стопка чистых пеленок. Все блестит чистотой. Но в кроватях лежат не дети, а скелетики маленьких старичков, обтянутые кожей.

Каждого ребенка осматривали, взвешивали, записывали суточные назначения. Заметив мое подавленное настроение, Л. М. шепнула:

— На втором этаже размещены трехлетки. Цветущие ребята! Все они вышли отсюда, из этих клеток...

Трех дней достаточно было для меня в «питомнике», чтобы увидеть то, чего не видела Л. М. Врачи осматривали детей, делали назначения, в молочной кухне приготавливались всякие смеси, а сестры-няни перепутывали все. Они совали ребенку любую бутылочку с соской и если он достаточно быстро ее не выпивал, пересовывали ее в ротик другому. Иную порцию высасывала сама няня.

Врачи делали выводы о том, как реагирует ребенок на питание, вычерчивали диаграммы веса и температуры, меняли состав питания... а ребенок либо вовсе не ел, либо поглощал смеси всех сортов. А разве состав смеси был истинным? С молочной кухни, с общей кухни продукты уходили на сторону.

Приняв меня в свою среду, сестры-няни учили меня, как нужно выносить продукты, чтобы не попасться.

— Нечего этих сифилитиков жалеть, — уверяли они. — Матери у них — проститутки, отцы — пропойцы... О них заботятся, а наши детишки с голоду пухнут!

Что я могла ответить? Они воровали, чтобы накормить своих

детей. В семье моей квартирной хозяйки дети ели картошку с солью, и той были рады, если ее было вволю.

Целый вечер проговорили мы с Л. М. Огорчение ее доходило до отчаяния. Какое счастье, что вы пришли к нам! Теперь мы наладим работу! Я с сомнением покачивала головой. Через два дня меня вызвала в кабинет старший врач. Глядя в сторону, она сказала:

— Я вынуждена снять вас с работы. На этом настаивает профсоюз. Вы ведь не член профсоюза?

Я не огорчилась. Я облегченно вздохнула. Л. М. приняла мое увольнение трагически.

Дело оказалось простым. Заведующей «питомника» было указано на недопустимость принятия на работу лиц с поражением в правах. Ей прямо сказали:

«Достаточно, что у вас работает Каценеленбоген». Л. М. Каценеленбоген

Настроение у Леонии Максимиллиановны было очень тяжелое. Как-то вечером она сказала мне:

— Мне хочется рассказать один случай из своей жизни. Его я себе никогда не прощу. Передам ее рассказ, как сумею.

— В 22-ом году шел суд над эсерами. Все остро переживали его. Смертный приговор мужу был заменен десятью годами тюрьмы. У меня на руках было двое детей. Вы знаете, как детей Виктора Чернова забрали в ГПУ? Меня тоже хотели арестовать, отобрать детей. Я долго с ними пряталась, скрывалась. Потом меня вместе с детьми выслали. После попытки забрать их у меня, я стала, как ненормальная. Я не отходила от них ни на шаг. Мы могли сидеть голодные и холодные, но оставить их я не решалась. Товарищи в ссылке помогали мне жить. От мужа вестей давно не было. И вот однажды меня вызвали в местное ГПУ. Я была готова ко всему. Арест, так арест... Но вместе с детьми. Я оделась сама, одела мальчиков и мы пошли. Мне предложили войти в кабинет начальника, я вошла вместе с детьми. Начальник встретил меня очень любезно, даже предупредительно. Это еще больше насторожило меня.

— В нашей тюрьме, — сказал начальник, — содержится один заключенный, который тяжело болен. Он просит свидания с вами. Я решил пойти ему навстречу. Вы можете посетить его в камере.

Это прозвучало для меня невероятно. Когда и где допускали посетителей в камеры?! Я не поверила. Я сразу решила, что это ловушка. Крепко держа детей за руки, я сказала:

— Хорошо, я пойду в камеру, но вместе с детьми. Начальник стал убеждать меня в том, что это невозможно.

— Кто же болен? — спросила я. — Он назвал Агапова.

Агапов отбывал срок вместе с моим мужем в Бутырской тюрьме. Начальник показал мне заявление:

«Прошу разрешить мне свидание с Л. М. Каценеленбоген. Агапов».

Почерка Агапова я не знала. Записку сочла подделкой. Я не верила честному слову начальника, что свободно выйду из тюрьмы, что дети подождут меня в его кабинете. Я отказалась оставить детей. Меня отпустили домой.

Оказалось, что начальник говорил мне правду. Эсеры после суда, после замены смертной казни десятью годами заключения попали в ужасные условия строжайшей изоляции. И все же в тюрьме они связались друг с другом, повели борьбу за режим. Они объявили голодовку и условились голодать до конца, до удовлетворения всех своих требований. Они предвидели возможность развоза и голодать решили до соединения всех. Их-таки развезли в разные места. Агапов попал в нашу городскую тюрьму. От мужа он знал, что я отбываю здесь ссылку. Агапов был тяжело болен. Ему грозила смерть, он понимал это, но голодовки не снимал. Когда начальник получил указание, что требования голодающих удовлетворены и Агапова надлежит вернуть обратно в Москву, везти голодающего он не решался:

— Бессмысленно умирать, когда голодовка выиграна, — говорил он Агапову.

Как гарантии, Агапов требовал свидания со мной. Ему сказали, что я отказалась от свидания. Агапов не поверил ни в мой отказ, ни словам начальника о снятии голодовки. Голодающим его повезли в Москву. Его довели, он выжил. В этом мое спасение. И все из-за детей, из-за страха...

Л. М. разлюбила свою работу. Она увидела то, чего не замечала раньше. Нашим процессникам сократили срок с десяти до пяти лет. Каценеленбоген, как и другие, пошел в ссылку. Л. М. с детьми уехала к мужу. Я очень горевала, расставаясь с ней. Невозможно смириться с такой жизнью

Были у меня и еще попытки устроиться на работу. Более трех-четырёх дней меня на работе не держали. Шура писал: «Близится конец моей ссылки. Расте Мусю. Не унывай. Приеду, разберемся во всем вместе».

После тюрьмы и ссылки в дальние края я попала в центр России. Пять лет — не такой большой срок. Пять лет — не разрывают связи с прошлым. Я стала досягаема для близких. Только папа не мог приехать ко мне. Дорога ему была не по силам. Аня приезжала. Она свезла к себе на три дня Мусю, познакомить с дедом.

Я просила разрешения съездить на пару дней к отцу, который

жил теперь у Ани в Малаховке. Мне отказали.

Собрались ко мне в гости сперва тетя, потом Рая. Обе встречи были очень нежными, очень трогательными, проникнутыми воспоминаниями детства и юности. Они навезли мне подарков, приветов от друзей. Но все же пять лет, проведенные в разных условиях, наложили отпечаток на нас самих.

— Мы поэтизировали жизнь, Катюша, — говорила мне Рая. — Основное и главное в человеке — это его желудок. Все идеалы, все стремления возникают, когда человек сыт. Грубо говоря, брюхо диктует. Ты паришь в облаках! Надо смотреть на жизнь реально. У тебя есть все для счастливой жизни: муж, прелестная дочка, а ты коверкаешь жизнь и свою, и ее. Откуда ты знаешь, что большевики не правы? Жизнь налаживается...

— Чья жизнь налаживается?

Я не видела налаженности жизни. Я видела полуголодную жизнь моих хозяев, сестер воспитательного дома, нужду рабочего люда. Я видела запуганность, придавленность, молчаливое, робкое подчинение властям.

И тетя говорила мне:

— Жизнь налаживается; интеллигенция вся примирилась с большевиками. И большевики оценили ее, создают условия для работы. Ты знаешь, Пьерик получил уже звание профессора, ему создали прекрасные условия для научной работы. Если бы ты захотела...

Я не хотела. Мир моей юности стал для меня далек. Там остались два человека, верные идеалам моих юношеских лет — папа и Дима. Как я мечтала о встрече с ними!

Меня окружала чужая, незнакомая мне жизнь. Дорог-путей к людям у меня не было. Я нигде не работала, ни с кем не встречалась. Где могла я завязать знакомство? Да и знакомство со мной было людям противопоказано. Я сталкивалась с людьми в магазинах, на бирже труда, на базарах, в очередях. Там било в глаза недовольство, нужда, лишения.

Биржа труда была переполнена безработными. В магазинах ограниченное питание выдавалось по карточкам. Сперва магазины поразили меня чудесными витринами со всевозможными товарами. На мой вопрос продавец ответил просто: «Это — бутафория».

Чему научились люди — это говорить, произносить речи казенным, суконным языком.

На базарах крестьяне продавали продукты по бешеным ценам. Они были доступны лишь ответственным работникам и спекулянтам.

В те годы для парработников существовал партмаксимум.

Коммунист, на какой бы ответственной работе он ни находился, не мог получать более 360 рублей. Рядовой рабочий зарабатывал от 50 до 100 рублей. Фунт мяса на базаре стоил 50 рублей.

Семья моих квартирохозяев жила очень трудно. Ко мне они привыкли и относились хорошо. Хозяйка была милой и заботливой старушкой. Овдовела она давно. Муж ее был железнодорожником, обходчиком путей. От старых времен у нее оставался домик из трех комнат и кухонька. Жила она со своей младшей дочерью, которая работала на фабрике, изготавливающей фотобумагу, и воспитывала трех осиротевших внуков, учившихся в школе. Кланы уходила на работу в 6 утра и возвращалась в 6 вечера. Обычно, ее задерживали собрания и «ударники». В дни полочки Кланы приносила с собой лакомства — кусок колбасы, селедку, семечек. В обычные дни ели картошку с солью. Школьники, особенно мальчики, жили какой-то пустой жизнью. Учились плохо, целыми днями гоняли голубей или слонялись без дела. Книг у них в доме я не видела. Старушка была религиозной, но образа и иконы висели в задней комнате, за занавесью. В субботние дни и по большим праздникам к вечеру завешивались все окна, отодвигался занавес и зажигалась лампадка. Обычно незапертая дверь закрывалась тогда на замок. Этого требовала Кланы. Она была комсомолкой.

— Если зайдет кто из товарищей, увидит иконы, расскажет на работе, тогда — увольнение.

В комсомол Кланы вступила, чтобы устроиться на работу.

Меня поражала замкнутость людей. В гости друг к другу почти не ходили. Может быть, объяснялось это тем, что угостить было нечем. Но даже молодежь не общалась между собой. Вечерами город был пуст. Не было видно веселой, гуляющей толпы. Я вспоминала свою юность — Курск... школьные годы... Куда делись оживленные, веселые группы молодежи?..

Хозяйка рассказывала мне об ужасах, пережитых Рязанью, — доносах, расстрелах, подвалах ЧК. «За слово, ведь, за слово сажают». Как-то хозяева показали мне коменданта ГПУ. «Он собственноручно расстреливает в подвалах и от каждого убитого берет себе на память зуб». Может, то были вымыслы, но откуда-то шли эти слухи об ужасах застенков. Мне пришлось слышать много страшных рассказов о расправах с валютчиками. Приходилось слышать рассказы и о частых психических заболеваниях среди сотрудников ГПУ.

Верить рассказам или не верить? Со мною в стенах ГПУ во время следствия и допросов ничего недозволенного не допущалось.

Удручала меня странная опустошенность жизни людей,

придавленность, пришибленность, запуганность.

При содействии Строганова, работавшего в правлении Потребсоюза, мне удалось получить уроки по преподаванию коммерческой арифметики на вечерних курсах повышения квалификации счетоводов.

Коммерческую арифметику я сдавала в институте. Зачетные книжки у меня были. Этого оказалось достаточным для предоставления мне работы. К занятиям я усидчиво готовилась, но на первом же уроке, войдя в класс, была потрясена — передо мной в аудитории сидели убежденные седидами старцы — бухгалтеры, счетоводы. Все они были работники-практики, начавшие с учеников — мальчишек на побегушках. Они никогда не слышали о коммерческой арифметике, не проходили даже школьной арифметики. Не знакомые с теорией, они обладали практикой, прекрасно справлялись с работой и вовсе не хотели учиться. Однако учеба была принудительной и явка на уроки — обязательной.

Первые уроки прошли хорошо, класс был полный. Пришедшие на занятия проявляли интерес, задавали вопросы, радовались облегчающим вычисления приемам. Я увлеклась, мне показалось, что я помогаю людям освоить их дело. Но с каждым днем посещаемость падала. Я винила себя в том, что не смогла заинтересовать аудиторию. Своим отчаянием я поделилась с кем-то из преподавателей курса. Мне сказали, что посещаемость падает не только у меня. Строганов успокаивал меня, что я могу спокойно продолжать занятия и получать 20 рублей за час.

— Занятия обязательны, — говорил он. — Если вы заявите о плохой посещаемости, будут гонять людей силой, под угрозой увольнения. Деньги на курсы ассигновали, и курсы проведены будут.

То же твердили мне другие преподаватели.

Если бы хоть одни и те же люди приходили на занятия, если бы я чувствовала, что пять-шесть человек заинтересованы занятиями! Нет, каждый раз приходили другие.

Я познакомилась с одним из слушателей, и он объяснил мне:

— Учиться никто не хочет, даже не может: нет времени, нет сил. А сорвать занятия нельзя. Вот и ходят по очереди, как на дежурство. А начальство знает об этом, гоняет помаленьку, чтоб класс пустой не был, чтобы формально, пусть на бумаге, в отчете, занятия шли.

Я отказалась от работы, аргументируя свой отказ семейным положением. Новых попыток устроиться на работу я не делала, я ждала Шуру. И только заходила на биржу труда, регистрировалась, справлялась о работе. Снова Шура с нами.

Наконец, Шура приехал. С Мусей встретили мы его на вокзале. За восемь месяцев Муся отвыкла от отца, не шла к нему на руки, цеплялась за меня. Но всего два часа понадобилась ей для восстановления прежних дружеских отношений.

С первых же дней приезда Шуры мы стали искать новую квартиру. В моей было терпимо нам вдвоем. Теперь, когда мы были с Шурой вместе, когда мы хотели поговорить, лишь психологическая отгороженность от хозяев дощечками стесняла нас. Да и тесно было втроем.

Комнату мы нашли легко. Была она незавидная, но изолированная, с отдельным ходом. Понравились нам и хозяева. Хозяин был пенсионер, рабочий — на железной дороге. Хозяйка — приветливая и добрая женщина. Жили старики вдвоем. Поговорив с нами, хозяин припомнил старые годы, стачки и забастовки 1905-го, первые месяцы 1917-го, организацию железнодорожников ВИКЖЕЛ. В сдаваемую нам комнату хозяин притащил две кровати, из своих комнат — большой стол и пару стульев. В просторной кухне, которой они почти не пользовались, мне было разрешено хозяйничать, как мне хотелось.

Шура стал на учет на бирже труда. После трех лет работы в ссылке он стал квалифицированным счетным работником. Биржа послала его на работу, но в предприятии, узнав, кто он, сразу же отослали его обратно на биржу труда. Три раза посылали его на работу, три раза снимали. На своем опыте проверил Шура то, что писала ему я, что говорили товарищи.

Мы хотели перейти на нелегальное положение. Но предварительно Шура должен был оглядеться, подготовить условия. Для этого нам нужно было некоторое время жить и работать.

Частных предприятий в то время не было. В государственные нас не брали. Уже давно назревало у меня намерение пойти в ГПУ требовать работы. Но я ждала Шуру. Теперь мы были вместе, теперь мы оба были без работы и оба пришли к моему давнишнему желанию.

Мы сообщили о нем Розену и другим «минусникам», жившим в Рязани. Они в один голос отговаривали нас, считая наше решение бесплодной затеей. Они уже обращались в ГПУ, но получили ответ, что для посылки на работу существует биржа труда, а они-де в эти вопросы не вмешиваются. Нас не убедили товарищи, мы стояли на своем.

Мы предупредили товарищей, что без положительного ответа домой не вернемся, и в случае чего наши вещи просим переправить в ГПУ.

Утром Шура и я с Мусей пришли в ГПУ и подали письменное

заявление на имя начальника, настаивая на личном приеме. Начальник вызвал нас поодиночке — сначала Шуру, потом меня. Начальник заявил, что никаких препятствий к устройству на работу с их стороны нет, что ведает трудоустройством биржа труда, что предписывать ей они ничего не могут. Мы же говорили, что жить без работы не можем, а с работы нас сразу снимают, узнав, что мы «минусники», что, очевидно, есть какой-то неписанный закон о работе для нас. Заканчивая беседу, мы заявили, что до тех пор, пока нам не будет гарантирована работа, мы из ГПУ не уйдем, так как идти нам некуда. Жить без работы мы не можем.

Выйдя из кабинета начальника, мы уселись на скамье в коридоре. Время шло. Несколько раз нам предлагали очистить помещение. Мы не двигались и забавлялись с Мусей. Наконец, начальник снова вызвал Шуру. Шура вернулся с двумя заклеенными

9. НА НЕЛЕГАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Подготовка к переходу на нелегальное положение

Сперва мы думали, что Шура перейдет на нелегальное положение один, а я останусь с Мусей. Мы видели, как матерей с крошками на руках гнали общим этапом. Конечно, на меня окажут нажим для получения показаний о Шуре. Чем таскать девочку по тюрьмам и этапам, не лучше ли отослать ее к бабушке? Постепенно мы пришли с Шурой к выводу, что переходить на нелегальное положение надо бы обоим. Моей задачей станет найти квартиру где-нибудь в Подмоскowie.

Как-то вечером заговорили мы о наших планах с Яшей. Угрюмо выслушал он нас. Он не возражал. Он знал о наших планах, когда переселился в Рязань. Но разделить с нами наши планы он не захотел. Что случится с ним, пусть случится. Мы не должны над этим задумываться. Но в нашу попытку он не верит и участия в ней не примет. Из предосторожности Яша перестал бывать у нас.

Трудностей перед нами было очень много. Нам обещали поддержку в Москве и Ленинграде, но обещали ее люди неискушенные, неопытные в нелегальной работе. Да и связь с ними до перехода на нелегальное положение была затруднительна и нежелательна.

Прежде всего, нам нужны были фальшивые документы. Документы в те годы были примитивные, но каждому человеку требовалось их уйма. Конечно, нужно иметь паспорт. Кроме того, нужна была справка с места работы, документ о регистрации с биржи труда. Каждый приезжающий в город должен иметь документ о снятии с учета в смысле продовольственных карточек, так как люди прикреплялись к продовольственным магазинам.

Шуре нужен был военный билет. Мы знали, что в Москве на толкучке из-под полы продают паспорта. Но нам не годились эти неизвестного происхождения документы. Мы знали, что нелегальных бродяг в России тысячи, в большинстве это—сбежавшие от раскулачивания крестьяне. Они просто скрылись от ареста, жили тихонечко, устраивались на работу. Нам нужно было другое.

У меня были старые документы об окончании школы, курсов, что-то аналогичное было у Шуры. Мы сняли копии с этих документов и заверили их в горсовете. Копии мы написали так, что при разрезании листка пополам на одной половине его

оказалась печать и заверяющая ее подпись. На чистой обратной стороне мы написали нужные нам удостоверения. Особенно старались мы над моими документами. Шура не предполагал прописываться, жить легально по фальшивке. Я же должна была и на службу устроиться, и квартиру обеспечить чистой.

Как-то Н. принес нам женский паспорт, найденный им. Был он выдан на имя Зои Григорьевны Камышниковой. Паспорт был недавно выписан и нигде не прописан. Возраст владелицы паспорта совпадал с моим. Карточка, довольно туманная, пожалуй, имела со мной отдаленное сходство. Собственноручной подписи на паспорте не было. Мне очень не хотелось брать этот паспорт. Чем-то нечистым веяло мне от этого документа, может быть, живого человека. Но Шура и Н. меня уговорили, а все остальные справки мы подделали на имя, поставленное в паспорте.

Мучительным был для нас вопрос о Мусе. Бабушка соглашалась взять ее к себе. Она примирилась с неизбежной участью сына. Она подолгу гостила у нас в Рязани и подружилась с девочкой. Она водила ее в церковь. Мне казалось, что она хочет забрать ее от нас и окрестить. Что было делать? Отослать Мусю к бабушке и уйти в жизнь и борьбу? или остаться около Муси и смотреть на происходящее, притаившись в своей норе? Да и это не помогло бы. Товарищей то там, то тут арестовывали без всякого дела с их стороны. Уцелеть в те годы означало отречься от субъективной правды и признать объективную ложь.

А как показала жизнь, 1937 год, и это бы не помогло.

Мы решили отправить Мусю к бабушке. Девочке исполнилось пять лет. Как все дети, живущие среди взрослых, развита она была не по летам. Мы остерегались говорить при ней о многом, ребенок удивительно быстро схватывал разговоры окружающих. Узнавала я о разных ее мыслишках совершенно случайно.

Муся с восторгом приняла наше решение отвезти ее к бабушке. Целыми днями рассуждала она о том, какие игрушки возьмет с собой. Отвезти ее обещала дочь нашей квартирной хозяйки, едущая в Москву по делам. Но накануне отъезда, ложась спать, Муся прижалась ко мне и сказала:

— Мама, вы с папой никуда без меня не уедете?

И без конца стала повторять свой вопрос и плакать. Она требовала бесконечных уверений, что мы не уедем. На вокзал провожать Мусю мы поехали оба. Всю дорогу до вокзала она ликовала. Дочь хозяйки везла с собой еще и своего сынишку. Дети восторженно зашли в вагон, уселись у окна. Муся спокойно простилась с нами. Улыбалась нам через окно, но в самый последний... (Вероятно, пропущено 2 стр. — прим.

перепечатавающего.) Отъезд

Шура ушел, я стала готовиться к отъезду. Шура уехал «в никуда». Я должна была ехать куда-то. В какой-нибудь подмосковный город, устраивать жизнь, искать квартиру, работу. Чтобы не возбудить подозрений, мне нельзя ехать без вещей. А что я могу взять с собой, незаметно вынеся из дома? Я мысленно перебирала в голове вещи. Складывать вещи до вечера я не могла. Комната наша до последней минуты должна оставаться неизменной.

В понедельник, когда на часах пробило восемь, я уже знала, что Шура не вернется, где бы он ни был. Оставалось дожидаться вечера. На мое счастье старики-хозяева ушли из дому и сказали, что вернутся поздно. В узел, в одеяло поспешно связала я вещи. «Встречусь с ними, скажу — белье в стирку несусь». Я складывала все, что считала необходимым взять, и тут же маскировала комнату, чтобы она сохранила жилой вид, если кто случайно заглянет. Узел получился большой. Выйти с ним из дома я могла, но тащить его до самого вокзала мне было трудно. И я решила взять с собой мешок.

Поезд отходил поздно. На улицах было темно. Выйти на какие-нибудь задворки, запихнуть узел в мешок... Тогда и уйти удобней. Платок, полушалок надеть по-крестьянски, по-деревенски, по-бабы. В вагоне преобразусь в даму под карточку на паспорте. Я сшила постельник, чтобы в вагоне переложить в него вещи. Только бы не встретить по дороге кого-нибудь из знакомых, сослуживцев, работников ГПУ. Ведь за три года жизни в Рязани в лицо меня знали многие. В Москве думала я купить чемодан, чтобы появиться по-людски на место. Будет он пустой — и пусть, как в витринах магазинов — бутафория!

Так скоротала я день. На работу я уже не пошла. На улице смеркалось, когда я вышла из дому. Узел был велик и тяжел. Я пробиралась к вокзалу задворками. Кругом шли пустыри. У какого-то длинного забора я остановилась, огляделась по сторонам, вытянула мешок и затолкала в него узел. На голову по-деревенски завязала платочек, на плечи, накрест, повязала шаль. Подлиннее опустила юбку. Закинув на плечи мешок, сгибаясь под ним, зашагала к вокзалу. Билет у меня был взят заранее. Поезд, которым я должна была ехать, формировался в Рязани. Его вагоны стояли уже на путях, когда я подошла, никого не встретив. Никем не замеченная, забралась я на верхнюю полку и прикинулась спящей. Суетня в вагоне все увеличивалась. Мне было грустно и смешно. Глупейшим казался маскарад. Встреть меня кто — вышло бы лучше, хуже?.. Ни один человек не бросил на меня подозрительного взгляда. А поезд уже подрагивал,

покачивался. Рязань осталась позади.

Я лежала на верхней полке и думала, и не думала, и спала, и не спала. Назад путь был отрезан, впереди — неизвестность. Встречу я Шуру в Москве или не встречу? Даже этого я не знала. Если все в порядке, — встречу. Правильно ли я поступила, не удержав Шуру и идя за ним? Иначе поступить я не могла. Не я ли всегда говорила: жить, видеть подлости и молчать — трусость или предательство. Против творящегося кругом каждый честный человек должен протестовать. Вот и Дима молчал до тех пор, пока сделка с совестью была возможна. Жизнь и порядочность принудили его нарушить молчание.

В Москву мы прибыли рано утром. Еще в поезде я упаковала вещи в постельник и на вокзале сдала их на хранение в кассу ручного багажа. Зашла в дамскую комнату, оделась, причесалась под Зою. Непривычно взбитые волосы, непривычная шапочка, непривычный синий костюм. Измененной видела я себя в зеркале. О неузнаваемости речи, конечно, быть не могло. Я просто репетировала для прописки Зою Камышникову.

До встречи с Шурой оставалось много времени. Я отправилась бродить по Москве. Семь лет назад уехала я из нее. Много воспоминаний всплывало на каждой улице, в каждом переулке. Здесь недалеко жила моя приятельница, но я не хочу встречи... Встреча со мной компрометирует каждого. Если я сверну за угол, я могу пройти мимо дома, в котором сейчас живет Муся. И этого нельзя. От соблазна сажусь скорей в автобус и еду в зоосад. На Кудринской я зашла в закусочную, поела и снова зашагала. По Поварской на Арбатскую площадь и бульварным кольцом снова на Кудринскую. Я больше не хотела бродить, а села на скамейку. В руках у меня была книга, купленная в одном из вокзальных киосков. Я раскрыла ее, склонилась над ней, но читать не могла. Напротив меня висели большие уличные часы. То и дело поглядывала я на них, торопила взглядом стрелки.

Шуру я увидела издали. Он тоже попытался изменить внешность. В новом сером пальто, в новом сером козыристом кепи. В последнее время он отпускал маленькую курчавую бородку. Теперь — крошечные усики-испаньолку. Как и я, он несколько изменился, невнимательный взгляд, может быть, и проскользнул бы мимо, но рост, походка... Мне казалось, они выделяют его из толпы прохожих. Шура подошел, мы поздоровались за руку, как добрые знакомые. Глаза наши и улыбки сияли навстречу друг другу. Через два часа у Шуры какое-то деловое свидание...

По ряду соображений местом моего жительства Шура предполагал город Серпухов. Поезд на Серпухов отходил через

три часа. Прибывал он на место в 4 часа дня. До вечера мне нужно было найти себе пристанище. Мы условились, что через неделю этим же поездом Шура приедет ко мне. Я выйду встретить его на вокзал. Тогда, в зависимости от моих и его успехов, будем планировать дальнейшее.

Времени у нас было немного и, потолковав о моем выезде из Рязани, о его первых шагах в Москве и посмеявшись над нашим маскарадом, мы разошлись. Я отправилась на Рязанский вокзал, чтобы забрать вещи и перебраться на Курский. Купив себе по дороге чемодан, вложила в него книжку, какие-то мелочи и купленные продукты. «Итак, — говорила я себе, — Зоя Григорьевна Камышникова едет в Серпухов». В поезде я придумала себе биографию, причину переезда в Серпухов. Какая бы ни подвернулась мне хозяйка квартиры, она будет спрашивать, и я должна быть готова ответить. Надо все обдумать, запомнить, не сбиться в мелочах. Выдуманная мной история была проста.

Я разошлась с мужем. В Москве найти отдельную квартиру не было возможности. Дочку я оставила у бабушки. Сама хочу попробовать устроиться в Серпухове, так как мне говорили, что здесь легко с работой. Поступлю на работу, возьму дочку к себе. Пока не обоснуюсь материально, буду ездить в Москву, проводить ее.

Выбросить из своей биографии Мусю я не могла. Серпухов

Поезд остановился на ст. Серпухов. Я вышла из вагона. Город — чужой, и я — не я. За плечами — сожженные корабли, впереди — все под знаком вопроса. Прежде всего, надо найти приют.

Сдав, как и в Москве, вещи на хранение, я шла по незнакомым улицам, вглядываясь в стены, в двери... Я искала объявления о сдаче комнат. Расспрашивать прохожих мне не хотелось. Я шла и шла. Миновала центральную улицу, вышла к окраинам. Домики стали меньше, заборы меж ними длиннее. Прохожих встречалось мало. Очевидно, все они знали друг друга. На меня оборачивались, присматривались. Наконец, одна старушка, сидевшая на порожке крыльца, спросила:

— Видно, кого разыскиваете на нашей улице?

— Нет, бабушка, квартиру себе ищу, комнату.

— Ишь ты, — сказала она, — видно приезжая?

— Приезжая.

— Что ж ты, семейная или одинокая?

— Одинокая.

— И детей нет? — Нет, я для себя одной ищу.

— Что ж, ты работать или в командировку?

— Работать буду, если устроюсь...

— Ну и хорошо, что одинокая, с детьми теперь никто не

пускает. Жаль, я вчера только жиличку пустила, я бы лучше тебя взяла. Попытайся, зайди через два дома к моей куме. Говорила, если найдется одинокая, — пущу.

Я поблагодарила разговорчивую старушку и пошла по указанному адресу. Славный домик с аккуратными, чистенькими оконцами и крылечком стоял внутри ограды. Из окон его неслись звуки радио. Я долго стучала в дверь. Наконец, за ней послышалось какое-то движение. Дверь открылась. На пороге передо мной стояла точь-в-точь такая же старушка.

— Бабушка, мне сказали, что вы комнату сдаете?

— Что ты, что ты! Откуда у меня комната? Кто тебе сказал?

— Кума ваша сказала, что вы одинокую женщину пустили бы.

— А ты одинокая? ни детей, ни мужа нет? А ну, зайди. Что ж мы на крыльце-то стоим?

Через сени мы вошли в маленькую кухнюшку, почти всю занятую русской печью. Старушка начала допрос с пристрастием. Попутно она сообщила мне, что комнаты у нее, собственно, нет, а есть перегородочка. Что живет с ней еще жиличка, недавно ее пустила, так, бездомная. Из села ушла. На чулочной фабрике работает.

Я рассказала старушке выдуманную в поезде историю. Что я разошлась с мужем, что бил он меня страшно, из дома выгнал, что дочка моя живет у бабушки, и там останется, а я устроюсь на работу и буду к ним ездить. Старушка разахалась надо мной, посокрушалась над женской долей, стала меня успокаивать, что я без мужа лучше проживу и что с работой здесь легко устроюсь, что в Серпухове идет большое строительство.

В общем, квартирный вопрос теперь был решен. За 12 рублей в месяц я становилась обладательницей перегородки. При мне перетасила старушка постель дочки в зальце. В маленькой комнате, отгороженной не доходившими до потолка досками, остались столик, кровать и этажерка. Я попросила сегодня же прописать меня, так как завтра иду на биржу труда и прикреплять продуктовые карточки. Я отдала ей все справки для заверки в милиции по месту прописки и паспорт. Подавая документы, руки мои дрожали. Я была счастлива, что могу отдать их кому-то. Сама я спешила удрать на вокзал за вещами.

На мое счастье, старушка была подслеповата. Взяв паспорт и взглянув на карточку, она разахалась над тем, как я изменилась, до чего мужчины нас доводят. Я поахала вместе с ней и ушла. Домой я не торопилась. Мне хотелось придти к возвращению хозяйки. В милиции ни за что бы не поверили, что в паспорте моя фотография. Безумие, сплошное безумие было брать этот паспорт. Но теперь сожалеть поздно. Сойдет с рук, и немедленно уничтожу

его, сожгу — «потеряю». Я возненавидела паспорт, возненавидела чужое имя Зои Камышниковой.

Но все обошлось хорошо. Когда я уже в сумерках вернулась домой, хозяйка отдала мне паспорт и заверенные справки. Я сейчас же запрятала этот проклятый паспорт в самый дальний угол чемодана. А через несколько дней, воспользовавшись отсутствием хозяйки, сожгла его в русской печи, смешав золу кочергой. На следующий день я пустила в ход остальные фальшивки. За них я не беспокоилась. Они были без фото, и они были хорошие.

Просто и легко прикрепила я карточки в продовольственном магазине. Просто и легко встала на учет на бирже труда, зарегистрировавшись, как счетовод.

Не успела я опомниться от всех своих удач, как биржа послала меня на работу. Серпуховской строительной конторе требовался счетовод. С трепетом взяла я направление из рук барышни, сидевшей за окошечком посылки на работу. Ну, какой я счетовод? Шура в последнее время натаскивал меня в счетной работе. В Чимкенте я работала на разрядке крестьянских бюджетов. Три недели проработала я калькулятором в пошивочной. Это было все.

В стройконторе старший бухгалтер, познакомившись с направлением, послал меня к бухгалтеру материального склада. Тот мне очень обрадовался:

— Наконец, нам прислали настоящего счетовода! А то все шлют девочек со школьной скамьи. Учи их! А мы завалены работой. Вы знакомы с копиручетом?

Я была готова провалиться на месте.

— Вот как раз с ним я не знакома.

— Ну, это не важно! Зная счетоводство, вы быстро разберетесь. Я вам сейчас объясню, — он подвел меня к большому письменному столу. — Это будет ваш стол. Прежде всего, вы проверите уже разнесенные документы. Надо разыскать ошибки. Приступите к работе завтра с 8 часов утра. Часок мы с вами вместе поработаем.

Так началась моя жизнь и работа в Серпухове. Жила я очень замкнуто. Ни о чем, кроме работы, не беседовала со служащими. Вечерами сидела в своей комнате и читала. Хозяйка не могла нарадоваться на свою тихую квартирантку.

Ровно через неделю я встретила Шуру на Серпуховском вокзале. Вместе отправились мы обедать в серпуховскую столовую. Потом пошли в городской скверик. Вечером Шура должен был уехать.

Шура был рад моим успехам. У него дела шли куда

медленной. На каждом шагу встречались препятствия, требующие отсрочки. Сейчас он собирался съездить в Ленинград, по возвращении оттуда снова заехать ко мне. Хорошо, что у меня теперь был адрес, по которому он мог писать, известить меня о дне встречи.

Чрезвычайно трудно было доставать бумагу. Она продавалась только по ордерам учреждениям. На почте в одни руки давали по 2–3 почтовых листочка. Ученические тетради распределялись только по школам. Не было возможности достать шапирографские чернила, достать восковку. Очевидно, шапирографский состав придется варить самим, но достать желатин очень трудно. Московские друзья Шуры начали потихоньку покупать желатин у спекулянтов. Но те продавали по два, по три листочка, а драли по 75 копеек за листок. С деньгами тоже плохо, заработки так малы, что сэкономить на них почти невозможно. Ему никто не говорит об этом, но он сам видит, как тяжело его питание ложится на семьи, где он ютится. Шура возлагал большие надежды на Ленинград.

В конце 1931 года страна буквально кишела нелегальными, бежавшими из деревень, жившими по липе, или вовсе без документов. Уходили из сел раскулаченные или ждавшие раскулачивания, бежали ссыльные и переселенцы. Мне часто приходилось с ними сталкиваться. Они не очень скрывали свое положение. Население относилось к ним сочувственно. Шли они в места, где был большой спрос на рабочие руки, где набирали чернорабочих, не присматриваясь к документам. Позже мне пришлось видеть целый колхоз, возникший из сбежавших с Украины «кулаков». Сбежав, они могли работать на железнодорожном строительстве. Вместе со строящейся дорогой продвигались вперед, жили в бараках. При возведении одного большого моста в Калужской области надолго задержались в одном месте, а когда работа закончилась, осели на новой земле.

Жиличка моей хозяйки тоже была беспаспортной из семьи раскулаченных. Родных ее выслали на север, а она ушла. Было ей 19 лет. В Серпухове она устроилась на работу в чулочную мастерскую, получила справку с места работы, по ней прописалась. Она тосковала по сельской жизни, по сельской молодежи.

С питанием в Серпухове, как и в Рязани, было очень трудно. Но я не ощущала голода, живя одна на свою зарплату. Обедала я в столовой, хлеба, выдаваемого на карточки, мне хватало, кое-какие продукты я привезла с собой из Москвы.

Магазины были пусты. По карточкам отпускали мизерное количество товаров, на базарах все продавалось по невероятным,

недоступным ценам. С Украины шли слухи о настоящем голоде. В Серпухове от голода не умирали. Я видела очень истощенных людей, но умирающих на улице не видела. Изредка в магазинах появлялся какой-либо товар. Сразу выстраивалась очередь, люди бежали со всех сторон узнать, что дают, (бежали и с работы). В полдень уборщица нашей конторы разносила чай для служащих, конечно, без сахара. Брали его далеко не все. Не у всех было что-нибудь к этому стакану чая. Если уборщица сообщала, что в магазине напротив продают булочки, контора пустела.

Как-то, возвращаясь домой, я увидела большую очередь у продовольственного магазина. Я ненавидела очереди и не интересовалась ими, но из разговоров суесящихся у магазина людей я узнала, что в продажу поступила горчица, лавровый лист, перец, уксус и желатин. Кажется, первый раз в жизни я засуетилась, как бы достать, как бы пролезть, пробиться к прилавку. Кажется, никто, кроме меня не интересовался желатином. Я не имела ни малейшего представления о весе желатина, о том, сколько нужно взять, сколько можно спросить. Наконец, я стояла уже перед продавцом, и он спросил:

— Сколько вам отпустить?

— Килограмм, — бухнула я первую пришедшую мне в голову меру веса.

— Зачем вам столько? — удивился приказчик.

— Я для детского дома беру. Счет мне выпишите, — врала я.

Приказчик начал отвешивать. По мере того, как росла на весах грудa листков желатина, росло во мне чувство ужаса. «Куда я дену? Как донесу?» Мне казалось, что на мою растущую грудy смотрят все покупатели, все продавцы. Наконец, я получила огромный сверток. Стоил он ерунду, а Шура говорил, что в Москве за листочек берут 75 копеек. Вот где можно нажать состояние! С трудом вышла я с пакетом из толпы, наполнившей магазин. Все рвались достать уксус, перец, лавровый лист. Теперь как идти по улицам? Как пронести пакет домой?

При виде покупки в руках у человека в те времена все прохожие оборачивались, спрашивали: где купили, что купили? Проклятые листочки желатина топорщились, прорывали бумагу. Кое-как пробежав улицу, я завернула его в снятый с себя жакет. Благополучно донесла я желатин до дома, засунула его в чемодан и заперла чемодан на ключ.

В свой очередной приезд Шура был в восторге от моей покупки. Зато следователь после моего ареста ни за что не хотел поверить, что желатин я купила в магазине. Просто купила! Они были уверены, что я скрываю какой-то сложный путь, покрываю замешанных в его добывании людей.

Шуре тоже было чем похвалиться. Так же случайно, как я желатин, добыл он глицерин. Теперь мы могли сварить шапирографскую массу. Сварить... Но где и на чем? У Шуры были готовы для печатания две листовки. Люди жаждали листовок для распространения. Мы добыли бумагу.

Шура измотался за последние месяцы скитаний, работа двигалась медленно, и ускорить ее было невозможно. Короче говоря, Шура решил где-то прописаться по своим фальшивым документам. Моей хозяйке мы преподнесли нежданно-негаданно сюрприз — ко мне приезжает мой двоюродный брат — под таким соусом Шура появился в нашем доме.

Дарья Михайловна привыкла ко мне, относилась неплохо. На двоюродного брата сперва косилась, а потом стала подмигивать мне добродушно и даже уговаривала меня основать новую семью. Но согласится ли она принять в дом мужчину, прописать Шуру?

Неделя времени была у меня для обработки Дарьи Михайловны, а в случае отказа — для отыскания новой квартиры. Я повела подготовку осторожно, и Дарья Михайловна решила покровительствовать нам, благословить нас под своим кровом. Цель была достигнута. Она решилась прописать Шуру. Но я сама чувствовала себя довольно погано. Я привыкла к старушке и все думала о том, что скажет она, когда в один прекрасный день к ней в дом явятся с обыском и арестом? По условленному адресу написала я Шуре открыточку, приглашая его к себе. Шура приехал. Дарья Михайловна прописала его, поздравила нас, прочитала нам наставления. Мы начали семейную жизнь. По своим документам Шура стал на военный учет, устроился на работу бухгалтером-контролером в Плодовощсоюз. Мы жили в моей комнатенке и радовались непрерывно включенному радио, дававшему нам возможность спокойно говорить обо всем, не боясь быть услышанными.

По субботним вечерам Шура уезжал в Москву, в воскресенье возвращался. Часто он привозил какие-нибудь весточки о Мусе. Последний раз он виделся с матерью, встретившись с ней на улице случайно. Он рассказал мне, что девочка здорова, что Циля подарила ей новую шапочку, Муся все твердит о том, как покажется в ней папе и маме, — пусть посмотрят, какая она красивая. Шура говорил, что девочку все полюбили и балуют.

Долго не могла я уснуть, возбужденная рассказами о дочке. Утром я проснулась от крика Муси, от ее зова: «Мама! Мама!» Голос был так реален, так жалобен. Я вскочила, села на кровать, взглянула на часы: семь. Проспала. Я стала будить Шуру. Зов Муси стоял у меня в ушах, мучил меня.

— Шура, — сказала я, — я люблю Мусю больше, чем тебя.

Заботы дня, дней, сгладили крики из моей памяти. С переездом Шуры ко мне, мы не ограничивались питанием в столовой. Вечерами я часто варила картошку, кипятила чай на примусе, стоявшем с разрешения хозяйки в холодном коридорчике у входа в дом.

Поздно вечером, когда все в доме уснули, сварили мы на нашем примусе шапирографскую массу и вылили ее остывать в купленный нами кухонный противень — лист, соответствующий листу заготовленной нами бумаги.

Теперь вечерами, когда хозяева укладывались спать, мы с Шурой печатали листовки. Восковки мы так и не достали, писали шапирографскими чернилами. Каждый лист давал нам до 30 хороших оттисков, в редких случаях до 40. Звуки невыключаемого радио прикрывали шум от прокатываемого валика. Часто мы заменяли его простой платяной щеткой. Работа двигалась очень медленно, но мы были упорны.

Выпустить листовки за эсеровскими подписями мы считали себя не в праве. Мы подписывались, как «Группа действия за дело народа», но аншлаг эсеров «В борьбе обрешь ты право свое» мы оставили.

Конечно, теперь, более чем через 30 лет, я не могу припомнить содержания листовок, они были присоединены к моему делу. В арест 1949 года следователь, листая мое дело, вычитывал отдельные цитаты из них. Тогда они были целы, хранились в архиве. Одна из них содержала анализ экономического положения страны. Говорилось в ней о разорении народа, об обнищании, бесправии и моральном разложении. Говорилось о диктатуре партии, о перерождении ее, о появлении мощной бюрократической прослойки. Нами ставился вопрос о том, двигается ли страна к подлинному социализму или прорастает в госкапитализм или в госсоциализм. Вторая листовка была заглавлена — «Будет ли война?» Конец 1931 года. До мировой войны 1941 года — десятилетие. Но анализ действительности уже тогда показывал неизбежность войны при той политике, какую осуществляла партия. В листовке доказывалось, что предстоящая война в корне будет отличаться от предшествовавших войн. Что она будет носить характерную особенность, особенность политическую, особенность борьбы двух систем. Я не могу пытаться подробнее остановиться на их содержании. Я могу спутать и вложить в них мысли, которые приходили нам позже, в течение ряда лет. Но я четко помню, что в них был призыв к борьбе с тотальным строем за подлинную демократию. За демократию для всех демократических течений, за свободное рабочее движение, свободные профсоюзы,

свободную кооперацию. Они призывали к борьбе против единой монопольной всевластной партии большевиков, захватившей законодательную и исполнительную власть, диктующей свою волю, свою линию поведения через все захваченные ею рабочие и кооперативные организации. Они призывали к борьбе против централизации, против Левиафана-государства, порабащивающего человеческую личность, сковывающего ее всестороннее гармоническое развитие. Листовки наши говорили, наконец, о логическом развитии пути, по которому большевики ведут страну. Я помню хорошо фразу: «Мы переживаем цветочки, ягодки — впереди!»

Теперь, переписывая эти строки, я невольно думаю, что «ягодками» оказались события, получившие название «культ личности». Смерть Мусы

В следующую субботу Шура должен был ехать с нелегальным грузом. Мы торопились и успели.

Шура уехал с первой партией наших листовок. Они предназначались для Москвы и Ленинграда. Конечно, ждала я его возвращения с напряжением. Поезд приходил поздно. Весь домик наш спал, когда я выбежала на его стук. Как-то необычно, как-то странно вошел Шура в комнату. Он, не смотря на меня, отворачивался, медленно снимал пальто. Не знаю что, но что-то страшное читала я на его лице.

— Шура, что, что случилось?

— Муси больше нет.

Я ждала всего, что угодно, но только не этого. Я не поняла фразы.

— Как нет? Что значит НЕТ! Опустившись на стул, Шура плакал.

— Ее забрали в НКВД? — спасала я себя какой-то надеждой.

Он отрицательно покачал головой. Не веря себе, не веря ему, я произносила самое страшное слово, которое он не решился произнести: «умерла»? Умерла... Я не верила тому, что говорила, и знала, что это так. Прошное воскресенье Шура привез такие радостные вести о ней...

Слово за словом выжимал Шура из себя. Слово за словом обрушивалось на меня бездной отчаяния. Шура плакал, я не могла плакать.

Муся умерла в тот понедельник. Моя Муся умерла в тот час, когда я проснулась от ее крика, от ее печального, жалобного зова: «Мама!»

В прошлое воскресенье вечером Муся начала кашлять, хрипеть, потом задыхаться. В доме забеспокоились, всполошились, сбегали в аптеку, стали вызывать скорую помощь.

Безрезультатно. Девочке становилось хуже. В 6 утра, как только появилась возможность, ее снесли в детскую амбулаторию, оттуда с диагнозом — круп — немедленно отправили в больницу. В больнице врачи сказали «поздно», но по настоянию бабушки попробовали сделать операцию. Муся умерла в 7 утра. Последние часы она не могла уже ни говорить, ни плакать. Она жалобно смотрела на бабушку.

Я не смогла плакать, отчаиваться. Никто не должен был знать, что я потеряла ребенка и как потеряла. В ушах моих звучали ее слова: «Мама, вы с папой никуда не уедете?» А мы — уехали.

Перед глазами стояли ее протянутые руки из вагона поезда.

Дома я брала в руки Мусину фотокарточку и смотрела на нее. Видела же я Мусю не такой, как на карточке, — во всех других видах, позах, живая стояла она передо мной. И я откладывала карточку. Застывший образ мешал мне видеть ее живой, многообразной, изменяющейся, то плачущей, то смеющейся.

И на всю жизнь я поняла тогда, что фотографии только заслоняют собой живую память о человеке. Они нужны посторонним, не видавшим, не знавшим, не помнящим.

Еще острее я поняла это, когда Шурина мать прислала мне фотографию Муси в гробу. Только не это. Только не так...

Как могли, жили мы с Шурой. Как могли, ходили на работу. Переехали на новую квартиру. Как могли...

В следующую субботу мы сделали то, чего не должны были делать. Мы оба поехали в Москву. Мы

10. И ОПЯТЬ В ТЮРЬМЕ

Под следствием в Бутырках

Один из надзирателей двинулся к нам, ему передал меня мой спутник. Путь мой был недалек: тут же, в нижнем этаже щелкнул замок одной из многочисленных камер. Камера, в которой я очутилась, так поразила меня, что я не услышала поворота ключа за собой. Длинная, узкая, без окна. Стены до половины окрашены в коричневый цвет. Вдоль стены длинные, тоже коричневые, деревянные нары. Камера освещалась лампочкой, пропущенной с коридора высоко над дверью. Из камеры отверстие было затянуто проволоочной сеткой. Удивительное дело, нет обязательной параша! Я застучала в дверь.

— Дайте парашу!

— Здесь не полагается, — последовал ответ. — Подождите минуту, сейчас пустим в уборную.

Я услышала в коридоре характерный стук ключа о пряжку пояса — условный сигнал Бутырской тюрьмы: «Внимание, заключенный выпускается на коридор!»

Уборная была близко. Она тоже поразила меня множеством стульчаков, кранов для умывания. Где я? Очевидно, не в одиночном корпусе.

Вернувшись в камеру, я занялась осмотром стен. Много имен и фамилий было нацарапано на них, все незнакомые. Но вот эсер Сорокин, пять лет на Соловки. А мы-то думали, что после нас там не будет политических! Я нацарапала свою фамилию и дату ареста. Пусть стена кому-нибудь передаст ее. Потом я ходила по камере. Долго ходила. Я не знала, день сейчас, вечер или ночь. За последнее время я очень устала от непрерывного нервного напряжения. Теперь все — не надо ни к чему стремиться, ничего добиваться. Лечь вот на эти деревянные нары и отдыхать. Так я и сделала — легла и заснула. Разбудил меня поворот ключа.

— Олицкая, к следователю!

Пройдя длинным рядом коридоров, я вошла в кабинет к следователю. За прекрасным письменным столом, в светлой просторной комнате сидел толстяк, производивший у нас обыск. У стола — два кожаных кресла, у стены — кожаный диван, на полу ковер, на окнах занавеси. Движением руки следователь предложил мне сесть на стул, стоявший против него у стола.

— Вы, Екатерина Львовна, наверное, устали и хотите есть?

— Устала не очень, а есть хочу. Мне еще ничего не давали.

Следователь нажал кнопку звонка и попросил надзирателя принести завтрак. Вынул из ящика пять пачек папирос, коробку спичек и передал мне.

— Вы ведь курите? У нас здесь с этим неважно. Одну коробку он открыл и поставил передо мной. Мы оба с удовольствием закурили.

— Прежде всего, хочу представиться. Я — Ш., буду вести ваше дело. С вашим мужем мы уже побеседовали. Кстати, все ваши деньги переведены на его лицевой счет. Он просил половину перевести на ваше имя, в ближайшее время я это сделаю.

В кабинет вошла молодая женщина в белом фартуке, белой наколке на голове. На подносе она несла завтрак — стакан чаю и три тарелочки с едой. Французская булка, нарезанная кружочками колбаса, ветчина и халва.

— Неплохо питаетесь, — сказала я.

— Да, у нас буфет неплохой, — согласился Ш.

— Мы оба с вами устали, Екатерина Львовна. Следствие я начинать не буду, но мне надо кое-что уточнить. Вы не отказываетесь от того, что все отобранные мной при аресте вещи принадлежат вам и вашему мужу Александру Федодееву?

— Федодеев, — сказала я, — будет говорить сам, а я признаю, что все изъятое, занесенное в протокол, подписанный мною, принадлежит мне.

— И вы не отказываетесь от содержания листовок? Оно ведь знакомо вам?

— Я признаю, что содержание изъятых у меня на квартире листовок отражает мое мнение.

— Ну, на сегодня все. Можете идти, отдыхайте. Я встала, забрала со стола папиросы и спички, сказала:

— Вы предупредите, чтоб папиросы пропустили в камеру?

— Да-да, конечно.

Из кабинета следователя надзиратель повел меня другой дорогой. По железной лестнице мы поднялись на второй этаж, свернули в... (Пропущена одна строка — прим. перепечатавающего.)

У одной из дверей надзиратель остановился. К нему подошел дежурный по коридору, отпер дверь, и я очутилась в нормальной тюремной камере. Довольно просторная, она освещалась высоко под потолком расположенным зарешеченным окном. Койка, тумбочка, стол, параша... В углу — калорифер центрального отопления. На дверях — правила тюремного распорядка. Теперь я почувствовала, что попала на место. Я рада была тому, что я в одиночке. Дверь еще раз открылась. «Личный обыск». Еще раз:

выдали подушку, простыню, полотенце, две миски, ложку, кружку, чайник. Все. Теперь потекут дни следствия. Долго ли продлятся они?

По закону следствие должно быть закончено в течение двух месяцев. Сколько же продлится мое?

В тюремной одиночке от двери к окну всегда стертая, протоптанная шагами арестантов дорожка. Часто арестанты ведут счет шагам. Ходьба — успокоение. Единственно доступное им занятие. Многие эки ставят перед собой задание — вышагать за день определенное количество шагов. Шагают с утра в ожидании оправки, шагают перед обедом и ужином, пока не послышится в коридоре громыхание посуды, шагают после вечерней оправки, ожидая сигнала ко сну. В подследственной одиночной камере эку нечем занять время. Особенно пусты дни, пока следователь не разрешит пользоваться книгами тюремной библиотеки. Раз в декаду библиотекарь обходит камеры. Одна книга выдается на десять дней.

И я ходила взад-вперед по камере. Первые дни заключения, когда много свежих впечатлений от воли, когда есть о чем напряженно думать, время проходит быстро.

Между моим первым и вторым арестом протекло восемь лет. Следа не осталось от былой романтики восприятия тюрьмы. Какую позицию займет следователь? Мое поведение на допросах было для меня ясным! Мне мучительно хотелось знать, как проследили нас. С какого времени мы попали под наблюдение. Арестован ли еще кто по нашему делу. Выла ли оставлена засада в нашей квартире. У нас с друзьями, которые должны были приехать за листовками, было условлено — только при виде свечи, стоящей на окне, входить в дом. Свечу я уложила в чемодан, взятый при аресте.

В ходе допроса я могла бы установить кое-какие детали. Может быть, проговорится следователь. Но в конце концов, это — праздное любопытство, а каждое мое слово может быть использовано следствием при допросах других. Слово — серебро, молчание — золото. Слава Богу, меня взяли с листовками, политическая позиция моя ясна без всяких слов.

На допрос меня вызвали скоро, чуть ли не на следующий день, вернее, на следующую ночь. Все допросы всегда почему-то проводились ночами.

Допрос вел Ш. Держал он себя очень корректно. Осведомился о здоровье, сообщил, что внимательно ознакомился с нашими листовками, и хотел бы теперь побеседовать со мной по ряду вопросов. Я ответила, что никаких бесед в следственном кабинете вести не буду, что моя точка зрения достаточно освещена в

имеющихся у него материалах. На его вопрос, что мы собирались делать с листовками, я сказала «складывать в чемодан». И он и я понимающе улыбнулись. На вопрос о том, где мы достали желатин, я честно ответила, что купила его в серпуховском продмаге. Следователь мне не поверил. Он спросил, где мы достали печать для заверки удостоверений. Я опять честно ответила, что печать поставили в Рязани, в райисполкоме. Следователь снова не поверил.

С полчаса просидели мы друг против друга, любезные, корректные, потом он сказал:

— Давайте запишем в протокол, Екатерина Львовна, что от дачи показаний вы отказываетесь. Я согласилась. По подписании протокола, следователь спросил у меня, нет ли каких претензий к тюремному режиму. Претензий нет, но я попросила разрешение на получение книг.

— Как! Разве вы не пользуетесь тюремной библиотекой? Обязательно сообщу.

В это время где-то за стеной раздался крик, отчаянный крик мучаемого кем-то человека. Я вздрогнула, взглянула пристально на следователя.

— Ах, это допрашивают валютчика. С ними, знаете, иначе нельзя. — Но все же он нажал кнопку звонка и появившемуся на пороге надзирателю сказал: — Скажите, чтоб там прекратили.

— Значит, все же рассказы о том, что творится в ваших застенках... Следователь перебил меня:

— Я вызову вас в ближайшие дни для вручения обвинительного заключения. Пока вы можете идти.

И снова позвонил и передал меня вошедшему надзирателю. Я ушла от следователя, не узнав ничего, буквально ничего о моем деле.

И потекли дни, один за другим... Я получала книги. Библиотекарь выдавал мне пять книг на декаду.

Библиотека бутырской тюрьмы была очень богатая. Странно, ее почти не коснулась чистка. Я получала такие книги, которые на воле достать было нельзя. Каталога, конечно, не было, но я просила библиотекаря приносить мне книги по определенным вопросам, и он приносил. Чтением я была обеспечена. Кроме книг я получала тюремный паек и пятнадцатиминутную прогулку.

На прогулочном дворе я гуляла одна. Я пыталась стучать в стены, на стук никто не отвечал.

Прошел месяц, прошел другой. К следователю меня тоже не вызывали. Плохо было то, что на счет мне деньги так и не перевели. Следователь не выполнил своего обещания. К тюремному пайку я не могла ничего прикупить — ни папирос, ни

спичек. Я, правда, получала политпаек — тринадцать папирос и десять спичек на день. Я ими обходилась, — спички я научилась колоть надвое.

Плохо было с бельем. В камеру я пришла без единой вещи. Мне приходилось кое-как стирать мое белье в бане, высушивать на калорифере. Но я зарядилась терпением. Я не позволяла себе думать о личном, о прошлом, о будущем. Много времени уделяла я изучению немецкого языка.

В начале третьего месяца меня вызвали из камеры. Я была уверена, что меня ведут, чтоб объявить мне приговор. Я была почти уверена, что мне объявят срок заключения пять лет. Я слышала еще раньше, что людям с нелегального положения дают такой срок. Я была б готова к нему.

Переступив порог следовательского кабинета, я увидела своего следователя и рядом с ним Шуру. Шура сидел за столом против следователя. Выглядел он очень плохо, это бросилось мне в глаза сразу.

Я стремительно прошла через кабинет к нему. Шура поднялся мне навстречу, мы крепко пожали друг другу руки. Но следователь вскочил и почти развел наши руки.

— Садитесь здесь, — указал он мне на стул против Шуры по другую сторону стола. — Ваш муж просил у нас свидания с вами. Так как следствие по вашему делу, собственно, закончено, мы решили удовлетворить его просьбу и предоставить вам полчасовое свидание.

Я смотрела на Шуру, — бледное, землистое, отекавшее лицо...

— Ты голодал? — спросила я. Это неважно. Как видишь, я чувствую себя хорошо,

— Сколько дней?

— Одиннадцать, — ответил Шура.

— Вам не для этого предоставлено свидание, — перебил нас следователь. Шура заговорил очень быстро.

— Я очень беспокоился. Ведь ты сидишь без денег, без выписки продуктов. Следователь обещает перевести деньги с моего лицевого счета.

— А ты?

— Я получаю посылки от матери. «Значит, о нашем аресте знает Марья Михайловна», — мелькнуло у меня в голове. Шура продолжал.

— Следователь заверил меня, что следствие скоро будет закончено. Тогда нам дадут длительное свидание. Пока мне обещаны книги и газеты.

— Ты все время сидел без книг?

— Да. Сергей Сидоров

Не помню, о чем я спросила Шуру, но кто-то из-за моей спины вмешался, бросил реплику. Я быстро оглянулась. Я не заметила раньше присутствия четвертого в кабинете. На мгновение я встретила взглядом с человеком в чекистской форме, сидевшим за моей спиной на диване. Всего на одно мгновение встретились мы глазами, сидевший опустил голову, даже прикрыл лицо рукой. Тогда я не обратила на этот жест внимания. Я была увлечена беседой с Шурой. Мы пытались сказать друг другу что-то, понятное нам одним. Но когда свидание наше кончилось, когда я вернулась в свою камеру и стала заново переживать все мелочи нашей встречи, меня встревожил вопрос: что за человек сидел за моей спиной? Почему его лицо показалось мне таким знакомым? Где я могла его видеть? Почему он закрыл лицо рукой?

Я не могла вспомнить. Когда я улеглась на койку и закрыла глаза, лицо незнакомца снова всплыло передо мной. Я всматривалась, всматривалась в него... и вдруг оно исчезло. На место его всплыло другое — лицо юноши, которого я знала восемь лет назад. Лицо под студенческой фуражкой, еще безусое. Я хотела взглянуть в него, но оба лица слились в одно. И я уже не могла себе представить ни того прежнего, ни сегодняшнего. «Сергей Сидоров», — вслух сказала я и села на койке. Я хотела, чтобы этот кошмар пропал, исчез, я хотела разделить, размежевать оба эти лица и не могла. Прошное оживо во мне с такой реальностью, как будто это было вчерашним днем...

К нам домой, — ко мне, к Диме, к отцу — входит Сергей Сидоров. Он говорит пароль. Мы знаем, он послан к нам для вовлечения в эсеровскую группу. Сергей держит связь с ЦК партии эсеров. Он руководит работой группы, вербует новых членов. Из всей нашей студенческой группы при аресте удалось скрыться только Сергею. Мы гадаем, кто выдал нас. Мы подозреваем кого угодно, но не его.

За моей спиной в следовательском кабинете сидит человек. Он сидит так, чтобы на лицо его падала тень. При первом взгляде моем, он отворачивается и закрывает лицо рукой...

Я не в силах улежать, я вскакиваю с койки. Я отмечаю мои подозрения, но в памяти вдруг встает:

Шура же сказал, «мой следователь — Сидоров». Но Сидоровых так много, как я могла подумать! Я отгоняю мысли, я запрещаю себе так думать о Сергее, о юноше, с которым мы вели душевные беседы. Именно Сергей сообщил нам о расстреле на Соловках... Теперь я знаю, как были убиты на Соловках социалисты. Знает об этом так же точно и следователь по эсеровским делам Сидоров.

Только год спустя при встрече с товарищами я узнала с абсолютной достоверностью о тождестве двух Сергеев Сидоровых. Вслед за нашей группой Сидоров предал в 1925 году ЦБ эсеров. Был он уже в 1924 году предателем или стал им позже, будучи арестован? Разницы, собственно, нет. Но мне почему-то хочется верить последнему. Хотя едва ли тогда он смог бы занять пост следователя... Голодовка

Переживания эти пришибли меня. Они легли таким гнетом на душу, что я оказалась выброшенной из полосы ровного, спокойного ожидания приговора.

Заявление следователя об окончании следствия по нашему делу оказалось ложным. Я понимала, никакого следствия по нашему делу не производится. Нас просто хотят взять измором. Деньги с Шуриного счета на мой не перевели. Пятнадцатиминутная прогулка и однообразное питание привели к тому, что я потеряла аппетит и почти не притрагивалась к еде. Прошло ведь около пяти месяцев сидки. Белье мое и одежда износились. Казенного женского белья в Бутырках не было.

В один из особо тяжелых дней я разругалась во время обхода с начальником тюрьмы и подала заявление о прекращении содержания меня на продовольственном режиме. Я требовала: газеты, часовой прогулки, права на переписку с родными, получения моих носильных вещей и (добиваться так добиваться!) свидания с Шурой.

В заявлении своем я указала, что по словам следователя следствие уже давно закончено, и я требую применения ко мне подследственного режима. В случае неудовлетворения моих требований, я приступаю к голодовке.

Я чувствовала, что слабею с каждым днем. Пусть же они там в следственных кабинетах поймут, что сломить меня им не удастся. Медленно терять силы и гибнуть за этой решеткой я не хочу. Лучше ускорить события. Может быть, мне была необходима просто нервная разрядка. В общем, я подала заявление с указанием срока — семь дней. По истечении их я начала голодать.

Я отказалась от приема пищи. В камере произвели обыск. Отобрали курево, отобрали книги.

Через три дня в камеру пришел начальник тюрьмы. Он сообщил, что мне отказано в моих требованиях и что мне следует снять голодовку.

Теперь настроение у меня было хорошее. Я только рассмеялась ему в ответ. Ежедневно в мою камеру заходил врач. Он измерял температуру и предлагал принятие пищи. Я мало ходила по камере, больше лежала. На пятнадцатый день

голодовки в мою камеру вошла сестра и надзиратель. Сестра объявила, что меня переводят в больницу.

Больница была расположена в нижнем этаже тюремного здания. По коридорам Бутырской тюрьмы я шла сама. На лестнице пошатнулась и сестра взяла меня под руку.

В больнице, не дав передохнуть, меня сразу завели в ванную комнату и предложили принять ванну. В ванне первый и пока последний раз в жизни я лишилась сознания. Очнулась я в больничной камере на койке. Вокруг было чисто, светло. Постель была чистая, приятная. Рядом — тумбочка. Склонившись надо мной, стояла женщина-врач.

— Вы будете кушать?

Я отрицательно покачала головой.

— Вы очень слабы. Только чашечку молока.

— Уйдите, пожалуйста, из камеры, — попросила я ее.

— Это не камера, это палата больницы. Я врач, я говорю вам о вашем здоровье. Каждый день голодовки отнимает у вас год жизни.

Не отвечая, я повернулась лицом к стене. Я не чувствовала ни мук голода, ни других страданий. Мне хотелось только спокойно лежать. Я слышала, как закрылась дверь. Врач ушла. Через несколько минут дверь снова открылась, но я не повернулась на скрип. Тогда раздался мужской голос:

— Олицкая, вы в состоянии говорить со мной? Я обернулась, села на кровати. На стуле посреди комнаты сидел какой-то чекист.

— Что вам нужно?

— Я приехал, чтобы сказать, что ваши требования — невыполнимы, ваша голодовка — безнадежна. Неужели вы хотите умереть? Врач говорит...

Я перебила.

— Нет, я хочу жить, но в условиях, в которых вы меня держите, жить нельзя.

— Но мы не можем создать вам иной режим, пока не закончится следствие. Вы же сами затягиваете его, отказываетесь давать показания. К тому же голодовка, как метод борьбы, больше не существует.

— Как же вы пишете о голодовках политзаключенных в тюрьмах Европы? Только для нас вы отменили голодовку как способ борьбы? На минуту он осекся.

— Я пришел к вам, чтобы предупредить вас. Меня прислали, чтобы предложить вам снять голодовку. Иначе будет применено искусственное питание.

Злость, беспомощная злость охватила меня. Конечно, я была в

их руках, конечно, они могли сделать со мной, что угодно.

— Вон из камеры! — закричала я. — Но если вы примените искусственное питание, то проводить его будете или в карцере, или свяжите меня. Я предупреждаю вас, я все разобью!

Чекист выскочил за дверь. В изнеможении опустилась я на подушки. И вдруг мне ясно представилась картина, происходившая в моей палате... Полный, лоснящийся от жира следователь, и перед ним в кровати взбешенная, истощенная женщина, изрыгающая дикие крики. Мне стало смешно. Я рассмеялась. Видимо за мной следили. Открылась форточка. Очевидно, там, за стеной, решили, что я сошла с ума. В камеру вошла врач.

— Надо покушать, — сказала она. — Ведь вы себя изводите.

— Нет, — ответила я, — это они меня изводят.

— Хотя бы кусочек сахара.

Она положила два кусочка на тумбочке возле меня и ушла.

Мне страшно хотелось запустить вслед ей этим сахаром. Но я удержалась. Пусть лежит. Ведь меня он не соблазняет.

Моя камера открывалась трое суток подряд в часы обеда. На тумбочку ставился стакан молока и блюдечко с сухарями. Минут через двадцать еда убиралась, сахар оставался лежать. Я уже не вставала с койки, но чувствовала себя неплохо. У меня ничего не болело, голова работала ясно. Боялась я одного — применения искусственного питания. Я придумывала, что делать, если его применят.

На девятнадцатый день голодовки в камеру вошел мой следователь Ш., и я как-то сразу почувствовала, что голодовка выиграна.

— Я уполномочен вам объявить, что мы нашли возможным удовлетворить ваше желание. Вы будете, начиная с сегодняшнего дня, получать «Правду». Вы получите получасовую прогулку. В очередной день передач с вами снесется Красный Крест и узнает, в чем вы нуждаетесь. Здесь для вас уведомление от Пешковой, — он положил на стол карточку, — так как тюрьма не обеспечена женским бельем, вам придет его Пешкова. Следствие по вашему делу будет закончено через две недели. Свидание с мужем мы сейчас дать вам не можем, просто исходя из вашего состояния.

Я задумалась. Мне самой было нежелательно показаться Шуре в моем теперешнем состоянии, но отказаться от вести о нем?..

А следователь говорил:

— Ваш муж здоров, он не думает голодать, он спокойно сидит и ждет приговора.

— Хорошо, — сказала я, — я отказываюсь от свидания, но вы

передадите ему мое письмо и вручите мне ответ. Пока я не получу письма от мужа, голодовки не сниму.

Следователь опустил руку в карман, вынул блокнот, вырвал из него листок, протянул мне. Я написала: «Дорогой Шура, беспокоюсь твоим здоровьем, сама чувствую себя хорошо. Целую, Катя».

Следователь взял у меня листок, прочел его и сказал: — Постараюсь доставить ответ как можно скорее. Он ушел из камеры. Через час у меня на столике лежал очередной номер газеты «Правда», в руках у меня было письмецо — несколько строк, написанных Шуриной рукой. Вслед за письмом мне прислали стакан бульона, два крутых яйца и два белых сухарика.

Я вспомнила окончание голодовки в Соловках. Кормили меня не по Крониду. Сразу накормили всласть.

Жить стало веселей. Ежедневно мне присылали в камеру газету. От Пешковой я получила не только две смены белья и платье, но и продуктовую передачу — колбасу, масло, сахар, белый хлеб. Вернувшись из больницы в тюремную камеру, я получила получасовую прогулку. Перевод на Лубянку-2

А время шло. Прошло две или три недели. Однажды дверь моей камеры отворилась в неподобающее время. Мне предложили одеться и вывели из камеры. Перед тюрьмой стоял «черный ворон». Везли меня долго. Из «ворона» я вышла во двор какой-то тюрьмы. Опять коридор. Тюрьму я узнала. Это была «Лубянка-2». Меня ввели в камеру до смешного похожую на мою прежнюю.

Зачем меня привезли сюда? Новый режим?.. Опять без книг, без газет, без прогулок. Во внутренней тюрьме ничего, конечно, не дадут. Я попыталась стучать в стены. Без ответа. Тишина. Я не думала, что во внутренней тюрьме меня продержат долго. Допросят несколько раз и назад, в Бутырки. Я убивала время, как могла. Лепила из хлебного мякиша шарики, колечки, звездочки... Вспоминала и повторяла отрывки из стихов, какие только приходили в голову. Выдумывала продолжение судеб героев прочитанных книг.

Как-то в ожидании обеда я сидела на койке. Неожиданно отворилась дверь. Вошли двое. Маленький, щупленький, тоненький быстрыми шагами прошел в камеру. Второй, старший, я его уже узнала, остановился у дверей.

— Я начальник внутренней тюрьмы ОГПУ. Прошу встать, — отрапортовал тонкий.

Я удивленно смотрела. Такого со мной еще не случалось. По традиции еще с царских лет политзаключенные не вставали при входе начальства. Ко мне до сих пор не предъявляли такого требования. Пораженная, не успев подумать, подняв удивленно

брови, я сказала:

— Ну, положим, я не встану.

Не успела я закончить свою фразу, как начальник круто повернулся и пошел к двери. В дверях он остановился и бросил надзору:

— На оправку из камеры не выпускать! От изумления я раскрыла рот, а потом рассмеялась. Новая мера воздействия. Им уже нечего отнять у меня. Отнимают выливание и вымывание параша! Что ж, они сами будут ее выносить, что ли? И что я теряю от этого?

Вечером меня не выпустили на оправку. Не выпустили утром. И на следующий вечер. Я ходила по камере и улыбалась. Я сочинила стихотворение о начальнике, о параше, которая постепенно наполнялась остатками еды, водой и всем остальным. Я помню из него два куплета. Ну, положим, я не встану.

— А, хотите продолжать! Надзиратель, запрещаю На оправку выпускать!

Удивленно смотрит Катя И не может разрешить. Ты скажи, параша, сколько Можешь дней в себя вместить?

Шутка превращалась в жизнь. Параша наполнялась. По моим расчетам емкости ее хватило бы еще дня на три. Я попросила дежурного надзирателя бумаги и карандаш для подачи заявления. Получив их, я написала моему следователю примерно так:

«В связи с тем, что по распоряжению начальника внутренней тюрьмы меня не выпускают из камеры на оправку, и я не имею возможности вылить парашу, как только параша наполнится до краев, я вынуждена буду прекратить прием пищи, чтобы параша не проливалась на тюремный пол».

Улыбаясь, дала я свое заявление надзирателю. В тот же день меня вызвали к следователю.

— Что у вас там опять происходит? — спросил он меня.

— Ничего, кроме того, о чем я вам написала. Следователь просил меня рассказать ему все подробно. Я предложила ему обратиться к начальнику тюрьмы.

— Но я не могу понять, чего вы требуете?

— Я ничего не требую. Не могу же я требовать права выливать парашу хотя бы раз в сутки.

— Можете идти, — сказал следователь. — Завтра или послезавтра я вызову вас на допрос. Через полчаса или через час после моего возвращения в камеру меня выпустили с парашей в уборную. Через неделю, в очередной обход начальника, ни он ни я не упомянули о происшедшем. Только через три недели меня вызвали на допрос. К удивлению, я увидела за столом не моего

следователя, а какого-то совсем молодого человека. Допрос он вел грубо, какими-то окриками.

— Кто кроме вас и Федодеева входил в группу? Кто вам оказывал содействие при побеге?

Довольно спокойно я ответила, что у моего следователя запрототолирован мой отказ отвечать на подобные вопросы.

— Я заставлю вас ответить! — крикнул он, стукнув кулаком по столу.

— Кричать я умею не хуже вашего, — сказала я. — В таком случае я с вами разговаривать не буду.

Внезапно зазвонил телефон. Следователь вызвал конвоира и велел отвести меня, заявив, что допрос продлится завтра.

Дрожа от возмущения и злости, вернулась я в камеру. Ни завтра, ни послезавтра меня на допрос не вызывали. Через неделю меня снова перевели в мою бутырскую одиночку. Я снова получила газеты, книги, передачи Красного Креста. Для чего меня возили на Лубянку?.. Снова в Бутырках — в общей камере.

Одиннадцать месяцев просидела я в одиночной подследственной камере. Я привыкла к своему одиночеству. И когда надзиратель как-то вечером пришел и сказал, что меня переводят в другую камеру, я не захотела идти. Надзиратель успокаивающе сказал: — Да вас в общую.

Вот этого я-то и боялась.

Я не верила в возможность встретить в тюрьме товарищей, политзаключенных-женщин. Попасть к спекулянткам, к уголовным — я не хотела. Я потребовала вызова старшего. Ждать мне не пришлось. Старший был в коридоре.

— Придется вам пойти. Камера ваша нужна. Мы все крыло ремонтируем. Да и переводят вас к людям хорошим.

Старшие за одиннадцать месяцев присмотрелись ко мне. И он уговорил меня идти. Он обещал принять мое заявление к начальнику. Я собрала свои вещи. Из камеры бралось все — и тюфяк, и одеяло, и книги, и газеты. Мы прошли недалеко. Спустились этажом ниже. Вещи нес старший. Я несла книги и газеты.

Камера, в которую я вошла, была точь-в-точь такой, как моя. Но стояло в ней четыре койки. И сидели две женщины. Две койки были застланы. На одну из свободных положила я свой узел. Положив газеты и книги, я повернулась к старшему:

— Давайте бумагу для заявления.

Он подал мне бумагу и карандаш. Мысленно я уже писала заявление — или приговор или одиночка — в общей подследственной камере я сидеть не буду.

— Газету вы завтра принесете мне сюда?

— Да, — ответил старший и ушел.

Тогда я обернулась к своим сокамерницам:

— Давайте знакомиться. Я — Олицкая. По делу эсеров. Молоденькая, приятная на вид женщина, сказала:

— Я — Мара Ловут. Старушка промолчала. — Вы по какому делу? — спросила я. Теперь промолчали обе.

— То, в чем обвиняет следователь, вы смело можете говорить... Меня перебила старушка.

— А вы по какому?

— Я — эсерка. Взята после побега из ссылки с нелегального положения одиннадцать месяцев назад...

Старушка только пожевала губами.

— Где же вы были эти одиннадцать месяцев? — спросила Мара.

— В Бутырках в одиночке. Возили на месяц во внутреннюю.

— И газеты получаете на подследственном? — спросила старушка.

— Получаю после голодовки, — ответила я. Старушка замолчала. И тут я поняла, что мои сокамерницы относятся ко мне с подозрением. Я разостлала постель и села на койке писать заявление.

— А нам бумагу для заявления дают только в день обхода, — сказала Мара.

— Я потребовала сразу, когда объявили о переводе. Я не буду сидеть в общей камере, я требую одиночку.

— Разве одиночки лучше? — удивилась Мара.

— Мне лучше.

— Вы сказали, что вы эсерка, — спросила старушка. — А где вы были раньше?

— На Соловках, потом в Верхне-Уральском политизоляторе, потом в ссылке в Чимкенте.

— А я здесь в Бутырках тоже с одной эсеркой встретилась. С Колосовой. — Колосова арестована?! — я подскочила на койке. — А ее муж?

— И муж тоже.

— Но за что? Ведь Евгения Евгеньевича ни разу не арестовывали с 1917 года. Он вел легальную литературную работу.

Старушка попросила меня рассказать о Соловках. После одиночного заключения мне приятно было говорить. Но старушка быстро перебила меня.

— Кого вы лично знали на Соловках? Мне почудилось, — допрос с пристрастием, — но об этом я могла говорить.

— Разве всех перечислишь, — улыбнулась я. — Иваницкий,

Мухин, Фельдман, Тарасов...

— Тарасов — мой муж, — сказала старушка.

— Борис Растович? — я сидела уже у нее на койке и пожимала ей руки. Теперь, верит она мне или нет, я могла говорить о прошлом без конца. Я хотела знать о Борисе Растовиче. Когда я назвала фамилию моего мужа, оказалось, что Тарасова знает Шуру. Наш разговор перебил надзиратель. Он просил вернуть карандаш и сдать заявление. Карандаш я отдала, заявление на его глазах порвала и бросила в парашу. Я решила остаться в камере. Мне показалось, что надзиратель усмехнулся. Чёрт с ним, я спешила вернуться к разговору с Тарасовой.

От нее я узнала о больших арестах весной 1932 года. Арестовано много старых эсеров, никогда не арестовывавшихся при советской власти, спокойно, легально живших в Москве и работавших: Колосов, его жена, Ховрин и др. Тарасова говорила, что арестовано много сотрудников Красного Креста, помогавших Пешковой в ее работе. В числе последних была и Тарасова. Причина ареста непонятна, ей обвинение до сих пор не вручено, хотя она сидит уже почти полтора месяца. Мы разговаривали, а Мара сидела в стороне на своей койке, грустно опустив голову. Нам стало жаль ее, мы решили и ее втянуть в разговор. И мы перешли на тюремные дела.

Мара и Ольга Петровна перед моим приходом собирались есть тюрю. Сухари, высушенные на калорифере, они натерли чесноком, полученным в передаче, и залили кипятком. Теперь мы уселись над миской. Я никогда не любила и не ела чеснок. Они меня уговорили; иначе же мне будет неприятно чувствовать запах чеснока. Я попробовала тюрю и упрекнула их в надувательстве. Мне так вкусно пахло чесноковой колбасой, а вкуса колбасы во рту не было.

Тут же я узнала о Маре Ловут. Мара была правоверной коммунисткой. Она твердила о своей верности и преданности генеральной линии партии. В тюрьме это звучало несколько странно. Мару обвинили в троцкизме. Арестовали ее в связи с арестом ее подруги Хели Марецкой. От Мары я узнала о больших арестах среди членов компартии. Дело, которое ей вменялось, было связано с делом Стецкого и Марецкого. Мара уверяла, что никогда ни в какой оппозиционной группировке не была, и в то же время не верила в свое освобождение из тюрьмы. Удивительно.

Следователь на допросах запугал ее вконец. Очень красочно рассказала Мара о своем появлении в тюрьме. Она никогда и не помышляла о тюрьме:

— Когда меня ввели в камеру и заперли дверь, я осталась

стоять у порога. Потом вошла эта ужасная женщина и велела мне раздеться. Я не могла. Она сама стала снимать с меня все: и рубашку, и чулки. Она распустила мои волосы, заглянула в уши, в зубы... Я вся дрожала от стыда, от ужаса. Обыск кончился. Женщина ушла. Прямо на голое тело надела Мара пальто, надвинула на голову кепку и села на койку. Так просидела она до утра. Утром к ней в камеру внесли щетку и велели подмести камеру. Но Мара не сдвинулась с места. Щетку унесли. Предложили идти на opravку. Мара не пошла.

— Если бы не Ольга Петровна, — говорила она, — я бы с ума сошла.

Ольга Петровна улыбалась. Бывшая каторжанка, она не испугалась тюрьмы. В камере мы вели с Ольгой Петровной только обычные разговоры о том о сем. Мы не хотели говорить при Маре. Не хотели и не могли. На прогулочном дворе мы оставляли ее одну, и кружа по дорожкам, отводили душу друг с другом. Я рассказала Ольге Петровне всю историю нашего с Шурой отъезда из «минуса», об отрицательном отношении товарищей к нашей попытке работать на воле. Ольга Петровна отнеслась ко всему сочувственно. Она призналась, что месяца два назад она, вероятно, осудила бы наши действия. Теперь же, в тюремной камере, сев ни за что, ни про что, она сочувствовала нам. Ей, старой каторжанке, импонировало то, что сели мы не впустую, что взяли нас с дела, пусть неудавшегося — провалы возможны всегда.

— Может быть, я говорю так сейчас, потому что все равно всех взяли, и тех, кто ничего не делал, спокойно работал и жил в ссылках и «минусах». Уж лучше садиться так, как мы.

Тарасова рассказала мне много о воле. Она рассказала и о Колосовых, с которыми была близка.

Мы с Тарасовой ломали голову над тем, что же вызвало волну новых арестов.

Маре Ловут первой из нас троих объявили приговор — три года политизолятора. Она была в отчаянии. Ее товарка, Хели Марецкая, уже отбывала срок в Суздале.

Троцкисты в тюрьмах всегда отгораживались от нас. Мара говорила нам, что она не троцкистка, что она последовательница генеральной линии партии, что ее арест — роковая ошибка. Она общалась с нами, была приветлива, даже обещала нам, скрепя сердце, что если встретит кого из наших товарищей, передаст им о встрече с нами в Бутырках. О большем мы ее не просили. Мы были благодарны ей за это. Пусть товарищи знают о нашем аресте. Мара сдержала свое обещание. Попав в Суздаль, она сообщила о нас. Этап в Суздаль

Наконец, настал и мой черед. Меня вызвали к следователю, и он объявил, что по постановлению ОСО приговариваюсь я к пяти годам содержания под стражей и для отбытия срока направляюсь в Суздальский политизолятор. Тут же следователь сообщил мне, что все мои личные вещи, хранившиеся на Лубянке, сгорели во время пожара, что до прибытия в Суздаль я должна выслать список с перечислением имевшихся у меня вещей.

— Что ж, — ответила я, — без вещей легче на этапе будет.

— Деньги ваши переведены все на счет Федодеева. Так как вы едете вместе, перевод делать нет смысла.

Я не шла, а как на крыльях летела в нашу камеру рассказать обо всем. Теперь все пошло быстро. Для проформы меня вызвали к врачу. И прощай Бутырки, прощай Москва!.. С грустью простилась только с Тарасовой. Потом я узнала, что она пошла в ссылку.

В «черном вороне» встретились мы с Шурой после года следствия. Шел апрель 1933 года. В «вороне», кроме нас не было никого. Но говорить о многом было нельзя — конвой за перегородкой.

В столыпинском вагоне нас рассадили по разным клеткам, но во всем вагоне нас было двое. Нас везли во Владимирскую пересыльную тюрьму, где пять дней мы должны были ждать этапа на Суздаль. Пять дней провели мы в известном Владимирском центре. Шура — в мужской тюрьме, я — в женской. Мы получили по пять лет заключения. Год предварительного засчитывался. Значит — на четыре в Суздаль.

11. СУЗДАЛЬСКИЙ ПОЛИТИЗОЛЯТОР

В 1923 году старинная русская обитель, известный Суздальский монастырь, был использован ГПУ под тюрьму. Здесь раньше заточали важнейших государственных и церковных преступников. О заточении в Суздале я знала, конечно, из истории, о Суздале советских лет — слышала.

По приезде в Суздаль нас с Шурой сразу разъединили.

Толстые красивые кирпичные стены окружали монастырь. Чистыми усыпанными желтым песком дорожками повели меня в глубь огромного сада. После года, проведенного в камере, он казался мне сказочным. Зеленела трава, набухали почки. Там и тут по саду были разбросаны старинные здания. В одно из них завели меня. Был то тюремный каземат или монашеская келья? Помещение было крохотное. Может быть, полтора метра в длину, может быть, метр в ширину. Сводчатый потолок, толстенные стены. В одной из стен — узкое высокое окошечко, забранное ветвистой решеткой. За ним — гуща зеленеющих кустов. Окошечко было открыто. Все три часа, которые я провела в этой келейке, я простояла возле окна. В узкую щель его заглядывали солнечные лучи, лился весенний душистый воздух. От самой же кельи веяло каменной плесенью. Каково было людям, погребенным здесь на годы... Может быть, здесь была заточена жена Петра I, Евдокия. Политизолятор — длинное, узкое, двухэтажное здание — было когда-то монастырской гостиницей. На юг смотрели окна камер, на север — окна коридора. По коридору нижнего этажа я и конвоир шли недолго. Миновав семь дверей, я вошла в восьмую, стоявшую открытой. Только решетка на окне, дверь с волчком, форточка с затвором напоминали о тюрьме. Камера — четырехугольная комната с огромной печью, глубоко выступавшей в комнату, с обычным комнатным окном... На стене у двери — умывальник, под ним на табурете — таз, рядом — помойное ведро с крышкой вместо параша. На двери — правила внутреннего распорядка. Я остановилась прежде всего перед ними. Ничего не изменилось с 1926 года. Такие же точно висели у нас в Верхне-Уральске. Я подошла к окну и залюбовалась. Зелень, деревья, цветы, трава... В отдалении, прямо против моего окна, стояла старинная высокая звонница. Где-то далеко за садом, за звонницей стены, окружавшей кремль (теперь стены тюремной ограды), золотом горели кресты на куполах, видны были колокола — большие и малые. Из моего окна не видна даже вышка часового.

Я знала, за стеной камеры — товарищи; кто неизвестно, но —

друзья. Скоро я увижу их на прогулке. Скоро увижу и Шуру. Я беспрерывно бодрила себя. Весь этот год я не позволяла себе думать о Мусе. Но теперь, когда начиналась полоса ровной жизни, я не могла отогнать грустные мысли. Буду жить изо дня в день, а Муси — нет и никогда не будет.

Я стояла у окна и смотрела вдаль. Весь этот год я пыталась перестукиваться, узнать о соседях по камере. Теперь мне незачем стучать, я увижусь со всеми. Но стена передала стук — мелкую дробь вызова. Я подошла к стене, дала ответную дробь. «У печки приложите ухо к стене», — стучали соседи. Четкими ударами в стену вели они меня, указывая место. Я приложила ухо. Нежданно-негаданно:

— Катюша, привет от всей камеры! К нам привели Шуру. Говорит Шолом.

Не знаю, чему я больше обрадовалась, соседству Шолома или тому, что Шура рядом. И вдруг — недоверие. А может, не Шолом? Пусть Шура у них, но откуда они знают, что я здесь? Вместо приветствия я требую к стене Шуру. Шурин голос... Шура говорит мне:

— Катя, через час будет прогулка. Обо всем договоримся. Как я рад, что с нами Шолом.

Стена умолкает.

Значит, и Шолом опять попал в тюрьму? За что? Из Верхне-Уральска он вышел позже, ссылку отбывал на севере, в Нарымском крае, потом был где-то в «минусе», жил с женой и детьми.

Теперь, когда все было ясно, все было просто, я почувствовала, как бесконечно устала я за этот год. Мне захотелось лечь на койку, закрыть глаза и уснуть, уснуть...

Но двери камер стали открываться. Сначала вдали, потом все ближе и ближе... Вкладывается ключ в замок моей камеры. Дверь открывается, перед ней люди — много людей, кажется мне. Впереди всех — долговязый Шура, рядом — маленький и коренастый Шолом, за ними — незнакомые грузинские лица. Все приветствуют меня, все жмут мне руки.

Надзор суетится:

— Выходите на прогулку, там увидите, а то я двери закрою. Чуть наискось от моей камеры — дверь на прогулочный двор. С шутками и смехом, как всегда, Шолом первый спускается со ступенек. Мы выходим во двор. Чуть отступив от дверей, мы снова останавливаемся, начинаем знакомиться. На нашей прогулке девять человек. Эсеры — Ховрин, Берг, Либеров, мы с Шурой; один социал-демократ, кажется, Комаров; один левый эсер, Брухимович; двое грузин:

Дженория и Ихшиели; один из них — с.-д., второй — член Демократического центра, националист.

Шура просит, прежде всего, дать нам возможность побыть вдвоем, хотя бы минут пятнадцать. Ведь мы год не виделись со дня ареста — одни, без надзора.

Товарищи разбредаются по дорожкам двора. Мы с Шурой обходим круг, другой... И у грузин терпения не хватает. В тюрьме так ждут свежих людей, с воли. Они завладевают мной. Я иду с ними, мы разговариваем, рассматриваем наш прогулочный двор. Они вводят меня в курс суздальской жизни, расспрашивают о жизни на воле.

Дворик наш чудесный. Он совсем не похож на голую площадку верхне-уральского двора. Здесь кольцом вдоль тюремной стены идет дорожка. Везде деревья, кустарничек, трава. Сирень! Два куста сирени, жасмин и — какая прелесть! — мои любимые нарциссы! На каждом шагу открытия! Вдруг целая грядка клубники! А рядом — помидоры, огурцы!.. Боже мой, теннисная площадка!..

Пока я смотрю во все глаза, Ихшиели объясняет мне:

— На нашем дворе три прогулки. Наша, социалистическая, и две коммунистические. Коммунисты в камерах над нами, во втором этаже, в камерах идущих за нашими по коридору. За стеной — еще прогулочный двор. На нем тоже три прогулки, одна коммунистическая и две социалистические. Я удивлена количеством троцкистов.

— Троцкистские прогулки никаких связей с нами не держат, через них нельзя послать даже тюремную почту.

Я узнала, что в Суздале и Хеля Марецкая и Мара Ловут. Из крупных большевиков сидит здесь Иван Никитович Смирнов. Интересный сосед у Ховрина. Он не отвечает на стук, на прогулку выпускается один, строго изолирован от всех. Говорят это — Рютин, переведенный сюда из Ярославского изолятора.

Где-то в стороне от нашего корпуса стоит старый корпус. Он весь заполнен троцкистами. Связи у нас с ними нет, но иногда вечерами они перекрикиваются с троцкистами нашего корпуса. В старом корпусе сидит брат И. Н. Смирнова. У троцкистов преимущество в режиме. Они могут получать в месяц десять писем, мы — только три.

Нашу беседу прерывает крик с соседнего двора:

— Привет!

— Привет! — орет Шолом, проходящий как раз мимо стены, разделяющей дворы.

— Кого к вам привели?

— Шуру Федодеева! Катю Олицкую! — орет Шолом.

— Катя, Шура, привет!

— Привет! — отвечаем мы.

Надзиратель спокойно ходивший вдоль корпуса, ускоряет шаг, спешит к стене. Он опоздал. Шолом размахивается... через стену перелетает мешочек с почтой. К мешочку для веса привязан камешек. Товарищи кричат приветствия, они получили почту. Грядки на нашем прогулочном дворе разделены на три части. Каждая треть принадлежит одной прогулке. Грядка с клубникой общая, ею никто не занимается. Я беру над ней шефство. Интересуюсь вызревают ли ягоды, вишни.

— Чуть розовеют, — говорят товарищи, — не хватает выдержки. Помидоры снимаем зелеными, делим между всеми и дозревают они в камерах на окнах.

На нашем дворе сидел один эсер-агроном, страшный любитель своего дела. Он выращивал во дворе и получал в камере какие-то тончайшие сорта табака, мастерил ситечки, вороночки, и из купленного в ларьке молока изготовлял необычайный сорт сыра. Им интересовался Мичурин. К нему с запросами приезжали Андреева, Катанян. Наш дворик при нем имел вид опытного участка. С его уходом, по окончании срока, все заглохло. Одичала клубника, заключенные продолжали выращивать только помидоры. В камере соседей стояло лимонное дерево, выращенное ими из косточки лимона. Летом товарищи выносили лимон во двор. Ему было пять лет. В конце концов, заключенные вынуждены были отдать лимон начальству тюрьмы, в камере лимону стало тесно.

В середине нашего двора стоял деревянный столик, врытый в землю. Около него — две скамьи. Вокруг него собирались товарищи. Мне хотелось к ним. Я боялась обидеть грузин, но время шло. Я извинилась перед ними и ушла к своим. Грузины разошлись, по одному зашагали они по кругу. Они сидели десятый год. Каждый мерил шагами взад-вперед, взад-вперед прогулочный двор десятый год.

У столика Шура рассказывал товарищам нашу неудавшуюся попытку работать на воле и наше следствие. Мы отдавали себя на суд товарищей. Мы говорили об отрицательном отношении к нашей попытке товарищей в ссылках. Мы все-таки отстаивали свое мнение о необходимости при первой возможности переходить к делу. Шолом сразу и целиком стал на нашу сторону, он только вздыхал:

— Эх, Шура! связался бы ты со мной... Знал бы я... А то теперь, как олух, сиди ни за что, ни про что.

Старики колебались. Теперь, когда наша попытка окончилась неудачей, это было для нас уже много. Старики — Ховрин и Берг

— были замечательными людьми. Очень разными. Ховрин и Берг Ховрин был интеллигент. Только в 1917 году, после революции, он вернулся с каторги. Он остался верен и прошлому своему и партии, но участия в революционной работе после 1917 года не принимал. Он весь ушел в научную работу. Еще будучи на каторге он полюбил север России, сроднился с ним. Все свое время он отдавал работе по освоению русского севера. До 1932 его не арестовывали. Он не возмущался фимиамом большевикам и не отрекался от своих политических взглядов, он вел научную работу, которую считал нужной и важной. Почему его арестовали теперь, в 1932 году, ему было неясно. Следствие не вменило ему никакого преступления, и все же полгода его продержали в Бутырках, а затем вынесли приговор — год заключения под стражей. И сам он посмеивался, и окружающие недоумевали, — что за «детский» срок? Было Ховрину пятьдесят восемь лет. Дома, в Москве, у него осталась жена, о которой он очень беспокоился. Она слала ему посылки, приезжала на свидания. Ховрин был серьезно, неизлечимо болен. С царской каторги вывез он сердечную астму. Приступы болезни были очень тяжелыми. Ховрина поместили в одиночку под особое наблюдение врача. Врач разрешил ему держать в камере сильнодействующие лекарства. Никто не опасался, что Ховрин может покончить с собой.

Сидел он стойко, бодро. Из Москвы он выписал в камеру свои рукописи, необходимые книги, и в камере продолжал научную работу. Шесть месяцев провел он с нами. Всегда спокойный, ровный, заботливый к товарищам. Вольной, нуждающийся в особом питании, он принципиально сидел на тюремном пайке. При получении посылки он выносил ее всю на тюремный двор, делил поровну между всеми. Врачи запретили ему курить, но он курил, и много. Правда, только какой-то особый трубочный табак, который присылали ему из дома. Вся наша прогулка знала и уважала его. Уважала его и тюремная администрация, хотя ни с одним вопросом он к ней не обращался. Во время обхода камер начальник тюрьмы заставлял Ховрина всегда на ногах, но при входе его Ховрин не произносил ни слова. Как-то он долго не получал вестей от жены. Он беспокоился, не спал ночами, осунулся. Мы советовали ему обратиться с запросом к начальству. Но для себя Ховрин категорически отметал возможность обращаться к «ним», как он говорил, с чем бы то ни было. Как бы плохо ему ни было, он никогда не вызывал тюремного врача. Ховрин отбыл свой срок в Суздале. Мы все и он знали, что за изолятором последует ссылка. Мы все очень боялись за него, ему предстоял общий этап. А что такое общий этап знали и мы, и он.

Мы стали его уговаривать, упрашивать потребовать спецконвоя, отказаться идти общим этапом. Старик был неумолим.

— Пусть делают свое дело, я с ними ни о чем говорить не намерен.

Он ушел от нас, ушел на этап. Через полтора месяца мы узнали, что Ховрин умер на этапе, не дойдя до места ссылки.

Ефрем Соломонович Берг, — высокий, худой, суровый с виду, с огромными жилистыми кистями — был сыном еврей-кантониста. Вырос он в Петербурге. На работу пошел мальчиком. Ефрем Соломонович был резок и прям. Его сильный, чуть хрипловатый голос, его негибато-строгие суждения изумительно сочетались с четкостью и бережностью в отношении людей. Проведший долгие годы в тюрьмах и ссылках, был он исключительно нежным, любящим семьянином и отцом. Когда он говорил о своей семье, о двух дочках, тогда уже взрослых девушках, складки на его лице расходились, и оно становилось мягким и добрым. В 1905 году Берг работал в подпольной организации эсеров на Путиловском заводе. Был арестован, в тюрьмах получил он и общее, и политическое образование. Знания его были глубоки и обширны. И только язык, склад речи выдавали его происхождение. Прекрасный оратор, сильным и выразительным голосом он говорил «лаболатория» и «колидор», и никак не мог отделаться от оборотов, к которым привык с детства. Он обычно не замечал своих ошибок, а если замечал, то очень сердился на себя. Несмотря на эти дефекты речи, именно ему было поручено произнести речь в 1918 году над могилой Плеханова. Ефрем Соломонович был членом ЦК нашей партии. Считанные месяцы провел он на воле после Октябрьской революции. Тюрьма сменялась ссылкой, ссылка — тюрьмой. Ему уже шел седьмой десяток, а он был живой, жизнерадостный. Он недолюбливал социал-демократов. Очень резко относился к левым эсерам. Но в тюрьме он не признавал никакой тюремной политики, внутрикамерных склок, полемик. В тюрьме он любил играть в домино и в козла. Во время игры увлекался, сердился, и так заразительно смеялся, как никто другой. О теоретических вопросах сегодняшнего дня Берг не любил говорить. Он разрешал их в себе и только для себя. Нам с Шурой казалось, что Ефрем Соломонович остро чувствует свою ответственность, как бывший цекист, боится своего авторитета в партийных делах. Будучи давно и длительно оторван от жизни, он не решался принимать определенные решения. У Берга, как у огромного большинства, срок был три года. Мы проводили его из Суздаля в ссылку. Кажется, в Мерв. Много позже я узнала, что Берг там умер. Либеров

Значительно моложе их был Либеров. Ему было 42–43. Для меня и он принадлежал к старому поколению эсеров, людей, пришедших в партию до революции. Энергичный, живой, верящий в себя и неудержимо ждущий приложить свои силы к жизни, Либеров тяжелее других переносил тюремное бездействие. Он очень любил поэзию, пытался писать сам, но мне его стихи казались надуманными, осложненными образами и метафорами. Стоял он на самом левом крыле нашей партии, но к левакам не ушел. За многое осуждал он наших цекистов, многое ставил в вину партии. Он пересматривал, болезненно переживал пройденный путь. Часто во время прогулок я с интересом слушала его рассказы и выводы. Когда он говорил о прошлом, я слышала в его голосе и искренность и глубину.

— Наша партия первая заговорила о социализации земли. Это был ее основной лозунг, ее душа, ее конкретное отличие от всех других социалистических течений. И что же мы, рядовые работники, став у руководства земельными органами делали? Брали землю? Нет. Мы натягивали вожжи и до предела сдерживали народное движение. К нам являлись выдвинувшие нас крестьянские депутации: «Вы эсеры, осуществляйте вашу программу-минимум». А мы им должны были отвечать: «Ждать надо, братцы. Ситуация не та. Ситуация сложная». Упустили, не сумели, не оказались на высоте своих идеалов.

Либеров лично знал Фани Каплан, стрелявшую в Ленина. Он видел ее, когда она приехала с юга в Москву с решением совершить террористический акт. Либеров говорил мне, что партийное руководство не приняло ее предложения стрелять в Ленина, отклонило его. Либеров все же считал, что не было принято достаточно действенных мер, чтобы удержать Каплан. Каплан, по его словам, была энтузиасткой, чистой и устремленной натурой.

— Я никогда не стану большевиком, — говорил Либеров. — Я всегда останусь их горячим противником, но отказать им в том, что они знают, чего хотят, нельзя. Нельзя отнять у них кипучей деятельности, жизнеспособности и целеустремленности. Эх, — мечтал он, — уехать бы куда-нибудь на крайний север, на Новую Землю! Там жить и работать. По крайней мере, дело бы какое-то делал, не коптил тюремные стены. Зря уходит жизнь, здоровье, силы, годы. Шолом Брухимович

О Шоломе Брухимовиче мне трудно говорить. Если о других я знала, что говорю беспристрастно, то, говоря о Шоломе, я сознаю, что очень любила его.

Во время раскола партии Шолом ушел к «левакам». Он страстно обвинял партию, к которой принадлежала я, в

совершенных с его точки зрения ошибках: и все-таки я его очень любила, как человека, именно как человека. Горячий, и смелый, Шолом не поддавался все завлакивающей повседневности тюремного режима. Он не очень задумывался над всякими программными тонкостями, не лез в теоретики и лидеры. Своей рабочей башкой он разбирался в сложной цепи практических вопросов, интересов рабочего люда. Выше всего для него была личность трудящегося человека. Споры он любил и в спорах был горяч. Правда, он больше любил говорить, чем слушать собеседника. В повседневной жизни не было товарища, заботливей и участливей его.

В революцию Шолом пошел еще совсем ребенком. Старшие братья Шолома принимали активное участие в революционном движении 1905 года. Шолому было тогда лет 10. Маленький еврейский мальчик помогал братьям, передавал записки, переносил листовки. Последние он запихивал в свои штанишки, становясь круглым, как пузырь. Штанишки обвисали под бумажным грузом. Раз он чуть не потерял и их, и листовки. В 1905 году его братья были казнены. Как-то уже после их смерти, когда готовилась общая забастовка завода, мальчик услышал, что один из цехов завода бастовать не хочет. Он пошел снимать рабочих с работы. Залез на стол, иначе его вовсе не было бы видно, и произнес речь. Он говорил о чувстве товарищества, о единстве, о солидарности, о своих старших братьях, казненных за рабочее дело. К концу речи он заплакал. Слезами ли... но мальчик добился цели: цех забастовал.

После первого ареста, а 1918 году, Шолом бежал с этапа, засыпав махоркой глаза конвоира.

На нашем прогулочном дворе Шолом держал связь с другими прогулками. Держать такую связь мы могли, только перебрасывая почту на соседний прогулочный двор. Над нами и рядом с нами сидели троцкисты. Они отказывались поддерживать нашу связь.

* * *

Около недели просидели мы с Шурой в разных камерах. Потом его перевели ко мне. Как в Верхне-Уральске, мы были вместе. Жили книгами, занятиями и газетными сообщениями. Они не веселили. Рос и креп фашизм. Франко. Гитлер. Колосовы

Осенью, наверное, в августе, товарищи сообщили, что к нам на прогулку привели Колосова с женой. Еще по дороге в Суздаль, когда я сказала Шуре, что Колосовы арестованы, Шура размышлял о встрече с Евгением Евгеньевичем. Колосов

считался одним из крупнейших наших литераторов. Он работал по истории народовольческого движения. Был учеником Н. К. Михайловского. После 1905 года он жил в эмиграции в Италии. Туда он вывез весь архив Михайловского. Колосовым была выпущена большая работа о Михайловском.

Колосову было лет 55–56. Жене его 52. Оба они были глубоко возмущены своим арестом и возбуждены. Жили они в Москве совершенно легально. Ни с каким подпольем связаны не были. Он написал много работ, выпущенных Госиздатом: большую книгу о Шлиссельбурге под названием «Государева тюрьма», прекрасную книгу «Жуковский», содержащую описание жизни Жуковского в Шлиссельбурге и написанный им и найденный Колосовым роман, а также письма Жуковского своей невесте, книгу «Сибирь при Колчаке». Последняя работа Колосова, изданная за несколько месяцев до ареста, — «Народовольческая журналистика», — продолжала волновать его. При издании книге была предпослана статья Веры Фигнер. Последняя придерживалась по народовольческим вопросам иных взглядов, чем Евгений Евгеньевич, и он готовил новую работу с возражениями Фигнер. Эта его работа была сорвана арестом.

Шура спросил Колосова о его работе над архивом Михайловского. Мы сразу почувствовали, что задели его любимейшую тему. Евгений Евгеньевич рассказывал о своем знакомстве с Михайловским, о его привычках, костюме, манере речи. Колосов мог говорить о Михайловском часами. Возвращаясь в 1917 году из Италии на родину, Колосов не знал, какие судьбы ждут революцию, и весь архив Михайловского оставил на хранение у своих итальянских друзей. Узнав об архиве, большевики захотели получить его. Итальянцы отказались выдать архив без соответствующих указаний Евгения Евгеньевича. В Суздальский политизолятор к Колосову приезжали Андреева и Катанян. Они просили его передать архив. Евгений Евгеньевич заявил, что если они пустят его в Италию, он будет разрабатывать архив и печатать его, но большевикам, идейным противникам Михайловского, архива он не доверит.

Колосова получила срок два года. Колосов — три. Они рассказали нам о массовых арестах в стране, о повальных арестах среди бывших народовольцев и членов Общества бывших политических ссыльных и каторжан. Убийство Кирова. Волна арестов

Что шли большие аресты, тюрьма чувствовала: поступали все новые заключенные. Как-то вечером постучал нам в стену Шолом. Обычно мы не перестукивались. Зачем? Увидимся на прогулке. Очевидно, что-то срочное. Шолом сообщил, что к ним в камеру

привели Алексея Алексеевича Иванова.

Иванов входил в правительство, организованное группой правых эсеров в Архангельске (оккупированном тогда английскими войсками) вне связи с партией, независимо от нее. Позиции, занятые архангельским правительством, были осуждены партией. Все последние годы Иванов жил в Ленинграде. Работал, политикой не занимался. После пятнадцати лет мирной жизни, в 1932 году, его арестовали. За шесть месяцев под следствием его один или два раза привели на допрос и постановлением ОСО заключили в Суздальский политизолятор. Никакого состава преступления ему вменено не было. На все свои запросы о причинах ареста он получал объяснение, что сидит он не за какие-либо совершенные им преступления, а в связи с «политической ситуацией».

Настроение всех, встречаемых нами на прогулке было тяжелое. Люди устали от тюрьмы. Может быть, все усугублялось голодом. Голод был и на воле. В изоляторе нас кормили одной кислой капустой, и та была тухлой. Летом на смену ей приходила пареная крапива. Мы молчали, мы знали, что голодает вся страна.

Камера, в которой жили мы с Шурой была сырая и темная. Состояние моего здоровья резко ухудшилось, и тюремный врач решил направить меня в Москву, в Бутырскую больницу. Мне очень тяжело было отрываться от тюремного коллектива, но пришлось ехать.

В Бутырях меня посадили в строго изолированную камеру. Мне прописали электрический душ, ванны, давали какие-то лекарства. И, самое главное, изумительно кормили. Я получала масло, молоко, яйца, компоты, кисели, мясные блюда, ужины. Диагноз врачей был — нервное истощение на почве малокровия. Трудно лечить нервное истощение в тюремной одиночной камере. Книги у меня были, в остальном я была отрезана от всего мира. Недели две прожила без всякой вести о воле, без связи с кем-либо. И вдруг в маленькой уборной, в которую меня водили на оправку, я прочла над крапом на известью выбеленной стене нацарапанные слова:

«Катя, привет!» Быстро затерла я буквы и нацарапала: «Кто вы?»

Наверное, надзиратели больницы отвыкли от связи между заключенными, которую надо было ловить. Впрочем, на том же месте, я прочла: «Возьмите шарик, поставьте крестик». На полу в углу, вжатый в стену, лежал хлебный шарик. Я схватила его. У крапа умывальника на стене я поставила крест. В камере я раскрошила шарик. В нем была записочка. «Я — Селивестров. Вывезли из Суздаля вчера. В Ленинграде 1 декабря убит Киров.

Как здоровье? Завтра там же».

В голове у меня все помутилось. Кем убит Киров? Как убит? Почему Селивестрова привезли в Москву? Почему на больничное крыло? Что произошло в Суздале?

Утром я оставила записочку в уборной в хлебном шарике. Мой шарик пролежал весь день, ночь и следующий день. Селивестрова, очевидно, куда-то перевели. Вопрос о том, что произошло на воле, мучил меня. В тревоге ждала я конца лечения. Я умоляла врачей выписать меня из больницы. Температура за месяц несколько снизилась. Как из тюрьмы на волю, рвалась я из Бутырок в Суздаль. Там газеты, там товарищи, там жизнь... казалось мне. И наконец меня перевезли!

В Суздале я сразу засыпала Шуру вопросами. Ничего не зная, я связала в одно вызов Селивестрова в Москву и убийство Кирова. Шура сперва ничего не мог понять из моих вопросов. 5 декабря анархист Селивестров был вызван из Суздаля на лечение, никакой связи с событиями 1 декабря и в помине не было. Об убийстве Кирова товарищи узнали из газеты. Первое газетное сообщение смутило их. Как и я, ставили они вопрос, почему Кирова? И кто совершил покушение? Террор признавали и прибегали к нему в царское время эсеры. В период советской власти партия эс-эр признала террор недопустимым. О том, что выстрел могли произвести и коммунисты, никому не приходило в голову. Марксисты всегда были противниками террористических актов. В следующем номере газеты уже были подробные сообщения. Киров был убит выстрелом в затылок. Ни один эсер не выстрелит в спину противника из-за угла. Товарищи успокоились. Почему убит именно Киров, мы не знали, но в наших глазах выстрел был знаком борьбы в рядах коммунистической партии. Для нас неприемлемы были позиции всех течений компартии. Все они говорили о диктатуре, о монопартийной системе, душили всякое инакомыслие. Социалистическое движение было ими сообща раздавлено, разгромлено. Теперь начались столкновения, борьба за власть в их рядах.

Мы жили газетными сообщениями. Мы чувствовали, что назревают какие-то события. Понять их из-за тюремной решетки мы не могли. В соцсектор новых арестантов не поступало. Все социалисты давно уже были загнаны в тюрьмы и ссылки. В комсектор непрерывно привозили новых заключенных. Мы знали об этом по их крикам в окна.

В начале 1936 года на нашу прогулку выпустили трех новых заключенных. Сиониста-социалиста с Соловков, грузинского социал-демократа с Колымы и социал-демократку Попову из Ленинграда. Впервые подробно узнали мы о режиме новых

лагерей. Впервые увидели специфические лагерные костюмы — ватные штаны, телогрейку, бушлат. Сиониста перевели с Соловков по хлопотам родных. Социал-демократ голодал за перевод с Колымы три недели. Тасю Попову я знала по Соловкам она была в числе тех трех студенток, которых мы застали в кремлевской пересылке. Тогда ей было девятнадцать лет. Тогда она не принадлежала ни к какой политической партии. Большевики сами определили ее дальнейший путь. В 1924 году Тасю арестовали на каком-то студенческом собрании. Три года просидела она на Кондострове в группе беспартийных студентов. И ее послали в ссылку еще на три года. Ссылная среда определила Тасино мировоззрение. Она полюбила социал-демократа Массовера вышла за него замуж, у них родился сын. После ссылки, по хлопотам родителей, она вернулась в Ленинград. Оба устроились на работу. Сынишка рос. Никакой нелегальной работы они не вели. Они встречались с тесным кругом знакомых, в своей среде вели беседы, обсуждали, конечно, общественные и политические события. После убийства Кирова в Ленинграде начались массовые аресты. Арестовали и Тасю с мужем, как арестовали всех, бывших ранее под судом. Все, арестованные по одному делу с Тасей, пошли в ссылку. Тася получила три года политизолятора.

Тасино дело взволновало меня тем, что всколыхнуло прошлое. Предал Тасю и оговорил Вова Коневский. На следствии при очной ставке Тася установила это точно. Может быть, ее не послали в ссылку именно потому, что не хотели, чтобы она сообщила товарищам, кто предал и оговорил их. Я вспомнила мои споры с Примаком, мои упреки ему в жестокости и черствости.

Больше всего Тася убивалась о крошке-сыне, оставшемся со старушкой-матерью в Ленинграде. Тася рассказывала о переполненных тюрьмах, о перегруженных этапных вагонах. Женильба брата Димы

В январе 1936 года у меня была радость. Я не получала посылок ни от кого, и вдруг в форточку двери мне передали посылку из Архангельска. Незнакомой рукой был написан адрес отправителя «Д. Л. Олицкий». О Диме я не знала больше четырех лет. В 1931 году он был арестован и послан в лагеря на Урал. Значит, он закончил свой пятилетний срок и теперь в ссылке в Архангельске... С нетерпением разбирала я посылку. (Она, конечно, была вскрыта и проверена надзором.) Содержимое посылки удивило меня, даже ошеломило. Продукты,

— это понятно. Но вышитые салфеточки, розовенький маленький цветочек из тонкой резины, нитки-мулине, флакончик

духов... Посылку собирал не Дима! Я нашла три носовых платочка. Метки гладью

— на одном «Е. О.», на втором — «Д. О.», на третьем «Н. О.». Я запрыгала от радости. Димка женился! Мои догадки подтвердились в день выдачи писем. Дима писал мне, что он в Архангельске с Надей. Надя работает в краеведческом музее, он — по озеленению Архангельска. Оба счастливы, оба меня целуют и ждут письма.

Что за Надя? Откуда взялась Надя? Дима писал коротко, сжато, чтоб письмо не было задержано цензурой. Из позднейших писем от брата я узнала, что с Надей он встретился в Ярославле. Но почему он очутился в Ярославле, оставалось неясным. Главное же — я знала теперь, что Дима жив, здоров — и не один. Антагонизм между социалистами и коммунистами

Тюремная жизнь шла своей обычной колеёй. По газетам старались мы уловить скрываемое за официальной трактовкой события. Особенно остро волновали события в Испании. Многие товарищи рва

12. 1937 ГОД

Познавание ожидавшего меня началось с первых же шагов. В камере административного корпуса, куда меня завели, появилась женщина для обыска. Мой чемодан перерыли она и надзиратель вместе. Надзиратель унес его. Женщина приступила ко мне. Много, очень много раз подвергалась я личному обыску. Такого гнусного и отвратительного я еще не переживала. Очевидно, бабенка прошла особую школу. Мне было приказано раздеться догола, руками ощупала она каждую впадину на моем теле. Раздвигала пальцы рук и ног. Заглядывала в рот и ощупывала уши.

— Поднимите руки, заложите их за голову, расставьте ноги, нагнитесь.

Кого унижала она? Меня? или себя? Кто разработал такие изысканные приемы обыска?

Женщина отобрала у меня все шпильки, булавки, срезала все пуговицы с одежды, все крючки, застежки от пояса для чулок. Потом она предложила мне одеться.

— Одеться?! — я удивилась. — Это невозможно. Я не вешалка, на которую можно все навесить.

— Об этом говорите с начальством, — гордо бросила мне женщина и, полная сознанием исполненного долга, собрав в горсть все изъятые у меня застежки, вышла из камеры.

Недоуменно стояла я над своей одеждой. Рубашку я могла, надеть. Но штанишки? — из них была вынута резинка. Чулкам не на чем было держаться. Из ботинок были выдернуты шнурки. Набросив рубашку и платье, я уселась рядом со своими монатками, поджав ноги.

— Вы готовы? — спросил надзиратель, заглядывая в волчок.

— Нет, — ответила я, — и не буду готова. Меня лишили возможности одеться. У меня отобрали все застежки.

Через несколько минут в камеру вошел старший.

— Почему вы не одеваетесь? Металлических предметов и длинных шнурков заключенным иметь не разрешается.

— Давайте одежду такого покроя, чтоб держалась без завязок и застежек.

Старший помолчал и вышел. Я сидела над своим тряпьем и думала. Милый-милый наивный Шолом! «Женщин выпускают на волю!»...

Минут через двадцать вернулся старший. В руках у него были только что срезанные с моего белья застежки.

— Пока тюрьма не имеет женского белья, можете

пользоваться.

— Дайте иголку и нитки.

— Дежурный даст.

Получив от дежурного иголку и нитки, я принялась за шитье. К очередной кампании тюрьма, очевидно, не подготовилась. Мы были первыми, к которым применялся новый режим.

Едва я успела одеться, в камеру привели Тасю. Ее подвергли такому же обыску, как и меня. Мы очень обрадовались друг другу: по крайней мере, вдвоем.

— Вы понимаете что-нибудь? — спросила я. Тася отрицательно покачала головой. Такая всегда бодрая, она хмурилась.

Дверь камеры снова открылась, вошла женщина и остановилась у порога. Вид ее говорил о том, что она перенесла нечто ужасное. Была она бледна, руки ее дрожали, она еле держалась на ногах. Мы догадались, кто она. Но, чтобы не ошибиться, Тася спросила:

— Вы — оппозиционерка?

— Я — жена Ивана Никитича Смирнова, — сказала она, закрыла лицо руками и заплакала. Что мы могли сказать ей? И все же я сказала:

— Пройдите, сядьте. А Тася добавила:

— Не надо так. Мария подошла к нам:

— Меня везут на казнь, — сказала она дрожащим голосом. У нас с Тасей перехватило дыхание.

— Вам объявили что-нибудь?

— Нет. Мне просто велели собраться с вещами. Но я знаю, они убили его, теперь убьют меня. Ведь я — живой свидетель его жизни.

И я и Тася стремились успокоить Марию.

— Почему же взяли из изолятора и нас, зачем вас свели с нами? Единственное, что мы теперь знаем, это то, что женщин изолировали от мужчин. Что будет дальше, увидим...

Нам принесли ужин. Сообщили, что ночевать мы будем здесь, в этой камере. Может быть, это была самая страшная ночь в моей жизни. Мария была на грани безумия: то ей мерещилась казнь Смирнова, то саму ее вели на казнь. Два раза в своей камере она пыталась покончить с собой. Ей помешали. Теперь она говорила, что должна выжить, чтобы засвидетельствовать, что все показания Смирнова на суде — ложь, что она знает его жизнь, его мысли до самых последних дней. Мария сидела всю ночь, не отрывая глаз от волчка, уверяя, что ее могут застрелить через волчок в затылок. Тася тоже была угрюма:

— Неужели нас везут на следствие? Неужели они строят

какой-нибудь новый процесс социалистов? Я никогда не боялась следствия, а теперь боюсь. Мне жаль Марию. Но вы присмотритесь, только безвыходное положение толкает ее к нам. Даже теперь она боится, что ей припишут связь с нами.

Тася была права. Мария как-то подчеркивала свою отдельность от нас. Отчаяние бросало ее к нам, но она тут же говорила:

— Я не хочу, чтоб надзор видел, что я общаюсь с вами.

В ее обращении к надзору было что-то приниженное, заискивающее. В Ярославский централ

Не смыкая глаз, провели мы эту ночь. Подняли нас рано. На улице было еще темно, когда нас вывели из тюрьмы и посадили в «черный ворон». Двое конвоиров сели с нами в клетку, остальные поместились позади.

Когда машина остановилась и двери открыли, нам пришлось переступить всего несколько шагов — дверь вагона была открыта. От дверей «ворона» до дверей вагона в два ряда стоял конвой с ружьями в руках. Сквозь строй прошли мы в вагон. — Какой ужас! — шептала Мария. — Вы видите, они глаз с меня не сводят.

Это действительно было так. Мы обе заметили, что один из надзирателей неотступно следовал за Марией.

Нас с Тасей завели в одну клетку вагона, Марию — в другую. Больше заключенных в вагоне не было. Конвой разместился в коридоре. В тишине вагона мы с Тасей слышали ворчание конвоиров: «Третьи сутки бессменно возим и возим...»

В Суздале на этап нам выдали сухой паек, буханку черного хлеба и какую-то соленую, вонючую рыбу. Такой отвратительной рыбы мы еще не видели. Грязи на ней было больше, чем соли. Хлеб мы взяли с собой, рыбу бросили в камеру. Теперь мы о ней жалели, нам хотелось есть.

Куда нас везут, мы не знали. В вагоне мы пробыли несколько часов. К вечеру того же дня нас высадили из вагона, стоявшего в тупике, и пересадили в огромный крытый грузовик. Машину открыли в тюремном дворе. Вокруг двора были высокие каменные стены, впереди большой, очень большой корпус тюрьмы. Машина ушла. Окруженные конвоем, мы трое остались стоять во дворе.

Первой вызвали меня. Простясь с Тасей и кивнув Марии, я пошла в тюрьму. Миновав ряд коридоров и переходов, я попала в маленькую одиночную камеру, во всем сохранившуюся с царских времен. Привинченный к стене табурет, привинченная к стене койка. Новым был щит над высоко расположенным под потолком окном. Щит напоминал о внутренней тюрьме, но был он не металлический, а свежесколоченный из только что обструганных желтых досок. В камере я нашла свой чемодан. — Ваши вещи? —

спросил надзиратель.

— Мои, — ответила я.

— Это все, что у вас было? Проверьте. Я порылась в чемодане.

— Все.

— Возьмите, — сказал старший надзиратель. Тот взял чемодан, и они ушли.

Я опустила доску привинченного к стене сидения и села. Мне хотелось сосредоточиться, понять, что происходит со мной. Осторожный, едва уловимый стук в стену, прервал мои мысли. Стучала Тася. Ее перевели в соседнюю камеру. Тася сообщала, что рядом с ней посадили Марию. Наше перестукивание прервало щелканье форточки. Просунулась голова дежурного:

— Собирайтесь в баню.

— Как я могу собраться, если вы забрали все вещи?

Форточка захлопнулась. Я слышала, как открылась она в дверях Таси и в дверях Марии. Через несколько минут распахнулась дверь моей камеры:

— Получите ваши вещи, — надзиратель внес чемодан. — Соберитесь в баню.

Боже! Что за чехарда с нами и нашими вещами? Я быстро вынула белье, мочалку, полотенце. Приятный сюрприз: в баню нас повели всех троих вместе. Баня была хорошая, большая, вместительная.

Когда мы остались одни, Мария прошептала:

— Мы в Ярославском центре.

В прежние годы Ярославская тюрьма слыла в нашей среде за штрафную. Режим в ней был суровее, заключенные строже изолированы друг от друга. Мы слышали, что год назад социалисты-заключенные добились для себя политрежима. Мы с Тасей осмотрели все стены, скамьи бани и предбанника, нашли много записей, но знакомых фамилий не встретили. Из бани нас развели по одиночкам. Очевидно, у нас будет и общая прогулка. Во всяком случае, мы можем общаться через стену.

Как мы и предполагали, на вечернюю opravку нас вывели всех вместе. Наша уборная, как и камеры, была расположена в нижнем этаже. Над нами, из уборной второго этажа, мы слышали громкую мужскую речь. Нарочно нагнувшись над спусковой трубой, мы с Тасей заговорили громче. И сейчас же:

— Женщины, кто вы? — ясно прозвучало сверху.

— Социалистки из Суздаля! — крикнула Тася. — А вы?

— Я социал-демократ, Зелигер.

— Коля, здравствуй! Я — Тася Попова, со мной Катя Олицкая.

— Сколько вас?

— Нас трое.

— Кто третья?

— Ради Бога, не называйте меня! — прошептала Мария. Мы с Тасей переглянулись.

— Не наша. Оппозиционерка, — сказала Тася.

— Почему вас перевели?

— Ничего сами не понимаем. У вас какие-нибудь новости есть?

— Нет. Живем обычно.

— Так будут, — сказала Тася. Я спросила, кто из наших товарищей сидит в изоляторе. Коля назвал ряд фамилий и добавил:

— Здесь много оппозиционеров, они интересуются, кто с вами. Мария, явно прислушиваясь к называемым фамилиям, отрицательно покачала головой.

— Она не хочет себя назвать, — передали мы в трубу.

— Пока прощайте, — сказал Коля. — Подумаем о связи с вами. Может быть, вас переведут к нам на прогулку.

Мы услышали звук открываемой наверху двери, шарканье ног по коридору и четкий крик, разнесшийся по всему трехярусному пролету тюрьмы: «К нам привезли трех женщин из Суздаля!»

У старожилов Ярославской тюрьмы были неплохо налажены связи. За вечер и ночь Коля успел что-то предпринять. Раненько утром мы услышали крик за окном:

— Тася! Тася!

Тася откликнулась в форточку. Я напряженно слушала, стоя под окном в своей одиночке.

— Вы знаете немецкий? — спрашивал мужской голос, и сразу же по-немецки: — Ищите в уборной под умывальником. Поняли?

— Гут! — крикнули мы вместе с Тасей. К нашим дверям неся надзиратель:

— Прекратите крик!

Но крик уже прекратился. Мы нетерпеливо ждали оправки. В уборную нас снова выпустили всех троих. Тася сейчас же бросилась к умывальнику. Я стала у дверей на страже. Тася долго искала, но ничего не находила. Мы открыли кран, чтобы звук воды свидетельствовал о том, что мы умываемся. Мария требовала, чтобы мы не искали, за нами могут следить. Я молчала. Тася шарила рукой. При одном из движений она зацепилась за какую-то ниточку. На пол упала тонкая, туго свернутая бумажная трубочка. В ту же минуту лязгнул ключ, и дверь отворилась. Тася выскочила в отделение со стульчаками, я наступила на надзирателя:

— Мы еще не умылись, мы не стучали. Зачем вы открываете?

— Время истекло, поторапливайтесь, — сказал надзиратель и

запер дверь.

Мария стояла и тряслась от страха. Тася вышла к нам бледная.

— Я выбросила записку в трубу, — сказала она.

Мне показалось, что меня лишили чего-то радостного, чего-то светлого. Молча, торопливо мы вылили параши, умылись и разошлись по камерам. И вдруг я слышу Тася стучит в форточку: «Зер гут!» Я недоумеваю. А Тася уже стучит мне в стенку: «Все хорошо. Все. До прогулки».

Я все-таки ничего не поняла. Скорей бы гулять. После утреннего чая нас троих вывели на прогулку во двор. Двор был большой, куда больше нашего суздальского, но голый. Вокруг двора асфальтовая дорожка. Середина, как и у нас в Суздале в последние дни, изрыта ямами. Кое-где вкопаны новые высокие деревянные столбы. Привлекло наше внимание, что и часть окон забрана щитами. Щиты все новенькие. Мы слышали раньше еще в камерах стук работ. Очевидно, это готовили щиты. Мария шла рядом с нами.

— Строят виселицы, — говорила она. — В камере щит, как крышка гроба.

Нечутко, нехорошо, но нам с Тасей надо было уединиться. Мы повернули и пошли по кругу в обратном направлении.

— Я записку не выбросила, — сказала Тася. — Я не хотела, чтоб Мария знала. Катюша, ни Коля, ни другие ничего не подозревают. Живут, как мы жили. Коля пишет, что у них политизоляторский режим, что добились они его год назад, что в обход начальника они будут говорить о присоединении нашей прогулки к ним. Усиление режима

Нас вывезли из Суздальского изолятора. Нас подвергли дикому обыску. У нас то отбирали, то возвращали личные вещи. Окна наших камер были забиты щитами. Мы понимали, что это неспроста. Очевидно, круто завинчивается режим. Мы просто попали первыми. Как дать знать товарищам? Как предупредить их?

Вернувшись в камеру, мы стали проверять режим. Мы вызвали старшего и стали требовать газету, приема от нас писем, книги из библиотеки. Ответы были сбивчивые и неясные. После нашей ссылки на правила внутреннего распорядка, висевшие в камере, дежурный снял их и унес.

Неопределенное, переходное состояние длилось недолго. Мы даже не успели ответить Коле на его записку. Вечером, после проверки, когда тюрьма обычно погружалась в тишину, в коридоре началось движение. Защелкали форточки камер, затем стали отпираться двери. Мы с Тасей прислушивались, изредка

перестукивались через стену. Потом по коридору разнеслись крики: «Зелигер в одиннадцатой!» «Н. в шестнадцатой!» Мы поняли, эков разводили по одиночкам. Они кричали, в какую камеру, кого завели. «Началось, — постучала мне Тася, — теперь они в камерах со щитами». Потом мы услышали, как открылась камера Марии. Мы слышали ее шаги мимо дверей по коридору. Следом открылась моя форточка:

— Собирайтесь с вещами.

И сейчас же загремел затвор. Дверь распахнулась. На пороге стоял дежурный. При нем я собрала свои вещи. Я ничего не могла простучать Тасе. Проходя мимо ее двери, я громко сказала:

— До свиданья, Тася!

Надзиратель громко цыкнул, указал рукой на лестницу. Я поднялась по ней на третий этаж. Лестница шла в центре одиночного крыла тюрьмы. С обеих сторон она была забрана густой металлической сеткой. Виден был весь трехъярусный пролет крыла. По молчаливому указанию надзора я свернула вдоль лестницы к южным камерам. Мимо четырех дверей я прошла, пятая распахнулась передо мной.

— Олицкая в пятой камере! — громко крикнула я и переступила через порог. Стремительно закрываясь за мной дверь чуть не сбила меня с ног.

Камера была такая же, как внизу. На окне щита еще не было. Его набили на другой день. Но койки было две. Я не успела ничего сделать, ни о чем подумать, как открылась дверь. Я увидела Тасю и услышала ее крик:

— Попова в пятой!

Как и меня, ее почти втолкнули в камеру, захлопывая дверь. Очевидно, нашим переводом была закончена операция переводов на нашем крыле. Наступила тишина. Мы с Тасей были счастливы хоть тем, что оказались вдвоем. Быстро застелили мы свои койки и легли. Спать, конечно, не могли. Мы понимали, что теперь качалась реорганизация Ярославской тюрьмы. Теперь и Коля, и его товарищи поймут это.

День за днем мы выясняли, что же ждет нас. Мучительно хотелось знать, что произошло в мире, чем вызван новый зажим режима. До первого января 1937 года как будто ничего особенного не случилось. Мы ежедневно получали газеты. Что вызвало завинчивание режима тюрьмы?

Наутро на окна нашей камеры навесили сколоченный из досок щит. Мы слышали стуки молотков у соседней камеры, и дальше, и внизу. Перед обедом в камеру к нам пришли с обыском. Обыск был такой же, как при вывозе из Суздальского изолятора. Три женщины суетились по камере и вокруг нас. Казалось, они

вылизывают каждый квадратик нашего тела, камеры, пола и стен. Опять отобрали все наши личные вещи, оставили по смене белья и платья, надетые на нас, обувь и верхнюю одежду. Мы просили вызвать к нам старшего, дежурного по корпусу, начальника тюрьмы. Мы просили дать нам бумагу, карандаш для заявления. Нам объявили, что до очередного обхода начальника никто никаких заявлений от нас принимать не будет.

К вечеру нас вывели на прогулку. Посередине прогулочного двора была выстроена изгородь из сплошных досок. Она представляла собой четыре клетки. Нас пропустили в одну из них, и заперли дверь. Размером клетка была чуть больше нашей камеры.

— Разговаривать не полагается. Ходить по кругу, заложив руки за спину. Прогулка пятнадцать минут, — отпрапортовал прогулочный. Сам он поднялся на помост, шедший вдоль всех четырех клеток и заходил вдоль них. Мы не заложили рук за спину. Мы ходили с Тасей и пытались разговаривать, хотя говорить нам и не хотелось. Через пятнадцать минут нас вернули в камеру.

На другой день, а может через два дня, во время оправки, мы услышали крик:

— Я, Н., объявляю голодовку!

За ним следующий, и следующий... Каждый заключенный, возвращаясь из уборной, кричал, проходя по коридору, свою фамилию и объявлял о голодовке. Затихшие, сидели мы с Тасей и считали. Фамилии были нам незнакомы. Нам было понятно все. Товарищей, как и нас с Тасей, лишили маленьких тюремных прав. На зачинчивание режима заключенные отвечали голодовкой. Наутро, на следующий вечер мы слышали все новые фамилии примкнувших к голодовке людей. Услышали мы и голос Коли.

— Я, Зелигер, объявляю голодовку за политрежим.

До сих пор голодовку объявляли неизвестные нам люди. Социал-демократы всегда были ярыми противниками голодовки. Если заголодал Коля, значит, заголодали социал-демократы.

Из соседней с нами камеры на стук не отвечали. Но до нас доносилось перестукивание соседних камер. Включиться в него мы не могли, но мы понимали, что люди сговариваются о голодовке за режим. Мы с Тасей не разделяли действий товарищей. Жизнь социалистов вот уже более пятнадцати лет протекала в изоляции. Сидели они без перспектив на будущее. Сидели на годами сложившемся режиме. И вдруг по неизвестным им причинам их внезапно лишают всего. Только питание пока оставалось хорошим. Не думают ли товарищи, что это местная ярославская реформа? Тася и я были вывезены из Суздаля. Теперь

мы поняли, какие земляные работы велись в Суздале на прогулочном дворе. Там строились такие же клетки для прогулок. Мы были уверены — и там навесили на окна щиты. Меры, применяемые к нам, не ярославские, а всесоюзные меры. Пережив коллективную голодовку на Соловках, мы знали трудности и сложности групповой голодовки. При разобщенности и неоднородности коллектива мы не верили в возможность проведения ее. Мы считали голодовку заранее обреченной на неудачу. Но... что могли мы предпринять? У нас, вновь прибывших, не было связи с коллективом. Мы не могли повлиять на решение товарищей. А режим тюрьмы? Думать и решать было нечего. Товарищи голодают за режим. Можем ли мы не присоединиться к ним?

— Я не сниму голодовки, иначе как в камере с Массовером, — сказала мне Тася. — А если развезут нас всех, разобщат, изолируют, что тогда?

Я молчала. Январь шел к концу. В апреле кончался срок моего заключения. Если нас разъедят, развезут, потом придут ко мне в камеру и скажут: «За какой режим вы боретесь? Снимайте голодовку, поправляйтесь — ив ссылку». Моя голодовка могла быть только голодовкой солидарности. Пока будут голодать Тася и ее товарищи, буду голодать и я. Иного выхода я не видела.

Тревожную ночь провели мы с Тасей. Наутро, когда нас выпустили на opravку, идя по коридору, мы прокричали:

— Попова объявляет голодовку!

— Олицкая объявляет голодовку! Вернувшись в камеру, мы отказались принять хлеб. Голодовка

Все шло обычным в таких случаях порядком. Нам предлагали хлеб, обед, ужин. Мы не принимали еду. Тогда явился старший и дал нам по листку бумаги и карандаш. Мы с Тасей написали заявление на имя начальника тюрьмы. Мы требовали содержания нас в тюрьме на политрежиме, согласно вынесенному нам приговору. Старший ушел. Через полчаса к нам в камеру вошли трое надзирателей для производства обыска. Что могли они отобрать у нас, когда и так все было отобрано? Надзиратели взяли табак, спички, теплые вещи. Тася не курила. Мне, конечно, было тоскливо без папирос, но к этому я была готова. Мы принимали в камеру только воду.

Голодовка обещала быть длинной, надо было беречь силы. С первого же дня мы залегли на койки. Тасю больше всего мучило то, что она не могла дать весточку матери о своем переселении в Ярославль. Конечно, она болела за своего трехлетнего сына. Я много думала о Шуре, о нашей внезапной разлуке, о том, что и

как переживает он и товарищи в Суздале в эти дни. Шура сказал мне на прощанье — голодать только по политическим мотивам. Я не могла не голодать сейчас, хотя через два месяца кончался срок моего тюремного заключения. Может быть, именно потому, что мне предстояло выйти на волю, я не могла оставить товарищей в борьбе за режим, в котором им придется сидеть годы.

В первые дни голодающие еще выходили утром и вечером на opravку. Тогда по коридору разносился крик: «Катя, Тася, привет!» На шестой или седьмой день выходы из камер прекратились. На десятый — с обходом по камерам прошел врач. Низенький, румяный, упитанный, он измерял температуру, прослушивал пульс, уговаривал снять голодовку.

Мы прислушивались к хлопанью дверей. Судя по звуку открываемых и закрываемых дверей, голодало все крыло. Все его три этажа.

Ото дня ко дню силы наши падали, но голова оставалась ясной. Мечтать о будущем мы с Таней не могли. Мы не верили в победу, в возврат политизо-ляторского режима. Отсчитывая дни, Тася думала о горе матери, не получающей писем от нее больше месяца. Мы думали о том, что привело к слоому режима. Что произошло на воле? Произошла неудавшаяся попытка свержения власти? Газет не было. Вести не доходили ниоткуда.

На четырнадцатый день голодовки снова захлопали двери камер, открывались и закрывались они быстро. Значит, шел обход. Дошла очередь и до нас. В камеру вошел военный в сопровождении старшего. Он отрекомендовал себя как начальник Ярославской тюрьмы особого назначения. Смысл его слов сводился к тому, что политизоляторов больше не существует, что мы находимся в тюрьме особого назначения и режим изменен не будет. Ни личные вещи, ни газеты, ни письменные принадлежности в камеру допускаться не будут. Продолжительность прогулки — пятнадцать минут. Переписка с ближайшими родными — раз в месяц. Он предложил снять голодовку. Мы ответили, что голодовку не снимаем. С коек мы уже не поднимались, говорили немного, больше молчали и думали про себя.

Я никогда не забуду одной горькой минуты. Я лежала на своей койке, повернувшись лицом к стене. Очевидно, я уснула. И вдруг мне послышался Шурин голос. Шура окликал меня. Я забыла, что я в камере Ярославля, что со мной не Шура, а Тася. Я была уверена, что увижу его. Я повернулась, резким движением села на койке. Тася лежала полуприкрыв рукой глаза. В ответ на мое резкое движение она отвела руку от лица.

— Что с вами, Катя?

— Ничего, — я легла снова. Острое чувство утраты, утраты последнего реального ощущения Шури-ной близости.

Силы наши теперь падали быстро. Отношения с Тасей у нас были хорошие, но были мы очень разные. Тася страстно хотела жить с сыном, с мужем. Наша голодовка казалась ей ужасной бессмыслицей, неоправданным концом жизни. Ей казалось правильнее выдержать любые условия тюрьмы, напрячь все силы на выживание в любых условиях, чем бесперспективно умирать от голода.

Мне думалось по-другому. Умереть в тюрьме за право на жизнь не так уж плохо. Хуже умереть, не борясь за условия, ведущие к сохранению жизни. В условиях политизолятора люди теряли силы, слабели, болели, но все же выживали. В условиях зачинченного режима гибель ждет многих. Выдержит ли его сама Тася? Мне только казалось, что голодовка все равно не будет выиграна, не выдержит коллектив. Если большевики вводят режим со ставкой на наше полное уничтожение, не погибнувшие во время голодовки будут умирать постепенно. Почему хуже умереть борясь, если верить в победу, завоеванную смертью. Короче говоря, смерть в борьбе оправдана.

Тася отрицательно покачивала головой.

— Никакого значения, никакого смысла наша голодовка иметь не будет, смерти будут напрасными. — Зачем вы голодаете, Тася?

— А как я могу не голодать, когда голодают товарищи? Передо мной выбора нет. Я не могу не умирать, хотя все мое существо протестует против смерти.

Тася была по-своему права. Но именно то, что голодали люди с таким настроением, обрекало голодовку на неудачу.

На пятнадцатый день снова неурочное открывание и закрывание дверей. Но на этот раз двери камер оставались открытыми долго. Это не мог быть обычный обход. И вдруг... До нас донесся не то крик, не то стон. Необычный в нашей тюрьме звук. Мы затихли, насторожились. Вот уже вышли люди из соседней камеры. Открылся волчок нашей двери. Кто-то разглядывал нас с коридора. Потом дверь открылась. Первым вошел в нашу камеру тюремный врач. За ним шесть надзирателей в белых халатах. За ними сестра с большой стеклянной клизмой и длинной резиновой кишкой в руках.

Искусственное кормление...

Мы обе поняли сразу, хотя не знали, как оно производится. Камера сразу стала тесной от вошедших в нее людей.

— Выпейте молока, — сказал врач, — ваше положение угрожающее. Умереть мы вам не дадим, мы применим

искусственное питание.

Мы молчали. Врач повернулся к сестре.

— Питательная клизма готова?

В клизму была налита бело-желтая жидкость — смесь молока, сахара, яйца. Я хотела повернуться лицом к стене, но сильные мужские руки схватили меня, перевернули на спину и прижали к койке. Два надзирателя держали меня за ноги, двое прижимали голову и руки к постели. Я не могла шевельнуться. Я могла только стиснуть зубы. Но врач левой рукой зажал мне нос, а правой ввел в рот какую-то пластинку — разжал, повернул, и во рту у меня оказался какой-то расширитель.

— Не сопротивляйтесь, — сказал врач, — лежите спокойно, иначе может получиться прободение пищевода.

Как будто я, проголодавшая пятнадцать дней, могла сопротивляться в руках четырех здоровых парней. Сестра подняла кружку со смесью. Врач стал вводить кишку в пищевод.

— Глотайте, глотайте, — говорил он мне.

Я не могла ни глотать, ни не глотать. Судорога сводила горло. Я понимала всю безвыходность моего положения. Я просто задыхалась. Из моих глаз лились слезы. Трубка вырывалась, выскакивала изо рта. Питательная смесь выливалась на постель. Три раза вводил врач кишку. Какое-то количество смеси разлилось, какое-то было введено.

Когда кружка опустела, врач вынул кишку, расширитель и минут пять массировал мне живот. Смесью должна была впитаться, заключенный лишен был возможности прибегнуть к рвоте. Меня отпустили. Врач повернулся к Тасе. Чтобы не видеть издевательства надо мной, Тася отвернулась к стене. Возле нее на карауле стояли два надзирателя.

После пережитого у меня была страшная слабость. Из глаз все еще текли слезы. Во рту было сладко, я должна была сознаться, приятно до наслаждения. Но общее состояние было ужасное. Пережив кормление сама, я вся дрожала за Тасю. К счастью, у Таси оно прошло иначе. Горловых спазм у нее не было. Жидкость спокойно поступала в желудок. Закончив свое дело, врач сказал:

— Снимайте голодовку. Будем все равно кормить. Сперва так, затем каплями через нос, затем через задний проход. Голодовка безнадежна.

Искусственное питание применяли через день. Та-ся переносила его легко. У меня ни одно кормление не проходило нормально.

На двадцать первый день голодовки Тасю взяли из моей камеры, увели в другую. Мы грустно простились.

В одно из кормлений врач обратил внимание на мое состояние. Измерил температуру, оказалось 38,3°. Кормление он отменил. Как я была счастлива. У меня ничто не болело. Оставшись одна в камере, я еще лучше слышала жизнь тюрьмы. Во время кормления до меня доносились стоны и хрипы из коридора. Очевидно, не одна я трудно переносила кормление. Кормили меня теперь раз в четыре дня. На тридцатый день голодовки в мою камеру вошли четыре человека в штатском и начальник тюрьмы.

— Здравствуйте, — сказал один из них. — Мы приехали к вам из Москвы, чтобы урегулировать наши вопросы. Ваши требования не могут быть удовлетворены. Политизолаторов больше не существует.

— Зачем же вы ехали? Нам не о чем говорить.

— Нет, есть о чем. Мы все же идем вам на уступки. Мы сочли возможным удовлетворить некоторые ваши требования. Если вы сейчас в состоянии, давайте обсудим, что выполнимо из ваших требований. Ведь вы голодаете уже тридцать дней. Как ваше самочувствие?

Как проникнуть в мысли и чувства этих с сочувствием смотрящих на меня людей? Не помню деталей разговора. Они перечисляли: центральную газету дать в каждую камеру невозможно, передача газеты из камеры в камеру недопустима, но разрешается выписка областной газеты. Письменные принадлежности будут выданы — только стандартного образца, бумага пронумерованная. По мере использования ее надо сдавать, и она будет храниться до освобождения. Личные вещи будут отданы в камеру. Переписка с родными ограничивается двумя письмами в месяц — одно к вам и одно от вас, нельзя перегружать цензуру. Родные могут слать денежные переводы — пятьдесят рублей в месяц, на них можно закупать нужные предметы в тюремном ларьке. Продолжительность прогулки будет установлена до одного часа ежедневно. Посылки от родных допущены быть не могут. Я перебила:

— Сегодня первое марта. Тридцатого апреля у меня кончается срок. Входить в обсуждение режимных вопросов я не буду. Я голодаю за режим по солидарности с товарищами. Если они не снимут своей голодовки, — я буду голодать дальше.

— В тех камерах, что мы обошли, вопросы уже согласованы, и ваши товарищи кушают, — из портфеля он извлек пачку заявлений. Он зачитал мне ряд фамилий, в числе их была Тасина.

— Как я могу вам поверить? Он развел руками.

— Если Попова голодовку сняла, я голодовку сниму, — сказала я, — но не раньше, чем буду с ней в одной камере.

— Мы не возражаем против вашего соединения, но как сможете вы перейти из камеры в камеру? Вы так слабы. Мы принесем вам записку от Поповой.

— Обо мне не беспокойтесь, я перейду, — ас вами мне разговаривать больше не о чем.

Вежливо раскланявшись, все четверо ушли. Начальник вышел вслед. Он не проронил ни слова. Через полчаса в мою камеру вошла женщина. Она несла поднос со стаканом молока и блюдце с сухарями. Сквозь открытую дверь я увидела тачку, на которой стоял бидон с молоком и корзина с грудой сухарей. Очевидно, заключенные стали принимать питание. Но Тася?

Я сказала женщине, что приму питание только в камере Поповой. Еще минут через пятнадцать надзиратель открыл дверь и сказал «пойдемте». Я встала и пошла. Меня немного шатало, но я опиралась о стенку. И идти пришлось недалеко — всего пять камер разделяло нас. Тачка с молоком и сухарями двигалась уже на нижнем этаже.

Когда надзиратель открыл дверь Тасиной камеры, Тасенька — бледная, исхудавшая — сидела на койке. Рядом на тумбочке стояло молоко и сухари. У другой койки стояла такая же порция для меня. Я не подошла к Тасе. Я сразу села на соседнюю койку. У меня пересохло во рту, и не хватало дыхания. Мы смотрели друг на друга и молчали. Потом Тася сказала:

— Что ж, давайте есть. Я ей ответила:

— По коридору разносят молоко и сухари.

— Я слышала, камеры принимают питание. Но все ли?

И молоко, и сухари показались нам очень вкусными. Но увы, их было страшно мало.

Мы с Тасей считали, что голодовка проиграна. Конечно, как будто бы соблюден компромисс. В тот же день мы получили номер ярославской областной газеты. Через несколько дней нам выдали стандартный грифель, ручку и по тетради. Нам вернули наши личные вещи и книги. Мы написали домой, сообщив новый адрес: Ярославль, почтовый ящик №... Нам дали часовую прогулку, но в клетке. Где и в чем была гарантия, что завтра все эти блага не будут отобраны? Не был признан старостат, не было связи с другими заключенными. Тася уверяла, что и без голодовки мы получили бы эти блага, продуманные, взвешенные законодателями заранее.

Питание после голодовки нам дали прекрасное. По величине бака, развозившего питание, мы знали — голодало много народа.

Тася поправилась очень быстро. Я не поправлялась. Температура лезла в гору. Болел бок. Меня питали усиленно, но впрок ничто не шло. Однажды, раскашлявшись как-то ночью

очень сильно, я выплюнула целый сгусток крови и гноя.

У тюремных сидельцев всегда настороженный слух. Малейшее движение на коридоре ухо четко ловит. О жизни в тюрьме мы знали по звукам из коридора. Были шумы стандартные: проверка, оправка, раздача еды, обход начальника. Каждый новый неожиданный звук в коридоре привлекает внимание. По шорохам и звукам мы с Тасей поняли, что голодавших заключенных куда-то перевели, на их место привели новых. Вместо мужских шагов по коридору слышалось постукивание женских каблучков. Доносились женские голоса. Часто был слышен женский плач. Мы с Тасей недоумевали. Откуда взялось такое количество женщин-политзаключенных? Нам стало ясно, что мы в женской тюрьме или в женском крыле, во всяком случае. Это подтвердилось, когда на коридорах всех трех этажей появились женщины-надзиратели. Они выпускали нас из камеры, водили на прогулку, сопровождали в баню. Только старшим по корпусу был мужчина, да библиотекарь, да начальник тюрьмы, да врач.

Женщины были молодые, нарядно одетые в пестрые шелковые платья, завитые, с подкрашенными губами, подведенными бровями. Они были насторожены, молчаливо-враждебны. Добиться от них чего-либо было трудно. Они боялись всего, дрожали перед администрацией: не решались вызвать лишний раз старшего, до минуты подсчитывали время, отведенное на утреннюю оправку, на умывание, скрупулезно отмеривали нитку, когда мы просили иголку с ниткой, чтобы зашить дыру.

Мужской надзор в массе своей лучше женского.

Мы ежедневно теперь получали газету. (Январь и февраль не знали мы, что творилось на свете.) Не сразу мы поняли и из газет, что же произошло за это время. Процессы. Бесконечные судебные процессы. У нас распухли мозги от напряжения, от желания понять, чем это вызвано. Процесс Зиновьева, Каменева, процесс Бухарина, процесс Ягоды, убийство врачами Горького и его сына... Ясности никакой не было. Мы не могли понять, кто сидит рядом с нами в тюрьме. Кто эти женщины? Чем вызваны непрерывные истерики и слезы. Камеры не перестукивались. На наши стуки соседи не отвечали. В тюрьме стояла гробовая тишина.

Однажды нам удалось подслушать обрывки разговора заключенной со старшим по коридору. Из него мы поняли, что заключенных, окончивших срок не освобождают. Тогда я подумала, что и мне нечего ждать 13 апреля. Я была рада, что есть время подготовить себя к удару. Теперь обе мы, Тася и я,

напряженно ждали тринадцатого, чтобы проверить наши наблюдения, чтобы точно знать. Новый срок

Мы не ошиблись. 13 апреля в форточку нашей камеры надзиратель подал мне бумажку и карандаш.

— Олицкая, распишитесь.

Я прочитала, что слушалось дело такой-то и такой-то, осужденной по таким-то статьям, и постановлено «содержать под стражей пять лет, с 13 апреля 1937 года по 13 апреля 1942 года».

Прочитав бумагу, я подписала: «Читала Е. Олицкая». Вернув ее надзирателю, пошла к своей койке. Форточка что-то долго не закрывалась. Надзиратель смотрел на меня. Может быть, он ждал слез, вопросов, протеста.

Тася приняла это сообщение ближе к сердцу, чем я.

— Мы не выйдем из этой тюрьмы, — говорила она.

Отчаяния у меня не было. Я была подготовлена к этому. Но как поступить? Обойти молчанием, никак не реагировать? Этого я не могла. Долго ходила я по камере и думала. Голодать? — Бесполезно. Голодать в виде протеста несколько дней — бессмысленно... Я потребовала у дежурного карандаш и бумаги для подачи заявления прокурору. Я протестовала против незаконного вынесения мне приговора без суда и следствия. Я знала заранее, что заявление мое останется без ответа, и потому закончила его примерно так: «В случае неполучения ответа на мое заявление, я вынуждена буду считать, что приговор вынесен мне не за какие-либо деяния, мною совершенные, так как я все эти годы находилась в тюремной камере, а за мои социалистические убеждения».

Я прочитала мое заявление Тасе. Думать и действовать иначе, я не могла. Меня держат в тюрьме за мои мысли и убеждения, и ничего другого, как сидеть в тюрьме, мне не оставалось.

Из дома и я и Тася получили по письму, по пятьдесят рублей денег. Из тюремной библиотеки набрали научных книг, книг на иностранных языках, решили жить, как сможем. Я все успокаивала Тасю, быть может, через год, когда кончится ее срок, «ситуация» изменится. Тася и верила и не верила. Газеты продолжали нести вести о новых процессах.

Неожиданно Тасю вызвали с вещами из камеры. Тяжело было нам прощаться. Мы обещали друг другу: кто первым выйдет на волю — при первой возможности уведомит родных другого. Мы выучили адреса, я — Таенной мамы, она — моей сестры.

В одиночке, без Таси, я прожила одну неделю. Мне выдали арестантскую форму — синяя юбка с желтой полоской на уровне колен, синяя кофта с желтой полоской у ворота, у подола и на манжетах рукавов. Не помню, при Тасе или уже без нее, все

личные вещи были снова отобраны. Оставили лишь обувь, верхнюю одежду, шапку, шарф, перчатки — то, чем не снабжала тюрьма, заведшая женское белье и платье. Оставили личные книги. Прогулку тоже сократили до полчаса.

В один из дней мне заявили, что меня переводят в другую камеру. Камера была расположена в том же крыле и на том же этаже. Когда надзиратель открыл дверь и пустил меня в новую камеру, я увидела пожилую женщину в такой же, как у меня, арестантской форме, сидевшую за столом перед открытой книгой. Она едва ответила на мое приветствие и продолжала читать.

Я, как опытная заключенная, сразу же приступила к освоению нового жилья: заняла свободную койку, разложила свои немногочисленные вещички, поставила постель, на нее положила мои личные книги и газету. При виде газеты женщина вдрогнула.

— Вы получаете газету?

— Да. А вы?

— У меня на лицевом счету нет денег на выписку. Я протянула женщине газету и сказала:

— Я — эсерка Олицкая, переведена к вам из другой камеры. Вы здесь давно?

Губы старушки сжались плотней, брови нахмурились.

— Я — коммунистка, я ни в чем не виновата, — и она погрузилась в газету.

Мне было очень любопытно познакомиться с новой категорией заключенных, расспросить о многом... Но если она не хочет?.. Я тоже взялась за книгу. Не все одинаково реагируют на одиночество. Мне одиночка всегда была милее. Сидеть с чужим человеком трудно. Моя сокамерница, правоверная коммунистка, не хотела, очевидно, общаться со мной. Мне ее общество не было нужно.

Но со всякими острыми углами и столкновениями общение все же постепенно налаживалось. Мне было неудобно и тяжело с ней. Вероятно, непомерно тяжелей было ей со мной.

Я знала, за что и почему сижу. Она не знала, не понимала, вся тянулась к той, во всяком случае на словах, прославляемой ею жизни. Она была человеком малообразованным, неприспособленным к книжной жизни. Ей нужен был собеседник, но не такой, как я. Ей страшно было общаться со мной на глазах у надзора. Ведь я была — настоящей преступницей, подлинным «врагом народа».

Постепенно я узнала биографию моей сокамерницы. В 1918 году она, работница одной из ленинградских фабрик, вступила в партию большевиков. Окружавшие ее родичи были коммунистами. Один из них, ее деверь, старый большевик, был

особенным авторитетом в ее глазах. В 1929 году он примкнул к оппозиции. Уверенная в его честности, идейности и убежденности, она, не разбираясь в тонкостях партийных разногласий, подписала какую-то декларацию оппозиционеров. Ни в какой оппозиционной деятельности она не принимала участия. Работала на заводе, растила сына. В 1935 году после убийства Кирова начались массовые аресты в Ленинграде. Забыв о своей подписи, М. вспомнила о ней, когда ее вызвали в КК райкома.

— Деверь мой тогда был уже в ссылке. Я шла за ЦК. Я с ним никаких связей не поддерживала. Успокаиваю себя тем, что многих вызывают. В кабинете нас много сидело, ждали очереди. Вдруг вижу идет мой знакомый. И его, значит, вызвали. Ни я, ни он виду не подали, что знакомы, не здороваемся. Как чужой он прошел, а сел на стул все-таки рядом со мной. Посидел, а потом шепотом спрашивает: «Вас по какому делу вызывают?» Я ему отвечаю: «Не знаю, а вас по какому?..»

Я перебила М.

— Вы говорите, что вы за генеральную линию, что вы, верный член партии, пришли в свой райком. Зачем же вы шептались, зачем скрывали свое знакомство?

— Такое время — все дрожали, все боялись. — Не понимаю. Если бы я пришла в мой партийный райком, я бы ничего не скрывала от моей партии.

М. не дала мне говорить, она вскочила, заметалась по камере.

— Оставьте меня. Оставьте меня.

Мы замолчали на несколько дней. По-человечески, я знала, я должна была бы побереечь эту несчастную женщину. Но я не могла. Передо мной была несчастная старая женщина, вероятно, плохо разбирающаяся в политике, но ведь она была членом правящей партии. Я была враждебна, я не щадила, я говорила, что думала.

Спустя несколько дней мы заговорили. Я могла бы молчать и дальше, зарывшись в книги и думы, но М. нечем было жить — книги ее утомляли.

Я узнала, что М. была исключена из партии и сослана в Колпашево на три года. Она считала дни до окончания срока, а пришел 1937 год.

— Какой ужас, — говорила она. — В ночь, когда казнили Зиновьева, собаки в Колпашево так выли. Все мы знали — свершилось страшное...

Я перебила:

— Но как так можно думать? Почему колпашевские собаки учуяли смерть Зиновьева?

И снова М. срывалась с места, бегала по камере, и снова мы умолкали на несколько дней.

Я, пожалуй, и жалела ее. Положение ведь, правда, было трагическое. Когда стали арестовывать в ссылках, и ее арестовали в Колпашево, дали новый срок — пять лет. Сына ее, восемнадцатилетнего юношу, выслали из Ленинграда. Она считала, что сгубила и свою и его жизнь. М. не получала ни писем, ни денег. Денег и у меня было мало. Я берегла их на выписку газет, и в тюремном ларьке покупала только папиросы и спички. Раз в декаду заключенным разрешалось купить пять пачек папирос. В тюремный паек курево теперь не входило. Я привыкла растягивать эти пять пачек на десять дней. Но М. — тоже курила, не могла же я курить одна.

В один из обходов начальником камер я, объясняя причину, просила перевести некоторую сумму денег на лицевой счет М. или разрешить мне выписывать десять пачек на двоих. Начальник категорически отказал и в том, и в другом. Причину отказа он отказался объяснить. С насмешкой в голосе он предложил выписать махорку и так как бумаги не полагалось, то трубку к ней. М. решила попробовать курить трубку, (пропущено несколько слов — примеч. перепечатавающего)... у нас отобрали, поскольку ее не положено хранить в камере. Пять дней в декаду мы курили, пять дней мучились в ожидании ларька. Плохо было и с книгами. Каждой из нас разрешалось взять в библиотеке по две книги на декаду. Я брала только научные книги или книги немецкого языка. М. — только беллетристику. Я прочитывала и ее, и свои книги, М. — только свои. Когда кроме чтения нет другого занятия, книг хватает на два, на три дня. А остальные?... В карцере

В каждой книге стоял штамп: «Никаких пометок, помарок, обозначений на книге делать не разрешается». М. упустила из виду это правило: ногтем отмечала она строку, на которой остановилась. Я об этом не знала. В результате получилась довольно неприятная история. Дверь нашей камеры отворилась:

— Кто в камере на «О»? — спросил старший.

— Я — Олицкая.

— Идемте со мной.

Я вышла из камеры и в сопровождении надзирателя двинулась по коридору. Надзиратель командовал: «налево», «направо», «вниз по лестнице», «прямо»... Наконец мы вошли в большую камеру без окон, освещенную электрической лампой. В противоположной стене ее была открыта маленькая дверь. Как только я переступила через порог, дверь за мной захлопнулась. Передо мной была глухая стена. Шаг в ширину, два шага в длину.

На полу, на четверть от пола — низенький настил из досок. За густой металлической сеткой над самым потолком — маленькая электрическая лампочка. Где я и что со мной — я не понимала. Но дверь снова открылась, на пороге возникла юная девушка в свет-лорозовом шелковом платье, едва доходившем до колен. Завитые волосы обрамляли ее лицо, а накрашенные губы произнесли:

— Обыск. Разденьтесь догола.

Она забрала всю мою одежду, включая чулки и рубашку и, указав рукой в угол, произнесла — «там» и вышла.

Я осталась босая, голая, с распущенными волосами. На полу в углу я разглядела серый сверток. Подняв его, я увидела огромный арестантский халат из грубого солдатского сукна. Из него вывалились большие лапти, сплетенные из лыка. Не знаю почему, но в душе моей поднялась такая нежность к этим лаптям! С детских лет, с Сорочина, наверное, я не видела нашей русской крестьянской обуви. Вы со мной, мои милые русские лапти. Вы — привет мне от моего народа. Вы пробрались в тюрьму, чтобы ободрить меня в трудную минуту.

Я сунула ноги в лапти. Две ноги мои вошли бы в один. Надела халат — рукава его свисали чуть не до пола. Сукно шерстило тело. Но почему-то этот арестантский маскарад рассмешил меня, и я от души рассмеялась. В ту же секунду в щелку заглянул надзиратель, очевидно, решив, что я сошла с ума. А я, подобрав полы халата, присела на низенький настил и размечталась. Вероятно, надзиратель доложил старшему, что заключенная ведет себя, как не положено. Во всяком случае, дверь открылась. Старший с порога объявил, что по приказу начальника я заключалась в карцер на пять суток. Я просто вытаращила глаза — за что?

— Сами знаете, — ответил старший.

— Нет, не знаю, но очень рада узнать, какие карцеры в советских тюрьмах.

Дверь захлопнулась, я опять уселась на настил. Теперь я знала, что мне предстоит пять суток скоротать здесь. Что такое пять суток по сравнению с вечностью. Вообще, карцер правильный. Холодно, полусумрак, не узнаешь, — день или ночь. Вытянуться на настиле нельзя. Ноги упираются в стену. Ходить негде, да и лапти валяются с ног. Халат шерстит все тело. Три раза в день открывалась дверь камеры, мне давали по кружке холодной воды и по куску черного хлеба. Я сама не могу объяснить, почему у меня все пять дней было самое прекрасное настроение. Может быть, потому что я была совершенно одна, сама с собой. Я перебирала в памяти все стихи, какие помнила,

читала вслух. Надзиратель часто открывал волчок и смотрел на меня. Вряд ли ему встречались заключенные, так переносившие карцер. Мысль об этом смешила меня, и каждый раз, когда он открывал волчок, я довольно улыбалась. Как мое поведение преломлялось в глазах надзора, не могу сказать, но мне чудилось в нем что-то дружественное. И случилось почти невероятное: надзиратель, протягивая мне хлеб в форточку, шепнул: «Один день еще осталось потерпеть». «Вытерплю», — с улыбкой ответила я.

Когда я вернулась в камеру, моя сокамерница поднялась мне навстречу, обливаясь слезами. Она всхлипывала и ничего не могла сказать. Во всем она винила себя. После увода меня из камеры ее перевели на карцерный режим, все вещи вынесли из камеры. Ее посадили на хлеб и воду. Ей объявил старший те же пять суток на карцерном положении за то, что в библиотечных книгах найдены пометки на полях, сделанные ногтем. М. созналась в своей вине. Она уверяла, что не придавала значения таким меткам, она говорила о моей невиновности. Начальство это не интересовало. Оно накладывало взыскание. И самое худшее — ведь карцер был уже позади — на месяц лишало нашу камеру возможности пользоваться библиотекой. Вот это был удар! Месяц без книг. Целый месяц. Тянется время...

Чтобы убить время, я прибегла к всегда спасавшей меня тюремной «музе». Я сочиняла всякие стихи еще во время голодовки. Тогда я не могла записать их. Теперь у меня были карандаш и бумага. Первым я записала «Моей звездочке, светящей в окне»:

Изменяются нравы, обычаи, Изменяются судьбы людей. Пусть столетья пройдут, — но как нынче, Любоваться звездой моей, Моей яркой лучистой красавицей, Старость, юность ли, будут всегда, Узник к ней, если тюрьмы останутся, Грустный взор устремит и тогда. И ее голубое мерцание Оросит его душу светло, Проникая в унылое здание, Как ко мне проникает оно.

Часами могла я стоять в двух шагах от окна (ближе подходить не разрешалось) и, заглядывая в щель над щитом, смотреть на мою звездочку.

Написала я и «Товарищу»:

Мы с тобой не встречались давно, Не припомню лица твоего, Не припомню имени даже, Что же ты мне, товарищ, расскажешь?

Может быть, стихи помогли мне перенести пустые дни этого месяца. С сокамерницей я не могла говорить. Я ежечасно чувствовала, что кроме обиды и горечи, у нее ничего не осталось, фальшивить перед ней я тоже не могла, хотя и жаль мне ее было. Молчание же мое действовало на нее угнетающе. В чем найти

выход? В доброте, в сочувствии, в мягкости? Мне претило ее всепрощение к тем, кто калечил жизнь и ее, и мою, и тысячи других. Я давала себе слово никогда ничего не простить и не забыть. Не за себя. Нет. За тех, кто окружал меня. За Россию, над которой производился страшный эксперимент. Все существо протестовало против суда истории, в котором всегда возвеличивались победители, какими бы путями они ни шли, что бы ни попирали ногами. И сейчас возводили на пьедестал Петра I, Ивана Грозного — страшные страницы русской истории. В противовес, мне думалось, что побеждали тьму, расчищали путь для будущих поколений не победители и завоеватели, гарцующие на конях и угнетающие народ, а страдалцы, — покоренные, но не побежденные. Сибирь осваивали беглые, раскольники, декабристы, сумевшие выжить и пронести через жизнь свою веру. Если что доброе разовьется и уцелеет из русской революции, а в конечном торжество революции и победу социализма я твердо верила, то это будет то, что в муках и страданиях создает наш народ не с помощью победителей, а вопреки им. Кончилось утомительное сидение без книг. Опять в нашу камеру зашел библиотекарь, и опять я забила в книгу. Систематически заняться каким-нибудь предметом я не могла. Я читала, что попадается по самым разным отраслям знаний. Чем больше было книг, тем больше я радовалась. Многие я задерживала месяцами, менялись книги только моей соседки. Я читала книги по астрономии, геологии, по истории культуры. Хорошие — перечитывала по несколько раз.

Месяцы шли. Тюрьма приняла устроичивый, заверченный вид. Женский надзор сменил шелковые платья на строгую форму надзирательниц. Состав заключенных, очевидно, был укомплектован. Все камеры были заселены женщинами. Питание мы получали удовлетворительное, но как и все, я с моей сокамерницей теряли аппетит. Идя на оправку, мы ежедневно выносили остатки хлеба, каши, супа. Груды таких остатков мы видели в баке, специально поставленном возле уборной. Нередко из камер доносились плач, истерики. Вне этого была гробовая тишина. Малейшее повышение голоса в камере обрывалось надзором. Говорить заключенные должны были шепотом.

Однажды, в начале 1938 года, тишина эта была нарушена. В коридоре послышалось какое-то движение, шум, беготня. В нашу камеру проник запах гари. Мы узнали, что горела тюремная каптерка. Заключенных из некоторых камер переводили в другие. Нас перемещение не затронуло. Но потом другие заключенные рассказывали мне, что кто-то из перемещенных сообщил, что в Ярославской тюрьме заключалась Мария Спиридонова.

Я ежедневно и упорно стучала в стену, надеясь вызвать соседей. Откликов долго не было. Как-то на стук мой дробью отозвалась соседняя камера. Но поднявшиеся были надежды скоро рухнули. Соседка ежедневно безбоязненно постукивала в нашу стену, но перестукиваться она не умела и, вероятно, не хотела. Тысячу раз выстукивала я ей тюремную азбуку, она ее не применяла. Два раза стучала она — утром и вечером. Очевидно, это означало «доброе утро» и «спокойной ночи». Позже, при вывозе из изолятора я с ней встретилась. Это была киевлянка Зина Фраткина.

От одуряющего бездействия я распустила концы моего шерстяного вязаного шарфа и чулок. О железный край койки, а потом кусочком стекла, найденным случайно в уборной, я из обгоревших спичек вытачивала крючки для вязания и тайком от надзора вязала какие-то никому не нужные кружева, салфеточки. Для М. моя выдумка оказалась спасением. Со страстным рвением она принялась за такую работу. Она оказалась мастерицей и придумывала всякие способы вязки. У нас не хватало ниток и, довязав салфеточку одним узором, она распускала ее и вязала другим. Она не была достаточно осторожной и два раза засыпалась с вязкой. Надзор отобрал салфеточки и вызвал женщин произвести обыск. Но крючка они, конечно, не нашли. Мы бросили крючки на пол, а кому бы пришлось в голову рассматривать обгорелую спичку?

Кому мешало наше вязание? Почему оно преследовалось?

Весна сменилась летом, лето — осенью и зимой, и опять пришла весна. Мы не видели зелени: ни травки, ни цветочка, ни листика на дереве. Однажды между выступом стены и асфальтом дорожки я увидела и сорвала желтую головку одуванчика. Я принесла его в камеру, но действовала недостаточно осторожно. Прогулочный надзиратель заметил и доложил, и при входе в камеру надзиратель отобрал у меня цветок.

Большое развлечение доставила мне раз мышка. Она выглядывала в отверстие вентиляции, расположенной в углу под парашей довольно высоко от пола, поводила усами, сверкала черными бусинками глаз. Но оказалось, что М. ужасно боится мышей. Она вскрикнула, забралась с ногами на койку, умоляла меня прогнать мышонка. И махнула на мышку полотенцем. От перепуга мышка свалилась на, пол и забегала, забилась вдоль стен. Ни одной щепки, никакого выхода из камеры не было. Мышка попала в тюремную одиночку. Забыв о тюрьме, о режиме, о тишине, разговорах шепотом, М. вскочила на табуретку, привинченную к стене, и заорала во весь голос. По коридору к нашей двери примчалась надзирательница, заглянула в волчок,

громыхнула форточкой двери:

— Что такое?

— Мышь! мышь! — орала М.

Может быть, надзирательница тоже боялась мышей, форточка захлопнулась. Через несколько минут в ней показалось лицо старшего.

— Чего кричите. Мыши испугались? Тоже мне преступники! Гоните ее. М. дрожала на скамье.

— Куда гнать? — спросила я.

— Ну, поймайте, да в парашу.

Ловить мышь и бросать ее в парашу я не собиралась. Я сидела на койке и смотрела на мечущуюся по камере мышь. Не было на полу ни одного укромного уголка для нее. Весь пол был гладок и виден как на ладони. Тогда надзиратель открыл дверь, шагнул в камеру. В ту же секунду пронзительно взвизгнула надзирательница. Мышка шмыгнула прямо ей под ноги в коридор.

— Ш... Ш... Ш... — зашипел старший. Дверь нашей камеры затворилась. Мы слышали, как за дверью старший отчитывал надзирательницу. Возможно, ее вопль спас нас от карцера или от других неприятных последствий.

От сестры я получала раз в месяц коротенькое письмо. Из писем я поняла, что Дима арестован, что Шура получил новый десятилетний срок без права на переписку. Я рада была хоть тому, что Аня цела, жива и здорова.

Забитые женщинами, политическими преступницами, тюрьмы, рассказы М. о забитых до отказа этапных камерах, об аресте поголовно всех ссыльных, статьи Ярославской областной газеты — все говорило о политике террора и репрессий. Но я не понимала ни причин, ни масштаба событий.

Нежданно-негаданно в один из сереньких тюремных дней открылась дверь нашей камеры.

— Кто на «О»? Я ответила.

— Соберитесь к начальнику тюрьмы.

Какого еще сюрприза ждать от начальника тюрьмы? Я вышла из камеры. Вели меня долго. Кабинет начальника — чистая, огромная, светлая, прекрасно обставленная комната: гардины и ковры, диваны и кресла, красный письменный стол... Ведь бывает же такое! Ни щита, ни решеток на окнах...

— Я вызвал вас, чтобы сообщить, что в ближайшие дни вы от нас переводитесь.

— Куда?

— Это вы узнаете позже. Я хотел вам сообщить, что все ваши личные вещи, хранящиеся на складе тюрьмы, пойдут за вами

следом и будут вручены вам на месте. (Это он соврал. Вещей своих мы не получили.)

— Это все? — спросила я.

— Все, можете идти.

Я вернулась в камеру. Я не успела рассказать М. о своем вывозе куда-то, как снова открылась дверь. Теперь вызывали М. Разговор с начальником был тот же. Теперь мы прислушивались к звукам в коридоре. Одна за другой открывались двери камер, заключенных выводили и приводили. Что это? Развоз тюрьмы? Мы были выбиты из колеи и взволнованы. Куда? Зачем? Ждет нас облегчение нашей участи? Хуже, пожалуй, быть не может.

На другой день во внеурочное время открылась дверь камеры.

— Без вещей обе следуйте за мной. Шума не производить, ни слова не говорить.

Молча вышли мы с М. из камеры. Спускаясь по лестнице, я увидела такое непривычное для пустынных коридоров тюрьмы зрелище, что остановилась. Остановилась и идущая со мной М.

Вдоль всего нижнего коридора двумя рядами выстроенные друг к другу в затылок стояли женщины, одетые в арестантскую форму. Молодые и старые, перепуганные, взволнованные. Нас подвели и поставили в строй. И тут же мы увидели, что сверху по лестнице спускаются еще и еще... Подходят к нам, становятся в строй. Вдоль строя взад и вперед шагали надзиратели.

Сколько было пар, я не могла сосчитать. Подходили все новые. И снова команда:

— Ни слова не произносить. Шума не производить. Друг от друга не отставать. Шагом марш!

Змеей поползла вереница женщин по коридору, выползла на тюремный двор, обогнула прогулочные клетки, тюремное здание и сквозь наспех открытые широкие двери вползла в другое здание. Это была баня. Но не та, в которую водили нас обычно. В этой мыли большие этапы.

Между заключенными забегали надзирательницы, раздавая железные кольца. — Раздевайтесь. Одежду надевайте на кольца. Снимите номерок с кольца, получите мочалку, мыло. На мытье дается 10 минут.

И тут все женщины заговорили. Молчание было нарушено.

— Это невозможно. Мы не можем вымыться в десять минут.

Женщины торопливо раздевались, спешно сдавали кольца, получали мыло, спешили захватить таз, место поближе к крану.

Отвыкаяя от людей, я дико озиралась в этой толпе голых женщин. Напряженно вглядывалась в лица, — быть может, я кого-нибудь встречу здесь из своих. Может быть, Тася здесь. Я не мылась, я проходила по бане, спрашивая, нет ли социалистов. От

слов моих женщины шарахались в сторону. И только одна не проявила испуга.

— Я ваша соседка по камере Зина Фраткина. Я несколько раз видела вас в щелку волчка, когда вас выводили на прогулку.

В это же время ко мне подошла маленькая очень худенькая черная женщина.

— Я сижу по делу социал-демократов Армении. Люся Оранджанян.

Все кругом мылись. Мы с Люсей спешили обменяться торопливыми словами. А в двери уже слышались окрики:

— Выходи. Воду закрываем. Нас выстроили парами и снова развели по камерам.

13. ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП — НА КОЛЫМУ

На следующий день утром, сразу после оправки и завтрака, так же, как накануне, со строгим предупреждением, нас вывели из камер, но на этот раз с вещами. Собственно, вещей почти не было. По маленькому узелку: пара чулок, пара носовых платков, шарф, косынка, перчатки...

Так же попарно повели нас из тюрьмы на прогулочный двор, в прогулочные клетки. В каждую завели человек по сорок. Двор был полон надзора. В нашу клетку зашли женщины надзирательницы и стали производить обыск.

День был теплый, даже жаркий. На вышках клеток стояли дежурные. Женщин сгрудили в одну половину клетки и, вызывая по одной, обыскивали и перегоняли в другую половину. Арестантки толпились, присматривались друг к другу, через щель поглядывали в соседнюю клетку, где происходил такой же обыск.

По окончании обыска каждую вызвали поименно: «Фамилия, имя, отчество, статья, срок...» и выпускали из клетки на тюремный двор.

Во дворе стояли крытые черные машины. Много машин. Каждая заполнялась людьми до отказа. В машину втискивали столько женщин, что повернуться, двинуть рукой не было возможности. Мы задыхались, а машина стояла. Тронулись мы, очевидно, когда был погружен весь этап. Машины шли недолго. Когда двери нашей машины открылись, мы увидели целый состав красных товарных вагонов, и нас перегнали в вагон. Он был разделен на две половины. В каждой, встречно друг другу, шел четырехярусный настил из досок. На нижних нарах можно было сидеть, согнувшись, на верхних — только лежать. Молодых загоняли на верхние нары, пожилые размещались на нижних.

Вагон был уже полон, но надзор загонял все новых и новых арестанток. В конце концов, на нарах разместилось по десять человек. Лежали в ряд, плотно, плечо к плечу. Согнуть ноги было невозможно. В середине вагона, против вагонных широко раздвигающихся дверей, было оставлено пустое место. Там, в углу, дыра-параша, закрытая тяжелой деревянной крышкой.

Сколько нас было в вагоне, я не помню. Много было. Очень много. Было невероятно темно, невероятно жарко. Наверное, переносимо, потому что за перегон от Ярославля до Владивостока, тянувшийся ровно месяц, из нашего вагона вынесли на разных остановках только трех полуживых женщин.

Одна из них, маленькая хрупкая пожилая женщина, конечно, не могла выдержать такого этапа. Она страдала астмой. Задышаться она начала с первого же дня. Говорила она мне, что астму приобрела на каторге, которую отбывала по эсеровскому делу. После 1917 года стала коммунисткой, попала в Ярославль и в наш этап. В нем ее жизненный путь и оборвался.

Другие две были еще совсем молоденькие. Ярославль подорвал их здоровье. На этапе после недели пути они не смогли больше принимать пищу, ту пищу, которую нам давали.

На этапе я, наконец, вошла в прямое соприкосновение с массой женщин, которые заполняли Ярославскую тюрьму особого назначения. Никого из социалистов, кроме Люси, я не встретила. О ней я узнала, что в 1936 году она была арестована в ссылке. Люсю привезли в Ярославль. Как и я, она мечтала встретить своих товарищей. С Люсей мы сразу заговорили на одном языке. Но остальные? С любопытством и интересом приглядывалась я к ним. По их статьям я знала, что передо мной всё политические преступники. Все они, за редким исключением, были осуждены на десять лет тюремного заключения по статьям 5810–5811 и 588 — террор и соучастие.

Я смотрела и не верила своим глазам и своим ушам: разношерстная, разнообразная, ни по какому признаку, кроме арестантской одежды, не объединенная масса. Одни из них были чрезвычайно возбуждены, другие молчаливы и податливы. Одни верили, что теперь выяснена их невиновность и их везут в ссылку, другие полагали, что массовый вывоз всей тюрьмы не может быть признаком пересмотра дел и вывоз можно объяснить лишь переброской в другую тюрьму или лагерь. Проведшие годы в замкнутых камерах, — кто по двое, кто по одиночке, — женщины не замолкали. Каждая стремилась рассказать свое дело, свое следствие, свой незаслуженный приговор. Самым страшным для них было, что все они сидели за несовершенные ими преступления. Меня поражало, что им было понятно то, о чем они говорили. Никогда не слышала я раньше об избиениях во время следствия, о пытках. Обрушилось на меня и то, что все они, или почти все, подписали протоколы с вымышленными показаниями против себя и других. Я слушала разговоры их между собой. Кое-что рассказывали мне соседки по нарам.

Привлекли мое особое внимание две совсем юные девушки — Тамара и Нина. Подружились они в Ярославле, а теперь старались быть вместе. Они забрались в верхние нары вагона, и смотрели на нас вниз. Лица их были по-тюремному серыми и отеками, но глаза сверкали живо и молодо. Они были счастливы, что вырвались из Ярославской одиночки, заинтересованы творящимся

вокруг, верили в лучшее будущее. Срок у них был большой, — десять лет тюремного заключения. Но они и мысли не допускали, что просидят все десять лет. «Мы изучаем жизнь», — говорили они. Рядом с ними не то узбечка, не то таджичка — нацменка, как говорили женщины. «Оппозиционерки»

— Вы не узнаете? Ее фотография была напечатана во всех газетах. Она подносила букет Сталину, и он обнял ее. Она первая, снявшая паранджу, первая, вступившая в комсомол. Она простояла двадцать четыре часа на допросах в жарко натопленной комнате в шубе. Семь ночей ей не давали спать. Она такая убежденная. До сих пор она считает, что все мы — враги, и только с ней произошла какая-то ошибка.

На нижних нарах против меня — женщина огромного роста. Крупная, широкоплечая. Лицо у нее опухшее, дряблое, щеки свисают мешками. О ней мне рассказывает моя соседка.

— Я с ней встретилась в камере для беременных. До 1937 года она была начальницей лагеря. Говорят, зверь была. После разоблачения Ягоды ее тоже арестовали. На следствии она оговорила всех — думала, ей лучше станет. Пришла она в камеру до допросов еще важная, толстая, в три обхвата. Все мы

— враги, убить нас надо. А как стали ее на допросах таскать и бить, — от нее ничего не осталось. Били ногами, топтали, произошел, конечно, выкидыш, тут же, в камере. А через сутки опять на допрос.

— Где же ваш ребенок? — спрашиваю я.

— Восемь месяцев пробыла я с ним в лагере для мамок. Потом отняли, а меня на этап. Прямо из рук моих вырвали. Трое у меня. Старшие после ареста хоть вместе остались, а этот... и не разыщешь потом. А какой карапуз крепкий, — она заплакала.

— За что вас взяли? — спрашиваю я, чтобы отвлечь ее.

— Мой отец и брат были оба оппозиционеры. Отец

— большевик еще с царских времен. Его взяли, потом арестовали брата. Я им всё передачи носила. Раньше я была комсомолкой, а когда отца арестовали, меня из комсомола исключили, а мужа — из партии. А в 1937-ом взяли и мужа, и меня; мой отец чудесный, честный человек, а от меня требовали на следствии, чтобы я его оклеветала. Двое старшеньких моих в детском доме. Воспитательница мне о них в тюрьму сообщала, а маленький где-то в яслях при лагере остался...

Наш разговор о детях слышали другие арестантки. Услышала его и Зинаида Тулуб, невысокая пожилая женщина с изумительными горящими глазами. Тулуб не вмешалась в наш разговор, она просто заговорила вслух. Может быть, сама с собой, может быть, обращаясь ко всем. — И все-таки я — самая

несчастливая. Я ни в чем не виновата перед нашей родной коммунистической партией. Я не принадлежала к партии, но я остаюсь верна ей. Я — преданный партии советский писатель. Я работала над своей книгой, над большим историческим романом «Людоловы». Десять лет я жила, погруженная в ту эпоху, в свою работу. Моя книга одобрена, она принята к печати. Пусть это так надо, я буду сидеть в тюрьме. Я не ропщу. Я одинока, у других остались дети, я знаю это. Им тяжело, но о детях партия наша позаботится. Их возьмут в детские дома, их воспитают. А у меня, у меня в квартире, из которой меня увели осталось двенадцать кошек, кто о них позаботится. Кто их накормит?

Ответом ей были гневные крики:

— Кошки! Она смеет говорить о кошках! С кем-то из женщин началась истерика. Матери очень остро переживали разлуку с детьми. У большинства дети были еще малые. Писательница сжалась, поникла, непонятая никем. Позже она обратилась ко мне с вопросом.

— Я слышала вы не коммунистка. А кто же вы?

— Я — эсерка.

— Эсерка? Об эсерах я знаю, но ведь это было так давно... А сейчас?

— Я не отказываюсь от партии. Как я думала раньше, так я думаю сейчас.

— Боже мой, — воскликнула она восторженно. — Так вы же ихтиозавр! Не обижайтесь, пожалуйста. Я ничего плохого не думаю о вас. Мне просто удивительно встретиться с ископаемым. С ихтиозавром. Мне очень хотелось бы побеседовать с вами, но не сейчас. После ареста у меня что-то как оборвалось внутри. Неужели и вы не поймете, что я непрерывно думаю о моих маленьких зверьках. Ведь они погибли, а какое им дело до политики.

Я молчала. Тулуб не производила на меня впечатление ненормальной. Она очень охотно, очень здраво говорила о своей литературной работе, о своих занятиях над архивными материалами. Она прекрасно знала историю Украины. Еще... она говорила о кошках. О политике, о следствии, о тюрьме она не говорила. Нюра-Нэлля

Со мной рядом на нарах лежала молодая простая приятная женщина лет тридцати двух. Открытое доброе деревенское русское лицо. Говор ее тоже был народный. Нюра мне сказала, что она малограмотная и в деле своем никак не разбирается. Срок ей положили — десять лет заключения и пять поражения в правах. Статья КРТД — 588 через 17. Буквы изумляли меня. В приговоре почти у каждой арестантки указывались буквы. Я не

сразу сумела расшифровать их. КРД, КРТД, ПШ... и еще, и еще...

У Нюры детей на воле не осталось. Остался у нее любимый. Меня очень удивило его имя «Вольдемар». Больше всего она говорила о нем. О том, как она счастлива, что он не арестован, уцелел. Нюра говорила, что на следствии его имени не называли, и она не называла, хотя из-за этого ей пришлось промолчать о том, где и с кем проводила вечера. Нюра безотчетно радовалась вывозу из тюрьмы. Она не надеялась на освобождение. Она мечтала о лагере.

— В тюрьме я зачахла совсем. Все о смерти думала. Камера — что второй гроб! Если б я читать могла. Я ведь только свою фамилию подпишу, а больше нет. Если в лагерь везут, там работа будет, время скорей пройдет. Вот бы мне по моей специальности работы получить.

— А какая у вас специальность?

— Четыре года я на кухне работала. Уже помощником повара стала. Подмосковные вы? Не обессудьте, я вам свою всю жизнь расскажу. В камере передумала. Ходишь и думаешь. Ходишь и думаешь... Жила я в селе, школу четырехлетку кончила. Деревню всю нашу в колхоз перевели — мне еще шестнадцати не было. Я больная была: хотела — работала, хотела — нет, не закрепленная еще. Мечтала учиться... И встретился мне тут Вольдемар. Шофером работал, мимо нашего сада ездил. Недалеко от нас дом отдыха был для высших московских начальников. Вольдемар начальников туда на отдых возил. Он меня и сманил туда на кухню работать посудомойкой. У него там знакомые были... Если бы вы моего Вольдемара видели. Такой парень. Не курит, не пьет, и красивый, и умный. Наверно, за то его и взяли вождей возить. Я там всех в доме повидала. И Калинина видела. Они больше обыденно приезжали, реже на день, на два. А уж отдых у них был — прямо царский. Из еды все, чего душа ни пожелает. Поработала я там года три, меня за работу отличили, повышать стали. Все сулили на курсы поваров послать. И с Вольдемаром мы хорошо жили. Хотели уж зарегистрироваться. В камере я все о нем думала. Пока в Москве была, он мне в тюрьму передачи носил. Говорил — дождусь. А где дожждаться. Как мне сказали — десять лет, сразу поняла — не дождется. Взяли нас с кухни сразу всех. — За что же вас всех взяли?

— Об этом я думать не хочу. Террористка я, вот я кто. Отравить мы кого-то хотели. Убийцы мы. Слыхано ли дело — с убийцей я работала, убийце помогала. Я на последнем свидании говорю Вольдемару: «Отрекись. И живи, хоть я не виновата».

— Почему вы его так, на французский лад, зовете?

— Очень ему так нравилось. Он меня Нэллей звал. Мы,

говорит, теперь хозяева страны, пусть и имена у нас благородными будут.

С Нюрой у меня установились хорошие приятельские отношения. Простая и милая женщина, она истосковалась в тюрьме. Она отзывалась на горе каждого, и была счастлива, если ей удавалось поговорить о Вольдемаре. Делом своим она вовсе не интересовалась. Она не подписала протокол допроса, сфабрикованный следственными органами.

— Как бы я Вольдемару в глаза глянула, если бы сама на себя такое написала? Зеленый лук На одной из остановок дверь вагона открылась. Конвоир с порога объявил:

— Можем купить для вагона зеленого луку. Составьте список, у кого есть деньги на лицевом счету, и укажите, на какую сумму купить луку.

В вагоне оживились. Составить список поручили мне как опытному тюремному сидельцу. Лук выписывали все, у кого были деньги, — кто на двугривенный, кто на полтинник. Я составила список, подсчитала, сдала дежурному по вагону. Нам принесли большую кипу зеленого луку.

— Вы список составляли, вы и делите, — сказали мне женщины.

Я разделила весь лук на равные кучки по числу нар с тем, чтобы каждая нара разделила между лежащими на ней людьми.

Когда я разнесла кучки по нарам, — сперва шепотом, потом все громче, — поднялся ропот. Оказывается, я разделила неправильно. Надо было делить не на равные кучки, а пропорционально собранным деньгам. Почему выделен лук тем, кто не вносил денег? То есть тем, у кого их не было.

— Я не на волю еду, я деньги беречь должна...

— Я не могу кормить нищих...

— Это наши последние крохи, мы не можем угощать...

Сперва я не поняла. Потом растерялась. Всего, кажется, я могла ждать от заключенных со мной каких ни каких, а все-таки коммунисток, но этого!.. Кажется, на глазах у меня даже выступили слезы.

Я тоже была измотана тюрьмой, как остальные. Я злилась, что из-за этого паршивого лука плачу. Только чтобы справиться со слезами, я стала гневно говорить о том, как раньше жили в тюрьмах социалисты: как делились каждой крошкой, как не считались с тем, чьи деньги, и учитывали больных и ослабевших. Не помню всего, что я наговорила, но вагон как-то затих. Луковый вопрос не решался и не обсуждался. Но я заметила, что большинство осталось мною недовольно. Многие, кто раньше прочил меня в старосты вагона, стали теперь сторониться. Но кое-

кто выразил мне сочувствие. Среди них была Тоня. «Враг народа» Тоня Букина

Тоня Букина была моей ровесницей. Революция 1917 года застала ее работницей одной из фабрик Ленинграда. Заработок ее был ничтожно мал. 23 февраля вместе с другими работницами вышла она на демонстрацию. Революционная волна захватила и перевернула всю ее жизнь. Тоня вся отдалась общественной работе, вступила в партию большевиков. Работала и училась. Ее, как активистку, послали на курсы повышения квалификации. Потом она стала работать женорганизатором. Она полюбила своего партийного товарища, но ей некогда было налаживать свою семейную жизнь, воспитывать сына. Всю жизнь она моталась по партийным командировкам. 1937 год застал ее на партийной работе в Донецкой области. Я спрашивала Тоню о судебных процессах, ведь пережила она их еще на воле. Тоня сказала:

— Я могу сказать только, как я пережила их, В 1936 году был первый процесс. Тогда я ненавидела врагов народа, партии, изменивших Родине и революции, продавшихся капиталистам. Я безгранично верила ЦК и органам государственной безопасности. Аресты все новых и новых людей страшили и радовали. Мы выявляли врагов. Но когда арестовали работников нашего обкома, наших прямых руководителей, мы растерялись. Как это могло случиться, что ни я, ни мои товарищи не почувствовали, не заметили предательства в руководстве... Я вместе со всеми требовала смертной казни. Я шла к женщинам-работницам и разъясняла им настоятельную необходимость беспощадной борьбы. Не успели мы опомниться, как арестовали руководящих работников нашего райкома. Это были люди, с которыми я работала рядом. Среди них были мои близкие друзья. С ними я прошла много дорог революции. С ними я пережила первые процессы. Мне казалось, я теряю рассудок. Все оказались предателями... Я не знала, кому и чему верить, если эти люди предали. Я металась, я не жила. Я бы, наверное, сошла с ума, но, к счастью, меня арестовали. Сперва при аресте я подумала, что меня оклеветали предатели, и не сомневалась, что следствие выяснит мою невиновность.

На первом же допросе следователь не стал ни в чем разбираться. Его ничто не интересовало. Он предложил мне подписать показания, в которых не было ни слова правды. Он требовал от меня клеветы, лжи. Я не хочу говорить, как велся допрос. Он велся, как у других. Но случилось так, что весь этот кошмар спас меня. Спас, потому что я поняла, что мои друзья не были предателями. Ведь о себе-то я знала точно, знала твердо. Ведь я-то в своей работе руководствовалась директивами ЦК.

— Вы подписали показания? — спросила я.

— Нет, — она отрицательно покачала головой.

— А вас били?

— Об этом я не хочу говорить. Я не понимаю, что случилось, как случилось, что могли означать все эти ужасы. И, что ужасней того, что я пережила?! Следователь сказал мне, что я коммунистка, и партия требует от меня подписи. Я не подписала. Мой сын, мои родные, друзья считают меня врагом народа. Ведь я до ареста сама так думала о других. «Крупный рогатый скот»

Вагон шел медленно. Вечером надзор проводил поверку. Стуком деревянного молотка в дверь вагона он предупреждал нас о ней. Тогда нас загоняли всех в одну половину вагона и, пересчитывая поштучно, с руганью, грубо перегоняли в другую.

Никто не говорил нам, куда нас везут. Но мы знали, что поезд движется на восток. Раз в день нам давали отвратительную похлебку. В вагон втискивали бак с тепловатой, напоминающей помой жижей. И выдавали по триста граммов хлеба. Раз в день нам приносили бачок с водой. На каждую заключенную приходилось по пол-литра... Хочешь — умывайся, хочешь — пей. Чтобы скоротать время, женщины затеяли чтение наизусть стихов и поэм. Удивительной чтицей оказалась Женя Гинзбург. Молодая красивая брюнетка, — кажется, сотрудник Казанского университета, — она обладала изумительной памятью. От слова до слова с большим мастерством читала она нам всего «Евгения Онегина», всю «Полтаву», всего «Медного всадника», всё «Горе от ума». Ее чтение подслушал надзор. Войдя в вагон, он потребовал выдачи книг. Уверениям, что книг нет, он не поверил. Дико ругаясь, обшарил весь вагон, но книги, конечно, не нашел.

Большинство женщин нашего вагона были коммунистки, взятые с руководящих постов. Ни одна не признавала себя виновной, но и ни одна не возмущалась, не протестовала. Все они, моля, просили и ходатайствовали о пересмотре своего дела. Они знали про себя и не верили другим.

Поезд наш двигался очень медленно. Часто останавливался на станциях и полустанках. Пока поезд шел, мы могли говорить друг с другом. На остановках надзор требовал абсолютной тишины. Малейшее громко сказанное слово вызывало не окрик, а стук молотком в стену.

Недели через две пути, на одной из остановок, — кажется, это был Новосибирск, — нам велели выйти из вагона и построиться по пять человек в ряд. Собачий лай морозом пробегал по коже. Каждую держал на поводке надзиратель.

— Смотрите, смотрите, — сказала мне соседка, глазами указывая на вагоны.

Мелом, размашисто на стенках товарных вагонов было написано: **КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ.**

Такая надпись на нашем вагоне, такая же на следующем... Состав был большой. Неужели во всех вагонах — арестанты?

Так вот почему надзор не окликал нас, а бил молотком в стены! Вот почему нам запрещалось вести разговоры на остановках, приближаться к маленьким отверстиям под крышей вагона, заменявшим окна. Всё продумано, всё взвешено. Везут на север состав за составом — крупный рогатый скот.

На меня эта надпись не произвела впечатления, но мои соседки были подавлены.

Когда мы построились, раздалась новая команда:

— Три шага вперед. Стоять молча, не оглядываться.

Оглядываясь или не оглядываясь, но мы видели, что открылись двери соседнего вагона. Из него вышли женщины в арестантской одежде. Потом открылись двери третьего вагона. Снова женщины.

Когда все три вагона построились, началась поименная переключка. К переключке мы, конечно, прислушивались. Всё как и в нашем вагоне. Те же сроки, те же статьи. И вдруг я услышала — Лобыцына Надежда Александровна. Срок десять лет, ст. 58-8 через 17.

Много хлопот надзору с женщинами. Как бы они ни боялись, как бы ни дрожали от страха перед конвоем — со штыками наперевес, собаками, окриками — заставить их держать строй почти невозможно. Через каждые 10–15 шагов строй ломался. Конвой ежеминутно останавливал колонну, ежеминутно повторял: «Шаг влево, шаг вправо рассматривается как попытка к бегству. Стреляем без предупреждения». Жены своих мужей

Женщины жались друг к другу, как испуганные овцы, а строй ломался. В общей сумятице, толкотне я отставала и отставала, но сколько ни оглядывалась, я не могла разглядеть, узнать в колонне второго вагона Надю.

С многочисленными остановками, под крики надзора и лай собак дошли мы до какого-то высокого забора. С переключкой запустили нас через широкий двор в огромное пустое помещение. Вторая переключка, и опять переход. Нас завели в огромную баню. В помещении ко мне сразу протянулись сквозь толпу три женщины.

— Вы не узнаете меня, а я вас сразу узнала, — сказала одна.

Я вглядывалась. Что-то знакомое было в стоящей передо мной изнуренной, истощенной женщине. Пышная рыжеватость волос, глаза... Нади... Неузнаваемая, но все-таки Надя. Галю Затмилову, жену левого эсера Павлова, я не знала. Не знала я и

Лену, жену эсера Новикова. Все три были беспартийными, жены своих мужей, не больше.

И сразу же, тут же в предбаннике, они спешно рассказывали мне об уфимском процессе. Вся уфимская ссылка, где жили они с мужьями, была арестована. Был создан вымышленный процесс. О мужчинах они ничего не знали. Их, женщин, допрашивали, — вернее, их принуждали давать ложные показания. Их вызывали по одной в зал суда, где заседала тройка, и зачитывали приговор. Десять лет тюрьмы и пять поражения в правах. Все трое они говорили одновременно. Хотели что-то сообщить, о чем-то спросить...

Галя Затмилова была раньше комсомолкой. В Уфе она познакомилась со своим будущим мужем, левым эсером, и от комсомола отошла. Настроена она была очень лево, и очень взвинчена и возбуждена, и понять из ее рассказа я ничего не могла. Они что-то говорили мне об Ирине Константиновне Коховской, арестованной по тому же уфимскому делу, о Марии Спиридоновой.

Лена Новикова, маленькая, худенькая, вся сморщенная от истощения и болезни, тихонько стояла рядом и тяжело дышала. Ее муж был арестован за несколько дней до нее. Дома осталась малолетняя дочка.

Конечно, ни Надя, ни Лена, ни Галя не подписали ложных показаний. Они точно знали от мужей, что никакой подпольной работы в уфимской ссылке не велось. Все они испытали в тюрьме приемы следствия тех лет. Если так обращались с беспартийными женщинами, то что должны были пережить их мужья...

Женщины очень обрадовались встрече со мной. Их тяготила окружающая среда коммунистов, оправдывавших все происходящее, где каждая утверждала свою невиновность, непричастность к совершаемым кем-то злодеяниям.

В сумятице, в толчее предбанника под окрики надзора: «Раздевайся. Вещи сдавай», я ничего не могла ни понять, ни осмыслить.

В присутствии мужского надзора женщины разделись, нанизали свои одежды на круглые металлические кольца и сдали их для прожарки. Банная обслуга выделила каждой женщине крохотный кусочек мыла. Надзиратели, выбритые, вымуштрованные, одетые тщательно в военную форму, выстроили голых женщин в шеренгу и приказали им идти вперед по одной. В дверях стоял конвоир. Указывая пальцем, он считал каждую: «раз, два, три...». За дверями шел коридор. Вдоль всего коридора шеренгой стояли надзиратели. Мимо них вереницей шли женщины. Будто нарочно, на стене висело огромное зеркало. В

нем отражалась вся картина: строй надзора и вереница голых женщин.

Женщины потуплялись, сжимались от унижения. Но кто же был унижен? Голые арестантки или охраняющий их надзор?

И все же огромное большинство арестанток дрожало с головы до ног, глаза их были полны слез:

— Мы больше не люди, мы хуже скота.

Я же смотрела на телохранителей наших и думала, — люди ли они? и пославшие их?

Баня изумительная, роскошная. Она была разделена перегородками на массу маленьких кабин. В каждой кабине душ, таз, в двери вмонтировано зеркало. Как хороша вода после двухнедельного пребывания в душном и тесном вонючем вагоне. Намылиться и стать под душ. Это ли не блаженство?

Но внезапно поступление воды прекратилось. Пять минут, положенные на мытье, истекли. Мылом вспенены волосы, в мыле все тело. Кого это интересует? Дана команда. Вода перекрыта. Одевайся и выходи.

Мы стирали полотенцами мыло. Волосы слипались, клейкие от грязи. В раздевалке мы получили свое же грязное белье. Оно было еще теплым от прожарки. Чье-то кольцо с одеждой затерялось, чье-то свалилось на пол в лужу. По нему прошли чьи-то ноги... Окрики, ругань, угрозы...

И снова строй. Снова мы загнаны в вагон. Я снова лежу на нарах, вытянувшись в струну, сжатая между соседями. Мысли... Разгадать бы загадку. Надя, Галя, Лена... Тяжкие преступницы. Что с мужчинами, если так гонят их ни в чем не повинных жен? Мне страшно жить среди этих людей

В вагоне начинаются заболевания. В основном, на почве истощения. Женя Гинзбург декламирует «Мцыри», Маруся И. читает Маяковского. На остановках мы замолкаем. Но на ходу поезда, чтобы подбодрить себя, заключенные составляют хор. Кто-то предлагает спеть «Интернационал». Возмущенные реплики: «Как можно? Мы заключенные, мы не имеем права». И вдруг кто-то запекает «Широка страна моя родная...» Я вздрагиваю, приподнимаюсь на нарах. Что это? Фарс или издевательство? А хор подхватывает и по всему арестантскому вагону звучат слова: «Где так вольно дышит человек». Я ничего не понимаю. Я смотрю на поющих женщин. Только что их голых прогнали сквозь строй мужского надзора. Запертых в арестантском вагоне, их везут, как крупный рогатый скот... «Широка страна моя родная...» Где же предел человеческой подлости или глупости? Наверное, я-таки ихтиозавр. Или еще какое-нибудь доисторическое животное.

С противоположной полки смотрит на меня Р. У нее умное

лицо, острые насмешливые глаза. Она шепчет Зине: «Все это было бы так грустно, когда бы не было смешно».

Неожиданно на верхних нарах начинается истерика. Я ненавижу истерики, но на этот раз, по крайней мере, хор смолкает.

Кто же окружает меня? Кто эти несчастные женщины? Лучшие ли это люди партии? Или отбросы, балласт? За что и почему? Кому понадобилась такая их участь?

Скоро месяц, как мы на этапе. Всех нас шатает, — кружится голова. Раз начавшиеся, месячные кровотечения у женщин не останавливаются. Нет воды, нет смены белья. Нет даже просто лишней тряпочки. Рубашки, бюстгальтеры — все разрывается на бинты.

Чем дальше мы едем на восток, тем упорней идет разговор о Колыме. О ней слышали на воле, о ней рассказывали ужасы. Мне не страшны ужасы Колымы. Мне страшно жить среди этих людей. Владивосток. Пересыльный лагерь

Поезд прибыл во Владивосток. Какое счастье вырваться из вагона. Воздух, небо, деревья, трава зеленая... Нас всех шатает. С трудом, поддерживая друг друга, идем мы к женской пересыльной зоне лагеря. Вокруг все необычно, — сопки, деревья, море. Я вспоминаю японские и китайские рисунки, виденные на шкатулках, на открытках, в книгах. Раньше они казались мне декадентством, теперь мне кажется, я начинаю понимать восточную живопись. Какая красота, воздушность, прозрачность! Сил нет, а хочется идти дальше. Но впереди опять тюрьма, опять решетка.

Мы идем теперь уже не по-вагонно. В нашей пятерке Надя, Галя, Лена, Люся и я. Мы четверо еще держимся. Но Лена еле передвигает ноги. Мы ведем ее под руки. У Лены — порок сердца.

Я ошиблась. Нас ждала не тюрьма, а нечто худшее: высокий деревянный забор; вышки караульных; вокруг колючая проволока.

Женская зона состояла из нескольких длинных, сколоченных из досок, бараков. В бараках — сплошные нары в два яруса. Зона была почти пуста. Недавно отошел пароход на Колыму, с ним были вывезены все заключенные. Со следующим пароходом отправят на Колыму нас. Пароход идет обычно раз в две, в три недели. В бараке мы застали нескольких женщин. Две из них прибыли с последним пароходом с Колымы. Их рассказы нас очень интересовали, но мы смертельно устали. Мы не легли, мы свалились на нары. Мы еле поднялись по звону колокола на ужин. В зону въехала походная кухня, — огромный котел с тюремной баландой. С мис

14. НА КОЛЫМЕ

Мне трудно, почти невозможно было понять психологию арестанток моего этапа. Правоверные коммунистки, оправдывающие все сущее, кроме своего ареста, конечно, очень тяжело реагировали на происходящее с ними. Может быть, только на словах они не осуждали происходящего, не выражали протеста. Лучшие из лучших твердили о том, что там в центре не знают о происходящем на местах, о методах следствия, о произволах на этапе. Они ощущали болезненно, остро свой позор, стыдились самих себя. Я не понимала, как можно стыдиться ложного обвинения, а не возмущаться им, просить о пересмотре своего дела, а не требовать его. Ведь передо мной не обыватели, передо мной борцы за счастье народа, борцы за справедливость, члены самой передовой, самой непреклонной партии мира.

Я не понимала женщин моего этапа.

Нас привели в баню. Блаженство — сбросить с себя потное и грязное белье. В одну кучу приказали нам сложить все наше арестантское белье и обувь. Каждой из нас дали по кусочку мыла со спичечную коробку и запустили в баню. Баня была просторная, с деревянными лавками, чанами и шайками. Никто нас не торопил. Воды мы брали — сколько хотели. Банщицы были ласковы и приветливы. Не сразу мы поняли, что банщицы — это мы сами, эки, отбывающие сроки в лагерях. Только крепче, здоровее нас были они. Они не получили тюрем, они по приговору получили лагеря и сразу проследовали этапом на Колыму. Все прелести этапа они пережили, но вошли в него не изнуренные тюрьмой, сразу же после двух-трех месяцев следствия. Следствие и у них было тяжелое, но они успели уже оправиться от пережитого.

В бане было хорошо, в раздевалке сразу стало плохо. В тюрьмах мы не подвергались санобработке. Санобработка стала первой «прелестью» лагерной жизни. Вымывшихся женщин осматривали на вшивость. Женщинам сбрасывали волосы на всех частях тела. Вшивости в нашем этапе не было. Косы свои женщины нашего этапа отстояли. Кажется, в первый раз я услышала вопли протеста. Женщины остаются женщинами. Отчаяние их перешло в бурную радость, когда они стали получать одежду. Каждая получала комплект. Трусы, бюстгальтер, рубашка, платье, пара чулок и обувь. Первого сорта были все эти вещи. А платья были нетюремного образца — разноцветные: красные, синие, зеленые, — в клеточку, в полоску, в цветочках... Выстроившись в очередь за комплектами, женщины загляделись

на платья. Они высматривали, высчитывали в груди комплектов, какой достанется. Одни мечтали о синих, другие — о красных. По получении комплектов, сразу же начался обмен. В одевалке шла примерка платьев, строили планы на перешивку.

Не выдали нам резинок. Нужно укрепить чулки, но как? Ведь мы были голы, у нас не было ни одной тряпочки, ни одной завязочки. Обувь принесла горе. Нам выдали огромные тяжелые бутсы, всем — одного размера. Шнурков в них также не было. При каждом шаге опускались чулки и хлопали на ногах бутсы. Приветливые банщицы успокаивали нас в лагере все обойдется. Женская зона Магаданского лагпункта

Строем в пять человек в ряду стояли мы теперь перед воротами женской зоны Магаданского лагпункта. Деревянный частокол, в несколько рядов колючая проволока, по углам — вышки с постовыми. Большие деревянные ворота, у ворот — вахта. Через открытые ворота мы видели большой двор, во дворе в отдалении толпились женщины-заключенные, глазели на нас. По обе стороны двора, как по улице, стояли невысокие деревянные бараки.

Из калитки ворот вышло лагерное начальство. Опять равнение строя, опять поименная переключка: имя, отчество, фамилия, год рождения, место рождения, национальность, статья, срок — проходи в зону.

По одной отделялись мы от строя и проходили в ворота лагеря, и каждой из нас вахтер бросал:

— Проходи в самый последний барак.

По одной проходили мы и к барaku. Лагерницы сочувственно смотрели на нас, но не подходили, не заговаривали. Бог знает, какими путями узнали они о прибытии тюрзаковского этапа. Для нас освободили целый барак, — самый плохой барак в зоне. Тюрзачек пошлют на самые тяжелые подконвойные работы. У тюрзачек грозные статьи и длинные сроки заключения.

С нашим этапом прибыло распоряжение: в связи с ослабленностью эков в течение 21-го дня за зону на работу не выводить, кормить — вне нормы питания.

Лагерницы всматриваются в наши лица, прислушиваются к называемым фамилиям. Может быть, прибыла с этапом знакомая, может быть, прибыл кто из родного города. Вероятно, вид у нас и правда измученный. У многих лагерниц на глазах блеснут слезы. Себя мы не видели, к лицам своих соэтапниц привыкли, мы не замечали ничего особенного.

Лагерницы объяснили нам потом свои слезы.

— Нам казалось, что входят мертвецы, кости, обтянутые кожей. Нет молодых, одни старухи.

Старый барак. Почерневшие от времени доски. Низкий, черный от копоти и времени потолок. Маленькие оконца плохо пропускают свет. Во всю длину барака, по обе стороны его, — столбы. К ним прибиты сплошные нары в два яруса. Посредине барака — железная бочка-печь и длинный стол.

Вызванные по списку, мы получили по одеялу, по наволочке, по полотенцу, по простыне. В глубине зоны у стога набили матрасовки и наволочки. Я все время думала об одном — где-то на Колыме находится Надя. И вдруг слышу звонкие голоса: «Кто из вас Олицкая? Где Олицкая?»

Спрашивают две молодые, оживленные женщины. Я поднимаюсь с нар. Они идут ко мне. Может быть, одна из них Надя? Тогда которая?

— Вы — родственница Надежды Витальевны, вы — Катя? — приветствуют они меня.

Эти женщины сдружились с Надей на этапе. Они сообщают мне, что Надю месяца два назад вывезли в глубину, в совхоз «Эльген». Они рассказывают мне, что во Владивостоке Наде сообщили, что ее муж прошел этапом на Колыму. Через забор мужской зоны ей бросили камень с привязанной к нему запиской. Больше ничего узнать ей не удалось.

— Я могу написать Наде?

— Да-да, конечно, — отвечают девушки. — Мы научим вас, как послать письмо, чтобы дошло скорей. А сейчас мы забираем вас к себе в барак. Мы даем ужин в честь вашего приезда.

Я колеблюсь, я говорю, что я не одна, что со мной подруги, я не хочу и не могу оставить их одних в первые часы.

— Сколько вас? — спрашивают девушки. Они забирают нас четверых. Девушки отличались от нас так же, как отличался их барак от нашего. Барак их был с вагонной системой нар. Все нары были застланы стандартными суконными одеялами. Стол был покрыт белой простыней, всюду разложены белые вышитые салфеточки. Обе подруги одеты в черные юбки и белые размеренные блузочки. Жили они рядом на верхних нарах. Посреди нар была расстелена салфетка, на ней расставлено угощение. Хлеб, нарезанный ломтиками, кетовая икра, консервированные крабы, искусственный мед и сливочное масло, — что было куплено в лагерном ларьке, что получено в посылках из дома.

Зора Г. пришла в лагерь по делу анархистов сроком на пять лет. Ее товарка получила такой же срок, кажется, по делу троцкистов. В лагере они уже были около года, работали на посыльных работах, вырабатывали хорошую категорию питания. В общем, как-то приспособились к лагерной жизни. Обе они хотели

подбодрить нас. Они старались говорить об отрадных сторонах лагерной жизни, умалчивая о мрачной стороне ее. Это им не очень удавалось, мало радостного было вокруг. И все же они твердили — самое страшное позади.

— Вы счастливые, попали сюда по окончании «гаранинщины». 1938 год на Колыме был страшным годом.

* * *

Наш тюрзаковский этап действительно состоял из измученных, истощенных физически, ослабленных женщин. Даже начальство дало предписание кормить нас вне категории и не выпускать на работы три недели.

Мы жили в бараке. Ходить по другим баракам не разрешалось. И хотя правило это не соблюдалось, мы почти не ходили. Обещание начальника Ярославской тюрьмы не было выполнено, личных вещей мы не получили. Кроме лагерной одежды, у нас другой не было. Деньги у многих на лицевом счету были, и не малые, но по лагерным правилам заключенная могла получить в месяц 50 рублей. Первое время этой суммы не выдавали. У большинства же денег на счету не было. Из барака мы ходили в лагерную столовую завтракать, обедать и ужинать. Большое чистое помещение уставлено маленькими столиками, у входа в столовую каждая заключенная получала ложку, которую должна была сдать при выходе. В бараке иметь ложки не разрешалось.

Питание выдавалось по категориям от выработки. Категорий было три. Пол-литра супа получала каждая заключенная три раза в день. По третьей категории (для эков, не выполнивших норму на 80 %) кроме супа, выдавалось 300 грамм хлеба в сутки; по второй категории (зэки, выработавшие норму свыше 80 %) давали дополнительную кашу и 800 грамм хлеба; по первой категории (выработка 100 %) заключенные получали на обед и ужин ту же кашу, что и по второй, и добавочную порцию макарон или вермишели, или манной каши в обед. Зэки, перевыполнявшие норму, получали первую категорию и булочку или хворост, или какое-либо иное «премблюда».

Свежего мяса, свежих овощей, картофеля мы не получали. Чаще всего в меню входила соленая рыба. Кета вареная, кета соленая, горбуша казались нам изумительно вкусными. Старые лагерницы рыбу не брали, не ели — она им опротивела. Они, обычно, уступали ее нам. Мы поглощали все. В общем, мы сразу стали сыты, вернее, не голодали.

Поразило меня в жизни заключенных то, чего я никогда не встречала в пройденных мною раньше тюрьмах. В среде лагерниц, осужденных по политическим статьям, была развита торговля, как своими вещами, так и тюремным пайком. Когда-то арестанты-социалисты делились всем, ущемляя здоровых, поддерживая больных, осуществляли в тюрьме коммуны. Здесь было не так. Имевшие деньги покупали у неимущих все, что те могли продать. Продавались тюремные пайки сахара и хлеба, казенные вещи — чулки, простыни, платочки. Каждая лагерница жила сама по себе, жевала свою корочку хлеба с маслом или без масла, и не интересовалась, жует ли что-нибудь ее соседка. Удивительнее всего было для меня то, что уголовные — воровки и проститутки — были щедрее эзков политических.

С торговлей мы столкнулись сразу по прибытии в лагерь. Прибыв на место, каждая заключенная стремилась прежде всего послать весть родным. Нам было разрешено послать письма и даже телеграммы. Те, у кого были деньги, слали, те, у кого денег не было, продавали, что могли, чтобы получить денег на марку. У нас пятерых не было ни денег, ни вещей. Продавать пайку хлеба своим же товаркам-заключенным было противно... Но... «с волками жить — по волчьи выть». От всех моих вещей у меня остались шерстяной вязаный шарфик и шерстяные перчатки. Галя взялась их продать, и мы смогли послать письма родным. Написала я письмо и Тасиной маме в Ленинград. Я быстро получила от нее ответ. О Тасе никаких вестей мать не имела. Каким милым было ее письмо. Попова предлагала мне помощь, спрашивала, можно ли послать посылку. Я не ответила ей, не хотела компрометировать ее перепиской со мной. Первое время в нашем бараке было больше продающих, чем покупающих. Женщины из Суздальской и Казанской тюрем сохранили свои личные вещи, они продавали их.

Я недоумевала: как могли лагерницы продавать свой паек, обходиться без него?

Среди бытовой и уголовной статьи проституция была очень распространена, но и среди 58 статьи процент нашедших себе покровителя и друга был достаточно велик.

Раньше на Колыму завозили только мужчин, потом появились и женщины. Но процент женщин был ничтожно мал. Женщина ценилась высоко. За обладание женщиной мужчины были готовы на любые преступления, нарушения. Женщин похищали, женщин насиловали и изувеченных бросали на трассе. Были случаи, когда женщин отбивали от конвоя и уводили на прииски, и там бросали толпе мужчин, становившихся в очередь. Почему-то такое массовое насилие над женщиной получило название «трамвай».

Была среди нашего этапа совсем еще молоденькая немочка с Поволжья. Белокурая, голубоглазая, тоненькая, как былиночка. Обвинили ее в шпионаже, статья ПШ, срок не то восемь, не то десять лет. Мы с Лизой стояли в столовой. Полными ужаса глазами указала она мне на такую же юную девушку. Обе они молоды, но как не похожи друг на друга: у той, у другой, какой-то вызывающий, дерзкий, даже нахальный вид, а Лизочка — сама робость и скромность. «Трамвай», — шепчет Лиза.

Месяцем позже я познакомилась с Аней близко. Я работала с ней в одной бригаде. В 1938 году с обвинением по 58 статье она была привезена на Колыму. Уголовные проиграли девушку в карты. Проигравший должен был поймать ее и сдать товарищам. Аню заманили во время работы в укромный уголок, и тут же двенадцать человек во время работы «использовали» ее. Когда вечером стали собирать бригаду лагерниц, чтобы увезти в зону, Ани не оказалось. Ее стали искать и нашли растерзанную, полуживую. В лагерной больнице, к общему удивлению, она оправилась. Несколько раз она пыталась покончить с собой. Ее каждый раз спасали. Историю Ани знали все. Говорили, что она стала совершенно неузнаваемой. Я ее узнала уже спокойной, холодной, ко всему враждебной, презирующей и мужчин и женщин. Одевалась она вульгарно и крикливо, подкрашивала глаза, брови, губы. В лагерную столовую она заходила редко. Свою хлебную пайку отдавала безвозмездно кому-либо из товаров, широко делилась всякими лакомствами. Имела она одного друга или многих, я не знаю. К моменту нашего прибытия на Колыму женщин стало значительно больше. Жить стало легче, но все же...

Наш барак повели как-то вечером в баню. Ввели нас строем в сопровождении конвоя. Как обычно, женщины строя не выдерживали: одни спешили захватить шайки, места у крана, другие отставали. Случаев побега не было, надзор не докучал растянувшимся, разбредшимся женщинам. Только возле бани и зоны он равнял ряды, поштучно сдавал конвоируемых.

Отстав от основной массы эков, Надя, Зина и я брели к лагерю по какому-то закоулочку. Было сумрачно, близилась ночь. Внезапно из-за угла вынырнула машина. Нам показалось, что машина идет прямо на нас. Мы шарахнулись в сторону. Тут же раздался отчаянный крик Зины, и руки ее вцепились в мое плечо. Я и Надя закричали так же отчаянно, еще не понимая в чем дело. Из открытой кабины чьи-то руки волокли Зину в машину. То ли наш дикий крик, то ли то, что мы вцепились друг в друга, заставило шофера, пустив самую площадную брань, захлопнуть дверь и укатить. Произошло это совсем недалеко от зоны. (Зина

была лектором по истории искусств в Киевском университете, к физической работе она приспособиться не сумела. Все годы жила она в лагере очень тяжело, но бодрости духа не теряла.)

Благом нашего барака было то, что у нас не было уголовных. Уголовниц мы встречали в столовой, в зоне.

На первых же порах нас ошеломили резко бросающиеся в глаза женщины — «оно». Противные, омерзительно наглые существа. В Магадане их было меньше. Их обычно высылали в глубинные лагпункты. Наглые лица, по-мужски остриженные волосы, накинутые на плечи телогрейки... Они имели своих любовниц, своих содержанок среди заключенных. Парочками, обнявшись, ходили они по лагерю, бравируя своей любовью. Начальство, как и огромное большинство зэков, ненавидели «оно». Лагерницы боязливо сторонились их.

Ошеломленные всем увиденным, мы сидели в своем полутемном бараке на нарах. Жить было непереносимо трудно. Заключенные стали мечтать о работе, о выводе за зону. Труд скоротает дни.

Неожиданно из нашего барака начались вызовы в контору лагеря. Вызываемые возвращались мрачными. Они никому не говорили, зачем их вызывали. В один из дней вызвали Катю Зимянину и меня. Разговор со мной был краток. Сидевший за столом, заваленным бумагами, штатский спросил:

— Когда вы кончаете срок заключения?

— Через полтора года.

— Странно, что вас привезли на Колыму. Не хотели бы вы освободиться раньше?

— Я не думала об этом.

— Краткосрочникам мы можем предоставить льготы.

— Я не прошу о льготах.

— А вы подумайте об этом.

— Не собираюсь.

— Вы никому не скажете о нашей беседе?

— Обязательно скажу.

— Можете идти.

Таков примерно был разговор в конторе. Когда я вернулась в барак и рассказала своим ближайшим соседям о беседе, они потрясение пророчили карцер и репрессии за мой вызывающий тон, но никаких репрессий не последовало. Вечером меня подозвала к себе Катя Кухарская, маленькая, худенькая, с приятным спокойным лицом. Катя сказала мне, что была арестована в ссылке, в которую попала по делу анархистов. Одновременно с ней была арестована вся ссылка, было создано другое дело, и Катя получила пять лет. Что я — эсерка, Катя

знала, об этом знали все в бараке. Я сознательно подчеркивала свою принадлежность к партии. Расспросив о моем вызове, Катя рассказала мне о своей беседе в конторе. Разговор был сходен с моим, но ей прямо предложили давать донесения о том, что и кем говорится в бараке. Катя отказалась. Теперь она опасалась последствий, но последствий тоже не было.

Зимянина о своей беседе в конторе никому ничего не сказала. Вернулась она в барак возбужденная, расстроенная и легла на свои нары. Не знаю откуда, но по барaku поползли слухи о том, что в каждом бараке и в нашем также, есть информатор. Возникали эти слухи легко, беспочвенно, без всяких оснований. Почему последовательные коммунистки боялись информаторов, я не понимаю. О Зимяниной упорно ходили слухи. Приятной, симпатичной она мне не была.

Неожиданно я встретила в нашем бараке с Таней Гарасевой. Как не столкнулись мы в этапе раньше, — трудно понять. С Таней был связан большой кусок моей жизни. Встреча в челябинской пересылке, в Чимкенте... Первые мои шаги в Рязани были связаны с ее родителями. Но и к Тане я подошла настороженно. Я знала, что Таня в былые годы дала письмо с отказом от прошлого. На этапе и в нашем бараке Таня никому не говорила, что идет по делу анархистов. Конечно, теперь она и не шла по их делу.

Окончив ссылку в Чимкенте, Таня вернулась домой. Прямо чудом излечилась она от туберкулеза. Жила и работала медицинской сестрой. На вопрос, за что ее арестовали, она отвечала, что арестованы все, кто был в ссылке когда-то, кто побывал в «минусе». Всем предъявили вымышленные дела, все получили новые сроки. Таня рассказывала о своем аресте, о своем следствии то же, что остальные: тюрьмы России забиты арестованными, в следственных камерах люди вповалку лежат на полу, никто не понимает причин своего ареста, никто не знает за собой вины. Таня рассказала о новой категории заключенных. О «женах». Им инкриминировалось, что они жены врагов народа. Из «жен» составляли эшелоны, для них существовали особые лагеря где-то на материке. Понять, что привело к массовым репрессиям не могла и Таня.

Теперь мы, социалисты, были маленькой ничтожной кучкой в арестантской массе. Ни о каком сопротивлении, ни о какой борьбе за режим не могло быть и речи. Жить, вернее выживать, — вот все, что оставалось нам.

С поступлением писем с воли стали мы узнавать о наших родных, друзьях. О всех, о ком нам удалось узнать, сообщалось одно и то же. Присуждены к десяти годам лагерей без права переписки.

Существуют ли такие лагеря? каков режим там? живы ли люди, осужденные на длительные сроки без права на переписку? Одни говорили, что в этих лагерях невероятно строгий режим, другие полагали, что таких лагерей вовсе нет, что все присужденные к таким лагерям просто уничтожены.

Я думала, где мои товарищи, женщины — эсерки, анархистки, социал-демократки? Почему я не встретила ни одной из них? Я еще не понимала тогда масштабов арестов. Не знала о массе лагерей, разбросанных по всей азиатской и европейской территории Советского Союза.

Оставалось одно — стиснуть зубы, сжаться и жить, если то, что окружало нас, можно назвать жизнью. Другого не оставалось. Стать молчаливым свидетелем происходящего или умереть. Работа в стройбригаде

Двадцать дней шли к концу. Старые лагерницы не понимали нашего рвения к работе. Их в работе привлекал только выход за зону. Сочувственно покачивая головами, они говорили:

— На хорошую, легкую работу вас не пошлют. Легкой работы для тюрзаков не будет. Они оказались правы.

Легкие работы в лагере предоставлялись только уголовным: воровкам, проституткам, убийцам. Презрительно смотрели они на нас — «врагов народа» — и с меткой иронией называли себя «друзьями народа».

Был при Магаданском лагпункте швейный комбинат, работа в нем была не легкая. В душных, плохо вентилируемых помещениях по 12 часов в день сидели женщины за машинами. Нормы были огромные. Сохранить работу в комбинате можно было только, давая норму. Боясь других работ, женщины надрывались, а нормы ото дня ко дню росли. В швейкомбинат брали женщин с малыми сроками тех, кто имел КРД 10-й пункт, и, конечно, быто-вичек.

Женщин нашего этапа разбили на две бригады, одну послали на строительство, другую на мелиоративные работы. Я попала в строительную бригаду.

В шесть часов утра, получив хлеб и суп в столовой, заключенные побригадно выстраивались у дверей вахты. С поименной переключкой нас выпускали за зону, конвой строил бригаду и вел на работу.

Магадан был тогда маленьким городком. Нас вели по пустынной дороге к строящемуся 50-квартирному каменному дому. Стройка была обнесена забором, у входа стояли часовые, надзор расхаживал по строительству. Рабочий день длился от 14 до 16 часов. Обед из лагеря привозили на строительство. Вернувшись в зону к девяти часам вечера, мы получали ужин и шли в барак спать. На строительстве вольных рабочих не было,

все, начиная с инженера и кончая сторожем, были ээки. Вольными были конвоиры и Дальстроевское начальство.

Кое-кто из уголовных был расконвоирован и имел возможность выйти за пределы стройки в город. Работа на строительстве шла быстрыми темпами. Пятиминутные перекуры давались два раза — в десять утра и в четыре часа дня. С 12 до 13 был обеденный перерыв. Начальство и конвой подгоняли, но рабочие и сами жали изо всех сил. Сперва я не могла понять такой гонки со стороны заключенных. Я знала, что женщины моего этапа выкладывались на работе потому, что хотели своим трудом подчеркнуть преданность делу построения социализма. Но остальные? Один каменщик объяснил мне:

— Из Магадана беспрерывно гонят заключенных на прииски. Там жизни нет. Там — гибель. Оттуда не возвращаются или возвращаются калеками, умирающими. Попасть на этап — все равно, что идти на смерть. Лучших рабочих начальство стройки отстоит, не пустит на этап.

Нашу бригаду поставили на бетономешалку — готовить замес. Женщины работали изо всех сил, но с замесом не успевали. Со стен неслась ругань, замеса не хватало. Тогда нас перебросили на другие работы: кого — куда. Я и еще три заключенные должны были разносить в ведрах воду. Каждая снабжала водой определенную часть строительства.

Каменщики возводили третий, четвертый, а затем пятый этажи. С двумя ведрами в руках непрестанно поднималась я по шатким досчатым трапам. Сперва даже лебедки для подъема тяжестей на стройке не было. Работа для нас, непривыкших к тяжелому физическому труду, была непосильной. Медлить мы не могли. «Давай воду. Давай кирпич. Давай замес», — кричали кладчики со стен.

Наряды начальники закрывали нам хорошие, вся бригада питалась по первой категории, но по ночам в бараках стоял стон. Я часто долго не могла уснуть и слушала, как измученные за день женщины стонут во сне. С отдельных нар доносился плач. У меня на обеих руках чуть выше кистей образовалось растяжение. Руки распухли, при малейшем движении слышался хруст. От боли я не могла расчесать волосы, застегнуть пуговицу. Я обратилась к лагерному врачу. Низенькая, очень полная женщина-врач, тоже ээка, обвиненная в троцкизме, отнеслась ко мне участливо. Она прибыла на Колыму одним этапом с Надей, дружила с ней, ей хотелось помочь мне, но она не могла: число бюллетеней было строго ограничено.

— У вас растяжение, — сказала мне Гуревич, — это очень болезненно, но освобождения от работы я дать не могу.

На мое счастье боль была мучительно остра при мелких движениях кисти, на работе, при резких, сильных движениях я переносила боль. В бараке я старалась не шелохнуть рукой, — одеться, причесаться помогала мне Люся.

Выше возводилось здание, крепче становились морозы, мучительней становилась наша жизнь. Вероятно, многие из нас свалились бы, но нам повезло. Строительству получило срочное задание — выстроить деревянное здание гостиницы. Оно должно было быть завершено к какому-то съезду и нас перевели на это строительство. Мы должны были конопатить стены, убирать стружку, мыть полы, рамы, окна. Работа стала значительно легче. Для конопатки стен привезли тряпье, утиль. Разгружая машину, мы были потрясены этим утилем. Нам сразу стало ясно происхождение его. Когда наш этап прибыл в Магадан, в бане нам велели сбросить нашу одежду на пол в кучу. На нас были затасканные в этапе арестантские одежды. Теперь перед нами были груды мужской одежды, совершенно целой, дорогие вещи. Очевидно, родные, собирая близких на этап, передавали им, что потеплее, и все это теперь было свалено в кучу. Здесь было егеровское белье, шерстяные костюмы и, конечно, майки, кальсоны, свитеры, тужурки...

Первым нашим ощущением была боль при мысли о владельцах этих вещей. На многих вещах были метки. Мы не работали, мы со слезами на глазах копались в грудe утиля.

Сами мы были очень плохо одеты. У нас было по одной смене платья и белья. Белье раз в декаду меняли в бане, но, придя в барак с работы, мы не имели возможности сменить одежду. Кому-то из нашей бригады пришлось в голову отобрать лучшие вещи, взять себе. Сперва взяли немногие, затем все. Ежедневно мы тайком несли с работы в зону трикотаж. Несли себе, своим товаркам по нарам. Наш барак приоделся. Конечно, мы крали утиль, но его были груды, его хватало и для конопатки. Кончался один грузовик, привозили следующий. Очевидно, вещам, снятым с эзков, не было конца. Этап в Эльген

Магаданский лагерь — и женский, и мужской — жил под вечным страхом вывоза в глубь тайги на прииск. О жизни на приисках рассказывали ужасы. Только мне хотелось в глубину. Там была Надя Олицкая.

В начале апреля, когда весна стала ощущаться, когда мы уже чуть привыкли к лагерной жизни и к работе, нашу бригаду неожиданно сняли с работы и перевели в лагерь. Сквозь строй конвоя, с криками и руганью нас загнали в барак. У входа в барак поставили часового, который следил за тем, чтобы из барака никто не вышел. Привели и остальных наших женщин с других

работ. Мы узнали, что всех тюрзачек везут в северное управление Сев-лага. Центром его был поселок Ягодное. Говорили, что нас направляют в совхоз Эльген, самый крупный лагпункт на трассе. Вызывали нас по спискам. Группу человек в 40–50 вывели за зону лагеря и погрузили в стоявшую перед воротами грузовую машину, крытую брезентом. Брезент закрыли, чтоб мы не видели, куда нас везут. Перед лагерем стояли еще две такие машины.

В машине было тесно, темно и, несмотря на весну, холодно. На нас были ватные брюки, телогрейки, валенки. Но мороз крепчал, и мы замерзали. Брезент, натянутый над машиной, спасал нас лишь от колючего ветра. Конечно, по пути мы выискивали в брезенте дырочки и смотрели в них. Мы видели, что следом за нами идет такая же машина. Машины двигались по широкой прекрасной дороге. Мы знали, что трасса пересекает всю Колыму, ведет на север к бухте Амбарчик.

Уже к ночи машины остановились и нам предложили зайти в какой-то барак. В нем топилась железная печь-бочка. Ее огонь освещал помещение. Мы толпились вокруг, протягивали к огню руки. Многие разувались, грели портянки и пальцы ног. Здесь мы встретили женщин, погруженных во вторую машину, они нам сказали, что к утру готовят еще и третью. Настроение у большинства женщин было подавленное.

Через какие-нибудь полчаса мы снова сидели в машине и ехали дальше. Бескрайняя снежная равнина, сопки и сопки... Ни жилья, ни признаков жизни человека. Нам предстояло проехать на машине 500 км, если справедливы слухи о направлении нас в Эльген. Кое-где по пути нам попадалась встречная машина, кое-где к земле жалась затерявшаяся в бесконечных просторах сторожевая будочка.

Кто и когда проложил эту дорогу? «Инженеры, душечка», — сказал бы некрасовский генерал. Мы знали: трасса выложена руками и на костях заключенных. На второй день езды наша машина свернула с трассы, не замедляя хода, и загромыкала по выбоинам дороги. Вторая машина пошла по трассе дальше. Неужели нас разъединили? Может, никогда уже не увидим женщин с той машины.

Вскоре мы подъехали к домику и машина остановилась. Нам предложили зайти в дом и передохнуть. На пороге домика нас встретили люди в лагерной одежде, они приветливо махали нам руками.

Большое просторное помещение, заставленное столами. Рядом — кухня. Мы попали в столовую одной из дорожных командировок. Летом здесь столовались рабочие сенокосных бригад, зимой — бригады лесорубов. Конвой в помещение

столовой не зашел. Мы остались с глазу на глаз с лагерниками. Первые ээки, встреченные нами на трассе. Они были очень приветливы, тащили нам на стол стаканы горячего чая. Они говорили, что их столовая обслуживает всех приезжих, обещали приготовить обед.

Мужчины жаловались, что много лет вовсе не видели женщин. Как дорого им смотреть на нас, слышать звуки наших голосов. Час, а может быть, полтора, наслаждались мы теплом, чаем и предвкушаемым обедом. Солнце ярко светило, грело повесенному, женщины стали выходить на крылечко. Потом произошло какое-то смятение, женщины с крылечка бросились в помещение, сбились в кучу. Из уст в уста передавалось шепотом: «Держаться вместе, не выходить».

Две девушки подслушали разговор нашего шофера с одним из поваров. Нашу машину женщин шофер проиграл в карты. Сговорившись с конвоем,

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зачем я пишу эти строки? Кто, кроме бывших в лагере, поймет меня? Я закрываю глаза и вижу... Теплица, прямо у печи две согнутые, скрюченные фигурки там, под стеллажом, в приямке. Они спустились туда, чтобы погреться. Они протягивают к огню свои заостреневшие на морозе, заскорузлые руки, разматывают грязные, вонючие портянки. Согревшись немного, они извлекают из прорех своей одежды и подносят к своим обрюзгшим, беззубым ртам такие объедки, которыми побрезговала бы любая собака. Если они сыты, бережно заворачивают свои сокровища, подобранные на свалке, и суют их за пазуху или в карман. При этом они осторожно озираются по сторонам, чтобы никто не заметил, чтобы не отобрал надзор при проходе через вахту, чтобы не выкрал сосед.

Они согрелись, они сыты. Что-то из прошлой жизни воскресает в них. Они даже хотят покрасоваться перед нами. Своими осипшими голосами они начинают вдруг читать стихи — Бальмонта, Брюсова, Блока.

Я вглядываюсь в лица моих подруг по работе. Мы штампуем питательные горшочки для рассады капусты. Лицо одной из них страшно меняется, углы рта опускаются, губы начинают дрожать.

— Верочка, зачем так? — говорю я.

— Может быть, и мой отец... Вера отбрасывает в сторону доски, замес и выбегает из теплицы. Не надо за ней идти. Скоро она вернется и станет к станку.

1947 год. Я только что освободилась из лагеря, я живу у Нади на прииске «Утиный». Прииск расположен в долине узенькой речки Утиной, протекающей меж высоких гор. Правый берег реки золотоносный. Когда-то здесь был прииск заключенных. Теперь его уже нет. Установлена золотопромывочная фабрика. Работают вольные — бывшие эки. Утиная перехвачена плотиной. По склонам гор высечены дороги, по ним снуют грузовики, они подвозят породу. Издали, снизу, они кажутся маленькими спичечными коробочками. Вдалеке слышны взрывы, видны столбы взлетающей при взрывах породы. Освободившимся зэкам выезд с Колымы не разрешен, они стали вольными рабочими Дальстроя.

Я стою у домика конбазы. Рядом со мной стоит ее завхоз, молодой парень, тоже бывший заключенный, кажется, вор. Мы смотрим, как с горы спускается маленькая, согнувшаяся в три погибели человеческая фигурка. Кто-то тащит салазки, нагруженные дровами.

— Тяжело здесь с дровами, — говорю я, — с какой кручи приходится спускаться.

— Да, — соглашается завхоз, — там, у забоя Марии Ивановны, положе, но там никто не пойдет.

Я спрашиваю, что это за Мария Ивановна; я ожидаю рассказа о героическом подвиге и ошибаюсь.

— Вы не слыхали? Это в пору Гаранина. Была здесь врачиха Мария Ивановна. Покойники-то в ее ведении находились. Вез справки не хоронили... Сначала их возили вон в тот овражек, — он махнул рукой, указывая куда-то в сторону. — Как засыпали до краев, сыпать стало некуда. Тогда стали землю взрывать. Заключенным кличку долго ли дать? И окрестили это место — кладбищем — не назовешь ведь? — ну, и назвали «Забой Марии Ивановны».

Зачем я пишу все эти строки? Разве надо помнить о печальных последствиях культа личности? Или в предвоенные годы культа личности еще не было? Выжившие — реабилитированы. Умершие — реабилитированы посмертно. Только списки невинно погубленных людей не опубликованы нигде. Только о последних годах и днях их жизни не знает никто. Тела их свалены в овражек...

«Прогресс человечества строится на костях и крови», — говорят одни. «Лес рубят — щепки летят», — говорят другие. «Революция не делается в белых перчатках», — говорят третьи... А что говорит народ? Простые люди? Народ безмолвствует.

Зачем я пишу? — Я не могу не писать! Может быть, это память о них, хороших и плохих, — безразлично.